

Дафна дю Морье
Паразиты

Для тех, кому шапка впору
Менабилли
Весна, 1949

ПАРАЗИТЫ

Зоопаразиты — беспозвоночные животные, которые обитают в организме или на теле других животных.

В широком биологическом смысле паразитизм представляет собой отрицательную реакцию на борьбу за существование и всегда предполагает способ жизни, максимально близкий к линии наименьшего сопротивления...

Следует различать эпизодических и постоянных паразитов.

К первым относятся клопы и пиявки, которые, насытившись, обычно покидают своих хозяев. На эмбриональной стадии, до достижения полной зрелости они ведут мигрирующий образ жизни, перемещаясь от хозяина к хозяину, после чего могут начать самостоятельное существование...

К последним относятся рыбные вши, которые, благодаря особому устройству полости рта и сложному аппарату цепления, навсегда остаются в организме одного и того же хозяина; они принадлежат к числу наиболее выродившихся из всех известных паразитов.

Питаясь живыми тканями или клетками своих хозяев, паразиты оказывают на них воздействие различной степени тяжести — от незначительных локальных повреждений до полного уничтожения.

Британская энциклопедия

Глава 1

Паразитами нас назвал Чарльз. В его устах это обвинение прозвучало как гром с ясного неба и показалось тем более странным и неожиданным, оттого что он из тех спокойных, сдержанных людей, которые не отличаются излишней словоохотливостью и даже собственное мнение высказывают лишь по поводу самых обыденных вещей. Он заявил это под вечер бесконечно длинного, промозглого воскресенья, когда мы, зевая и потягиваясь, читали у камина газеты. Его слова произвели на нас впечатление разорвавшейся бомбы. Мы сидели в длинной, низкой комнате в Фартингзе, где из-за мелкого моросящего дождя было темней, чем обычно. Французские окна с мелкими переплетами почти не пропускали света; возможно, они и украшают фасад, но изнутри напоминают тюремную решетку и навевают уныние.

В углу медленно и неровно тикали высокие напольные часы: время от времени они издавали легкое покашливание, словно старик-астматик, затем со спокойной настойчивостью продолжали свой ход. Огонь в камине почти угас, смесь угля и кокса запеклась в плотный ком и не давала тепла; несколько небрежно брошенных поленьев едва тлели, и только мехи могли вдохнуть в них жизнь. На полу валялись газеты, картонные конверты от пластинок и подушка с дивана. Возможно, все это еще больше усилило раздражение Чарльза. Он любил порядок, отличался методическим складом ума, и теперь, оглядываясь назад и понимая, чем были заняты в то время его мысли, помня, что он уже осознал необходимость принять какое-то решение относительно будущего, нетрудно догадаться, что все эти мелочи — беспорядок в комнате, атмосфера беспечности и легкомыслия, царившая в доме, когда Мария приезжала на выходные, атмосфера, которую он терпел столько лет, — послужили последней каплей, переполнившей чашу.

Мария, как всегда, лежала, растянувшись на диване. Ее глаза были закрыты — обычная форма защиты от нападок; тот, кто ее не знал, подумал бы, что она устала после долгой недели в Лондоне, нуждается в отдыхе и

спит.

Ее правая рука с кольцом Найэла на среднем пальце утомленно свисала вниз, и кончики ногтей касались пола. Должно быть, Чарльз видел это из своего глубокого кресла напротив дивана; он знал это кольцо столько же, сколько саму Марию, постоянно видел его на ней и относился к нему прежде всею как к любой другой вещи, скажем, гребню или браслету, с которыми Мария не расставалась чуть ли не с детства скорее по привычке, чем из-за воспоминаний. Но сейчас вид этого бледного аквамарина в оправе, плотно обхватившей ее палец, убогого по сравнению с сапфировым обручальным кольцом, которое подарил ей он, Чарльз, не говоря о венчальном кольце — и то, и другое она постоянно забывала на раковине в ванной комнате, — мог подлить масла в огонь. Помимо всего прочего, он знал, что Мария не спит. Пьеса, которую она читала, валялась на полу; страницы рукописи были измяты, одну из них погрыз щенок, на обложке виднелось грязное пятно, оставленное кем-то из детей. Через неделю пьесу вернут автору с запиской, которую Мария, как обычно, настукает на машинке, купленной по дешевке на распродаже Бог знает когда. «Сколь ни пришлась мне по душе Ваша пьеса, которую я нахожу чрезвычайно интересной и которую, по моему глубокому убеждению, ожидает большой успех, мне кажется, что я не вполне соответствую Вашему представлению об образе Риты...», и при всем своем разочаровании польщенный автор скажет друзьям: «Право же, она ей чрезвычайно понравилась» — и станет впредь думать о Марии с признательностью и едва ли не с любовью.

Но теперь никому не нужная, забытая рукопись валялась на полу вместе с воскресными газетами, и вряд ли Чарльз мог ответить на вопрос: а помнит ли о ней Мария, лежа на диване с закрытыми глазами? Нет, на этот вопрос ответа у него не было, как и на другие: о чем она думает, о чем мечтает? Да и понимал ли он, что улыбка, коснувшаяся уголков ее рта и мгновенно растаявшая, не имела никакого отношения ни к нему, ни к его чувствам, ни ко всей их жизни. Она была отстраненной, нездешней, как улыбка той, которую он никогда не знал. Той, которую знал Найэл. Найэл, согнувшись, сидел на подоконнике. Он положил подбородок на колени и смотрел в пустоту, но он уловил эту улыбку и догадался, что она означает.

— Черное вечернее платье, — произнес он словно безо всякой причины, — облегающее, подчеркивающее все прелести фигуры. Разве подобные детали не характеризуют человека? Ты дочитала до шестой страницы? Я — нет.

— До четвертой, — ответила Мария. Она по-прежнему не открывала глаз, и голос ее звучал словно из потустороннего мира. — Платье медленно скользит вниз и обнажает белые плечи. Ах, оставь. По-моему, это маленький человечек в пенсне, узкоплечий и с изрядным количеством золотых зубов.

— И любящий детей, — добавил Найэл.

— Одевается Санта Клаусом, — продолжала Мария. — Но дети не поддаются на обман, потому что он забывает подогнуть брюки и они видны из-под его красной шубы.

— Прошлым летом он отправился на отдых во Францию.

— И там его осенила идея. В отеле, в дальнем конце столовой он увидел одну женщину. Разумеется, ничего не произошло. Но он не мог отвести глаз от ее бюста.

— Однако, поняв, что это не соответствует его системе взглядов, почувствовал себя лучше.

— Он — да, но отнюдь не собака. Сегодня пса стошнило под кедром. Бедняга съел девятую страницу.

Легкое движение в кресле — Чарльз изменил позу и расправил страницы спортивного обозрения «Санди Таймс» — могло бы предупредить их, что он раздражен, но ни Мария, ни Найэл не обратили на это внимания.

Только Селия — она всегда интуитивно чувствовала приближение бури — подняла голову от корзинки с рукоделием и бросила на нас предостерегающий взгляд: он остался без внимания. Будь мы только вдвоем, она присоединилась бы к нам — в силу привычки или чтобы доставить себе удовольствие; ведь так было всегда, со времен нашего детства, с самого начала. Но она была гостьей, редким посетителем; гостьей в доме Чарльза. Селия инстинктивно чувствовала, что Чарльзу неприятен шутливый тон Найэла и Марии: он не только не разделял его, но и не понимал: вышучивание автора, чья пьеса с дурацким сюжетом валялась на полу, к тому же разорванная щенком, вызывало у него раздражение. Все это казалось ему довольно дешевым и отнюдь не смешным.

Еще мгновение, подумала Селия, видя, как Найэл распрямился, и он, зевая и хмурясь, подойдет к роялю, бросит сосредоточенный и вместе с тем ничего не выражающий взгляд на клавиатуру: ведь он думает — впрочем, о чем он думает? — возможно, вообще ни о чем: хотя, быть может... о близком ужине или о том, что где-то в спальне завалялась пачка сигарет, — и начнет играть, сперва тихо, почти беззвучно, и будет напевать под собственный аккомпанемент — ведь это его привычка лет с двенадцати, когда он играл на старом французском пианино, — а Мария, так и не открывая глаз, выпрямится на диване, заложит руки за голову и чуть

слышно подпоет мелодии, которую наигрывает Найэл. Мелодия; да, мелодия: сперва поведет ее он, — Мария пойдет за ним. Но вот она нарушает мелодическую линию, и голос ее изливается в иной песенной тональности, в иной мелодии. И Найэл подхватит мелодическую основу и в призрачно прекрасной мелодии сольется с той, которая поет под его аккомпанемент.

Селия подумала, что надо тем или иным способом остановить Найэла и, как бы неуклюже это ни выглядело, не дать ему подойти к роялю. Не потому, что Чарльзу не понравится его музыка, а потому, что порыв брата послужит еще одним неуместным подтверждением того, что ни муж, ни сестра, ни дети, а только он, Найэл, знает и понимает малейшие движения наглухо закрытой для остальных души Марии. А ведь именно это с каждым годом все сильнее мучило Чарльза.

Селия отложила рабочую корзинку — по выходным она обычно занималась в Фартингзе штопаньем детских носков — бедняжке Полли одной с этим делом было не справиться, а просить Марию никому и в голову не приходило — и поспешно, прежде чем Найэл сел за рояль (он уже открывал клавиатуру), обратилась к Чарльзу:

— Едва ли кто-нибудь из нас в последнее время занимался акростихами. Бывали дни, когда мы с головой зарывались в словари, энциклопедии и прочие книги. Каким словом мы займемся сегодня, Чарльз?

После непродолжительной паузы Чарльз ответил:

— Я имею в виду вовсе не акростих. В кроссворде мое внимание привлекло слово из семи букв.

— И что же это такое?

— Беспозвоночное животное, живущее за счет другого животного.

Найэл взял первый аккорд.

— Паразит, — сказал он.

И здесь грянул гром. Чарльз бросил газету на пол и встал с кресла. Его лицо побледнело, каждый мускул напрягся, а рот превратился в тонкую, жесткую линию. Раньше мы никогда его таким не видели.

— Совершенно верно, — сказал он, — паразит. И это вы, вы, все трое. Вся компания. Всегда ими были и всегда будете. Вас ничто не изменит, не может изменить. Вы вдвойне, втройне паразиты: во-первых, потому, что с самого детства спекулируете на той крупице таланта, которую вам посчастливилось унаследовать от ваших фантазеров-родителей; во-вторых, потому, что ни один из вас ни разу в жизни не удосужился заняться пусть незаметным, но честным трудом; и, в-третьих, потому, что вся ваша троица живет за счет друг друга и обитает в мире грез и фантазий, который вы сами для себя сотворили и который не имеет ничего общего ни с земной реальностью, ни с небесной.

Чарльз стоял, пристально глядя на нас с высоты своего роста. Ни один из нас не проронил ни звука. То были мучительные, тягостные мгновения, чему уж тут смеяться. Обвинение носило слишком личный характер. Мария открыла глаза, снова откинулась на подушку и смотрела на Чарльза с каким-то непонятным смущением, словно ребенок, которого поймали на озорстве, и он не знает, какое наказание за этим последует. Найэл застыл у рояля, вперив взгляд в пустоту. Селия опустила руки на колени и покорно ожидала следующего удара. Как она жалела, что сняла очки и отложила их вместе с рабочей корзинкой — без них она чувствовала себя раздетой. Они всегда служили ей своеобразным орудием защиты.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Мария. — Как это мы обитаем в мире грез и фантазий?

В ее голосе прозвучало недоумение — его обладательнице очень подошло бы невинное личико с широко открытыми изумленными глазами. Найэл и Селия мгновенно узнали это выражение. Не исключено, что узнал его и Чарльз, ведь после стольких лет совместной жизни, возможно, он уже не поддавался на обман.

Словно прожорливая рыба, он с радостью заглотил наживку.

— Только там ты всегда и обитала, — ответил Чарльз, — да и вообще ты не личность, не женщина, обладающая собственной, присущей только тебе индивидуальностью; ты смешение всех персонажей, которых тебе доводилось когда-либо играть на сцене. Твои мысли и чувства меняются с каждой новой ролью. Такой женщины, как Мария, не существует, никогда не существовало. Об этом знают даже твои дети. Вот почему ты их очаровываешь только на два дня, а потом они бегут в детскую к Полли: ведь Полли настоящая, подлинная, живая.

Есть вещи, подумала Селия, которые мужчина и женщина говорят друг другу только в спальне. Но не в гостиной, не в воскресенье вечером. О, Мария, пожалуйста, не отвечай ему, не распаляй его гнев, который накапливался месяцы, годы... Ведь теперь ясно, как он несчастлив, несчастлив давно, о чем мы даже не догадывались или чего просто не понимали... И она ринулась в битву. Она должна защитить Найэла и Марию. Она всегда так делала.

— Я очень хорошо понимаю, Чарльз, что вы имеете в виду, — сказала Селия. — Конечно, Мария меняется от

роли к роли, но ей это было присуще и в детстве; она всегда была не только Марией, но кем-то еще. Однако несправедливо говорить, что она не работает. Кому как не вам это знать, ведь вы бывали, во всяком случае раньше, на ее репетициях — это ее жизнь, ее профессия, которой она отдает себя целиком. И вы должны это признать.

Чарльз рассмеялся, и по его смеху Мария поняла, что Селия не только не исправила, но еще больше усложнила положение.

Когда-то Мария умела совладать с этим смехом: она вскакивала с дивана, обнимала Чарльза за шею и говорила: «Не будь таким глупеньким, дорогой. Какая муха тебя укусила?» И увлекала его к хозяйственным постройкам, притворяясь, будто ее очень интересует какой-нибудь старый трактор, закроем с зерном или черепица, упавшая с крыши флигеля, — все, что угодно, лишь бы не омрачать первые шаги их совместной жизни. Теперь положение изменилось, старые уловки ни к чему не приведут, и уж, конечно, подумала Мария, в столь поздний час он не станет устраивать сцен ревности к Найэлу; это было бы глупо с его стороны, да к тому же и бессмысленно — пора бы ему знать, что Найэл как бы часть меня самой, так было всегда. Я никогда не позволяла этой части вмешиваться в мою личную жизнь, мою работу да и вообще ни во что. Она никогда не доставляла неприятности ни Чарльзу, ни другим, просто Найэл и я, я и Найэл... Затем ее мысли смешались в бессвязный клубок, и она вдруг чего-то испугалась, словно ребенок, попавший в темную комнату.

— Работа? — переспросил Чарльз. — Называйте это работой, если вам так нравится. Работа цирковой собачки, которую щенком приучили прыгать за подачку и которая автоматически прыгает до конца дней своих, стоит под куполом зажечься огням, а публике начать аплодировать.

Как жаль, что Чарльз никогда раньше так не говорил, подумал Найэл. Мы могли бы стать друзьями. Я отлично понимаю его. В подобном разговоре я бы с удовольствием принял участие эдак в половине пятого утра, когда все вокруг крепко под мухой, а я трезв как стеклышко, но сейчас в доме у Чарльза он представляется мне крайне неуместным, даже ужасным, как будто священник, к которому испытываешь искреннее уважение, принялся стаскивать с себя брюки посреди церкви.

— Но людям доставляет удовольствие смотреть на эту собачку, — быстро проговорил он, желая отвлечь Чарльза от скользкой темы. — Они для того и ходят в цирк, чтобы развеселиться. Мария предлагает им тот же наркотик в театре, а я — и в немалых дозах — всем мальчишкам-рассыльным, которые насвистывают мои мелодии. По-моему, вы употребили не то слово. Мы лоточники, мелкие торговцы, а не паразиты.

Из противоположного конца комнаты Чарльз посмотрел на сидящего у рояля Найэла. Вот оно, ребята, подумал Найэл, вот то, чего я ждал всю жизнь, сокрушительный удар ниже пояса; как трагично, что нанесет его старина Чарльз.

— Вы?..

Какое нескрываемое презрение, какая горькая затаенная ревность в его голосе.

— Так кто же я? — спросил Найэл, и, подобно тому, как фасад дома теряет свою прелесть, когда закрываются ставни, так и его выразительное лицо, утратив озарявший его внутренний свет, превратилось в безжизненную маску.

— Вы шут гороховый, — ответил Чарльз, — и у вас хватит ума понять это, что, должно быть, крайне неприятно.

О, нет... нет... подумала Селия, чем дальше, тем хуже, и почему именно сегодня? Это моя вина — зачем я спросила про акrostих. Надо было предложить перед чаем прогуляться по парку или сходить в лес.

Мария поднялась с дивана и подбросила в камин большое полено. Она размышляла о том, как лучше поступить: придумать какую-нибудь дурацкую шутку или броситься за экран и устроить сцену со слезами, чтобы разрядить атмосферу и отвлечь внимание на себя, — испытанный еще во времена их детства прием, всегда достигавший цели, когда у Найэла были неприятности с Мамой, Папой или старой Трудой. Или выскочить из дому, уехать на машине в Лондон и забыть об этом злополучном воскресенье? А забудет она скоро. Она все забывала, ничто надолго не задерживалось в ее памяти. Но Найэл спас положение сам. Он опустил крышку рояля, подошел к окну и остановился, глядя на деревья в дальнем конце лужайки.

За окном было тихо и спокойно, как всегда в те короткие мгновения, что предшествуют приходу темноты на склоне недолгого зимнего дня. Дождь прекратился, но теперь это было не важно. На опушке леса группы деревьев казались особенно прекрасными и уныло-одинокими, а голая ветка старой высохшей ели, словно чья-то изогнутая рука, в причудливом движении вздымалась к небу. Мокрый скворец искал червей в сырой траве. Эту картину Найэл знал и любил; он всегда любовался ею, когда ему случалось бывать здесь одному, и непременно запечатлел бы ее на бумаге, умеи он рисовать, перенес бы на холст, обладай он даром живописца,

отобразил бы в переплетениях музыкальной ткани, если бы звуки, изо дня в день рождавшиеся у него в голове, выливались в симфонию. Но этого не происходило. Звуки сливались в бречание, в расхожие мелодии, которые мальчишки-рассыльные насвистывали на перекрестках да молоденькие смешливые продавщицы напевали в магазинах, — жалкий дешевый вздор, который забывался через неделю-другую, вот и вся его слава. Нет, он не обладал истинным дарованием: лишь крупницей унаследованного таланта, которая позволяла ему сплести мелодию за мелодией, без усилий, даже без особой к тому склонности, и заработать состояние, к чему он отнюдь не стремился.

— Вы правы, — сказал он Чарльзу, — целиком и полностью правы. Я шут гороховый.

Какое-то мгновение он стоял, занятый своими, одному ему ведомыми мыслями, как в те далекие годы детства, в парижском отеле, когда Мама не обращала на него внимания, и он, маленький мальчик, делал вид, что ему это безразлично, подбегал к окну, смотрел на улицу и плевал на головы прохожих. Затем выражение его лица изменилось, он запустил пальцы в волосы и улыбнулся.

— Вы победили, Чарльз, — сказал он, — паразиты повержены. Но, если я хоть немного помню биологию, те, за чей счет они живут, в конце концов тоже умирают.

Найэл снова подошел к роялю и сел на стул.

— Впрочем, не важно, — заметил он. — Вы подали мне идею еще одной пустячной песенки. — И, по-прежнему улыбаясь Чарльзу, взял свой любимый аккорд в своей любимой тональности.

Так давайте же питаться

Мы друг другом натошак,[1] —

запел он вполголоса, и чувственный танцевальный ритм глупой песенки ворвался в зловещую атмосферу темной гостиной подобно внезапному взрыву детского смеха.

Чарльз резко повернулся и вышел из комнаты.

И мы остались втроем.

Глава 2

Люди всегда судачили о нас, даже когда мы были детьми. Куда бы мы ни поехали, везде мы вызывали странную враждебность окружающих. Во время Первой мировой войны и сразу после нее другие дети отличались вежливостью и хорошими манерами; мы же демонстрировали отсутствие всякого воспитания и полную необузданность. Эти ужасные Делейни... Марию не любили за то, что она копировала всех и каждого, и не всегда исподтишка. Она обладала необыкновенным даром преувеличивать малейшие недостатки или характерные особенности того или иного человека: поворот головы, пожатие плеч, интонацию голоса; и несчастная жертва всегда знала об этом, знала, что взгляд больших синих глаз Марии, с виду таких невинных и мечтательных, на самом деле сулит какую-нибудь дьявольскую каверзу.

Найэл пользовался меньшей неприязнью: отношение к нему зависело от того, что он говорил, но главное — о чем умалчивал. Молчание этого застенчивого, неразговорчивого ребенка с печальным славянским лицом было исполнено значения. Встречая его в первый раз, взрослый чувствовал, что подвергается внимательному изучению, оценке и безоговорочному сбрасыванию со счетов. В справедливости этой догадки его убеждали взгляды, которыми Найэл обменивался с Марией, и чуть позже до его слуха долетали язвительные смешки.

Селию как-то терпели — к счастью для себя, она унаследовала все обаяние обоих родителей и ни одного их недостатка. У нее было большое, щедрое сердце Папы без его эмоциональной несдержанности и изящные манеры Мама без ее разрушительной силы. Наследственным достоинством был и ее талант в рисовании, который позднее развился в полной мере. Ее зарисовки никогда не напоминали карикатуры — что непременно случилось бы с Марией, умея она рисовать; их чистоту никогда не портила горечь, которую непременно привнес бы в свои работы Найэл. Ее недостатком был общий недостаток всех маленьких детей — склонность к слезам, к нытью, страсть забираться взрослым на колени и кланяться, а поскольку она не обладала ни грацией, ни красотой Марии и была упитанной, краснощекой девочкой с волосами мышиного цвета, тот, на чье внимание

она претендовала, вскоре начинал ощущать раздражение; ему хотелось отогнать Селию, словно назойливую собачонку, однако, увидев в ее глазах слезы, он тут же раскаивался.

Нам слишком во многом потакали, и это всех шокировало. Нам позволяли есть самую изысканную пищу, пить вино, не ложиться спать допоздна, самостоятельно бродить по Лондону, Парижу и другим городам, в которых нам приходилось жить. С самого раннего возраста мы росли космополитами, с поверхностным знанием нескольких языков, ни на одном из которых так и не научились говорить как следует.

Родственные узы, связывавшие нас, были весьма запутаны, разобраться в них так никто и не смог, что едва ли удивительно. Поговаривали, что мы незаконнорожденные, что мы приемыши, что мы маленькие скелеты из шкафов наших Папы и Мамы — возможно, в этом и была доля истины, — что мы беспризорники, что мы сироты, что мы королевские отпрыски. Но почему у Марии были синие глаза и светлые волосы Папы, и тем не менее в движениях ее была легкая грация, которой он не отличался? И почему Найэл был темноволос, гибок и невысок, с такой же, как у Мамы, светлой кожей, и тем не менее его выдающиеся скулы не напоминали никого из близких? И почему Селия иногда вытягивала губы, как Мария, и делалась мрачной, как Найэл, если их не связывало никакое родство?

Когда мы были маленькими, мы тоже ломали голову надо всем этим и приставали к взрослым с вопросами; затем забывали о наших сомнениях: в конце концов, думали мы, так ли это важно — ведь с самого начала мы никого другого не помнили; Папа был нашим отцом, а Мама нашей матерью, и мы все трое принадлежали им.

Правда так проста, когда ее узнаешь и поймешь.

Когда перед Первой мировой войной Папа пел в Вене, он влюбился в одну маленькую венскую актрису; у нее совсем не было голоса, но поскольку она была капризна, хороша собой и все ее обожали, то ей дали произнести одну фразу во втором акте какой-то оперетки. Возможно, Папа и женился на ней; нас это не волновало и даже не интересовало. Но после того как они год прожили вместе, родилась Мария, а маленькая венская актриса умерла.

Тем временем Мама танцевала в Лондоне и Париже. Она уже порвала с балетом, в традициях которого была воспитана, и превратилась в единственную в своем роде, незабываемую танцовщицу. В какой бы город она ни приезжала, ее появление заставляло публику до отказа заполнять театральные залы. Каждое движение Мамы было сама поэзия, каждый жест — воплощенная музыка: на освещенной слабым призрачным светом сцене у нее не было партнера, она всегда танцевала одна. Но кто-то ведь был отцом Найэла? Пианист, объясняла старая Труда, которому Мама однажды позволила тайком прожить с ней несколько недель и любить ее, а потом отослала прочь: кто-то сказал ей, что у него туберкулез, а эта болезнь заразна.

«Но туберкулезом она вовсе и не заразилась, — сухо и как бы неодобрительно сообщила нам Труда. — Вместо этого у нее появился мой мальчик, за что она так никогда его и не простила».

«Моим мальчиком» был, разумеется, Найэл, и Труда как Мамина костюмерша сразу взяла его на свое попечение. Она его мыла, одевала, пеленала, кормила из рожка, иными словами, делала для него все то, что должна была бы делать Мама; а Мама тем временем танцевала одна, без партнера, она улыбалась своей таинственной, единственной в своем роде улыбкой, давно забыв о пианисте, который исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и ее нисколько не интересовало и не тревожило, умер он от туберкулеза или нет.

А потом они встретились в Лондоне — Папа и Мама, — когда Папа пел в «Альберт-Холле»,^[2] а Мама танцевала в «Ковент-Гардене».^[3] Их встреча была экстазом и бурей: такое, сказала Труда, могло случиться только с этими двумя, больше ни с кем; и в ее глухом голосе неожиданно прозвучала поразительная многозначительность, словно она хотела показать, насколько глубоко понимает важность этого события. Они тут же влюбились друг в друга, поженились, и супружество принесло им обоим несказанное счастье, хотя порой, возможно, доводило до отчаяния (никто не вдавался в этот вопрос), принесло оно им и Селию — первого для обоих законного отпрыска.

Вот так мы трое оказались и родственниками, и не родственниками. Одна сводная сестра, один сводный брат и одна единокровная сестра обоим; трудно придумать такую мешанину, даже если очень постараться. И примерно по году разницы между нами, потому мы все и помнили только ту жизнь, которую прожили вместе.

«Не видать от этого добра», — порой сетовала Труда в гостиной одного из многочисленных грязных отелей, которой временно предстояло служить нам детской и классной, или в меблированных комнатах на верхнем этаже какого-нибудь обшарпанного здания, которые Папа и Мама сняли на время сезона или турне. «Не видать добра от этой смеси пород и кровей. Вы вредны друг другу, и так будет всегда. Или вы сами погубите друг друга, — говорила она, когда мы особенно капризничали и озорничали, — или вас кто-нибудь угробит». После чего переходила к пословицам и изречениям, которые были лишены всякого смысла, но звучали довольно

жутко. Вроде вот этих: «Яблоко от яблони недалеко падает», «Свой свояка видит издалека», «Только кошке игрушки, а мышке слезки». Труда ничего не могла поделать с Марией. Мария постоянно подначивала ее. «Ты старшая, — говорила ей Труда. — Почему бы тебе не подать пример?» Мария тут же передразнивала ее; пальцами растягивала уголки губ, отчего ее рот становился похож на тонкий рот Труды, выпячивала подбородок и выставляла правое плечо немного вперед.

«Я расскажу о тебе Папе», — обещала Труда, а потом целый день ворчала, издавала глухие стоны и что-то бубнила себе под нос. Но когда Папа приходил нас проводить, помалкивала, и его приход встречала буря восторга и дурачеств; затем нас брали в гостиную, где мы скакали, кувыркались на полу и изображали диких медведей, к немалому унынию посетителей, пришедших поглазеть на Маму.

Но худшее, разумеется, не для нас, а для посетителей, было впереди. Если мы останавливались в отеле, Папа разрешал нам носиться по коридорам, стучаться в двери, менять местами выставленную из комнат обувь постояльцев, нажимать кнопки звонков, подсматривать сквозь балюстраду и строить рожи. Жаловаться было бесполезно. Ни один управляющий не решился бы потерять покровительство Папы и Мамы, ведь они одним своим присутствием поднимали престиж отеля или меблированных комнат в любом городе, в любой стране. Теперь на афишах их имена, разумеется, стояли рядом, они участвовали в одной программе, и представление делилось на две части. Порой они снимали театр на два или три месяца подряд, а то и на целый сезон.

«Вы слышали, как он поет?», «Вы видели, как она танцует?», и в каждом городе обсуждался вопрос о том, кто из них более великий артист, кто больший мастер, кто задает тон всему представлению.

Папин лакей Андре говорил, что Папа. Что Папа делал все. Папа обговаривал каждую деталь вплоть до того, когда давать занавес, определял, из какой кулисы должна выйти Мама, как она будет выглядеть, что на ней будет надето. Труда, хранившая неизменную верность Маме и враждовавшая с Андре, заявляла, что Папа не имеет ко всему этому никакого отношения и лишь выполняет то, что ему приказывает Мама, что Мама — гений, а Папа всего-навсего блестящий дилетант. Кто из них был прав, мы, трое детей, так и не узнали, да нас это и не слишком интересовало. Зато мы знали, что Папа самый великий певец; и что от сотворения Мира никто не двигался и не танцевал так, как Мама.

Все это весьма подхлестывало наше детское зазнайство. С младенчества слышали мы гром аплодисментов. Как маленькие пажи в королевской свите, переезжали из страны в страну. Воздух, которым мы дышали, был напоен лестью, успех дней прошлых и будущих кружил нам головы.

Спокойный, размеренный уклад детской жизни был нам неведом. Ведь если вчера мы были в Лондоне, то завтра последует Париж, послезавтра Рим.

Постоянно новые звуки, новые лица, суета, неразбериха; и в каждом городе источник и цель нашей жизни — театр. Иногда до чрезмерности пышный, сияющий золотом оперный театр, иногда убогий, грязноватый барак, но, каким бы он ни был, он всегда принадлежал нам то недолгое время, на которое его сняли, всегда другой, но неизменно знакомый и близкий. Этот запах театральной пыли и плесени... до сих пор он время от времени преследует каждого из нас, Мария же никогда не избавится от него. Двустворчатая дверь с перекладной посередине, холодный коридор; эти гулкие лестницы и спуск в бездну. Объявления на стенах, которые никто никогда не читает; крадущийся кот, который задирает хвост, мяукает и исчезает; ржавое пожарное ведро, куда все бросают окурки. На первый взгляд, все это одинаково, в любом городе, в любой стране. Висящие у входа афиши, напечатанные иногда черной, иногда красной краской, с именами Папы и Мамы и фотографиями только Мамиными и никогда Папиными — оба разделяли это странное суеверие.

Мы всегда пребывали *en famille*[4] в двух машинах. Папа и Мама, мы трое, Труда, Андре, собаки, кошки, птицы, которые в то время пользовались нашим расположением, а также друзья или прихлебатели, пользовавшиеся, опять-таки временно, расположением наших родителей. Затем начинался штурм.

Делейни прибыли. Прощай, порядок. Да здравствует хаос.

С торжествующим кличем, как дикие индейцы, мы высыпали из машин. Антрепренер-иностранец, улыбающийся, подобострастный, с поклоном приветствовал нас, но в глазах его светился неподдельный ужас при виде животных, птиц и, главное, беснующихся детей.

— Добро пожаловать, месье, добро пожаловать, мадам, — начал он, дрожа нервной дрожью от вида клетки с попугаем и от внезапного взрыва хлопушки под самым своим носом; но не успел он продолжить традиционную приветственную речь, как его и без того съезжившееся туловище растаяло, почти исчезло. Это Папа сокрушительно хлопнул его по плечу.

— А вот и мы, мой дорогой, вот и мы, — сказал Папа. Его шляпа съехала набок, пальто, как плащ, свисало с одного плеча. — Мы пишем здоровьем и силой, как древние греки. Осторожней с этим чемоданом. В нем

гуркхский нож.[5] У вас есть двор или загон, куда можно выпустить кроликов? Дети наотрез отказались расставаться с кроликами.

И антрепренер, затопленный нескончаемым потоком слов и смеха, льющихся из уст Папы, а возможно, и утраченный его ростом — шесть футов и четыре дюйма, — как выючное животное направился на прилегающий к театру двор, таща под мышками клетку с кроликами и кипу тростей, бит для гольфа и восточных ножей.

— Все предоставьте мне, мой дорогой, — радостно сказал Папа. — Вам ничего не придется делать. Все предоставьте мне. Но прежде о главном. Какую комнату вы намерены предложить мадам?

— Лучшую, месье Делейни, разумеется, лучшую, — ответил антрепренер, наступив на хвост щенку, и немного позднее, придя в себя и дав указания относительно размещения багажа и живности, повел нас вниз, в ближайшую к сцене гримуборную.

Но Мама и Труда уже освоились на новом месте. Они выносили в коридор зеркала, выдвигали за дверь туалетные столики, срывали портьеры.

— Я не могу этим пользоваться. Все это надо убрать, — объявила Мама.

— Конечно, дорогая. Все, что хочешь. Наш друг за всем присмотрит, — сказал Папа, оборачиваясь к антрепренеру и снова хлопая его по плечу. — Главное, чтобы тебе было удобно, дорогая.

Антрепренер заикался, извинялся, изворачивался, обещал Маме золотые горы. Она обратила на него взгляд своих холодных, темных глаз и сказала:

— Полагаю, вы понимаете, что к завтрашнему утру у меня должно быть все? Я не могу репетировать, пока в моей уборной не будет голубых портьер. И никаких эмалированных кувшинов и тазов. Все должно быть фаянсовое.

— Да, мадам.

С упавшим сердцем слушал антрепренер перечень абсолютно необходимых предметов, а когда Мама подошла к концу, то в награду удостоила его улыбки — улыбки, которую редко можно было увидеть. Но если это случалось, то она сулила райское блаженство.

Мы слушали их разговор, сгорая от нетерпения, и, когда он закончился, с победным кличем бросились в коридор за сценой.

— Лови меня, Найэл! Не поймал, не поймал, — крикнула Мария и, миновав дверь на сцену и коридор перед зрительным залом, вбежала в темный партер. Прыгая через кресло, она порвала сиденье и, преследуемая Найэлом, стала бегать между рядами, срывая пыльные чехлы и бросая их на пол. Занавес был поднят, и беспомощный, лишившийся дара речи антрепренер стоял на сцене, одним глазом уставясь на нас, другим на Папу.

— Подождите меня, подождите, — просила Селия и, не слишком проворная по причине своей полноты и коротких ножек, как всегда, упала. За падением последовал крик, долетевший до гримуборной.

— Посмотрите, что с ребенком, Труда, — скорее всего сказала Мама, как всегда спокойная и невозмутимая, зная, что если на ребенка свалился большой театральный канделябр, то, значит, одним малышом меньше придется возить с собой, и, вывалив на пол содержимое очередного саквояжа, чтобы Труда разобрала его, после того как отыщет живую Селию либо ее труп, она направилась на сцену и вынесла о ней самое не лестное мнение, объявив, что она не подходит для человеческих существ, как уже было с гримуборной.

— Папа, Мама, посмотрите на меня, посмотрите на меня! — крикнула Мария.

Она стояла у первого ряда балкона, закинув ногу на барьер. Но Папа и Мама, занятые на сцене бурным разговором с несколькими мужчинами, исполнявшими обязанности плотников, электриков, помощников режиссера, не обратили ни малейшего внимания на грозящую ей опасность.

— Я вижу тебя, дорогая, вижу, — сказал Папа, продолжая разговор и даже не взглянув в сторону балкона.

Для первого штурма, пожалуй, хватит. Плотники были угрюмы, электрики вымотаны, антрепренер не скрывал отчаяния, уборщики богохульствовали. Делейни — ни то, ни другое, ни третье.

Разгоряченные, радостные, предвкушая изысканный ужин, мы отбыли из театра. И наше представление будет повторяться в любом отеле, в любых номерах, везде, где бы мы ни остановились.

В десять часов вечера, раздувшиеся после ужина из четырех блюд, съеденного бок о бок с Папой и Мамой в ресторане, где нас обслуживали дрожащие официанты, которые не выносили нас и любили наших родителей — особенно Папу, — мы все еще прыгали и кувыркались на кроватях. Кувшины с водой валяются на полу, простыни перемазаны кусками прихваченного из ресторана торта, и вот Мария — зачинщица всех проказ — предлагает Найэлу экспедицию по коридору — подсмотреть в замочную скважину, как раздеваются другие

постояльцы.

В ночных рубашках мы осторожно двинулись по коридору. Мария со светлыми, вьющимися, короткими, как у мальчика, волосами, в рубашке, заправленной в полосатые пижамные брюки Найэла; Найэл плетется за ней в хлопающих по пяткам тапках Труды — свои он так и не нашел, и в арьергарде Селия волочет по полу набитую соломой обезьяну.

— Первая я, я это придумала, — сказала Мария.

Она оттолкнула Найэла от закрытой двери, опустилась на колени и прильнула глазом к замочной скважине. Найэл и Селия смотрели на нее как завороженные.

— Это старик, — прошептала Мария, — он снимает сорочку.

Но не успела она продолжить описание, как была сметена на пол Трудой, которая незаметно подкралась к нам.

— Нет, нет, мисс, — сказала Труда. — Может быть, в свое время вы и пойдете по этой дорожке, но не раньше, чем я перестану за вас отвечать.

И тяжелая рука Труды опустилась на восхитительные ягодицы Марии, а кулак Марии взметнулся к курносому недовольному лицу Труды. И нас, извивающихся, протестующих, приволокли обратно в кровати; мы растянулись на них и, утомленные долгим днем, заснули, как щенки. Нас приучили ценить тишину только по утрам. Папу и Маму нельзя беспокоить. Будь то на квартире, в отеле или в меблированных комнатах — утром мы разговаривали шепотом и ходили на цыпочках. По сей день мы не встаем рано. Мы лежим в постели, пока солнце не поднимется достаточно высоко. Детская привычка укоренилась в нас. Это было первое правило, которое мы не могли нарушать, второе было еще строже. Соблюдать тишину в театре во время репетиции. Никакой беготни по коридорам. Никакого прыганья в партере. Мы сидели, как немые, в каком-нибудь дальнем углу, чаще всего на первом ярусе или, когда дело было в Париже, в одной из лож бенуара.

Селия, единственная из нас любившая кукол и игрушки, сидела на полу с двумя или тремя из них и, следя за движениями на сцене, придавала им различные позы.

Медведь был Папой — широкогрудый, высокий, с рукой, прижатой к сердцу; молоденькая японская гейша с черными, завязанными узлом волосами, как у Мамы во время репетиции, кланялась, делала реверансы и стояла на одной ноге. Когда Селия уставала от этого занятия, она начинала играть в дом; кресла в ложе превращались в магазины, в квартиры, и едва уловимым шепотом, слишком тихим, чтобы его услышали на сцене, она вела беседу со своими куклами.

Мария уже тогда, как Папа и Мама, с пылом и страстью отдавалась репетиции. В конце партера или на первом ярусе она пантомимически воспроизводила все, что происходит на сцене, при этом старалась выбрать место у зеркала.

Так она могла одновременно смотреть и на себя, и на Папу или Маму, которые находились на сцене; это вдвойне захватывало; она была певицей, она была балериной, она была тенью среди других теней. Затянутые пыльными чехлами кресла партера были ее зрителями; густой мрак пустого зала укрывал ее, ласкал, не находил ни одного изъяна в том, что она делает. Забывшись в безмолвном экстазе, она простирала руки к зеркалу, как Нарцисс к пруду, и ее отражение улыбалось ей, плакало вместе с ней, но все это время частичка ее мозга наблюдала, критиковала, отмечала: Папа послал звук так, что нежный шепот, которым кончалась песня, долетел до того места, где она стояла.

Разумеется, в вечер премьеры Папа взял ее, эту высокую ноту, без малейшего усилия, и вот он стоит с легкой улыбкой на губах, затем жест руки, как бы говорящий: «Возьмите ее, она ваша». И непринужденной, слегка покачивающейся походкой уходит за кулисы, едва заметным движением плеч и спины недвусмысленно давая понять: «Право, не стоит докучать мне просьбами спеть еще». Аплодисменты, настоящая овация — и он снова выходит на сцену, пожимая плечами, стараясь скрыть зевок. Зрители кричат: «Делейни! Делейни!» — и смеются, восхищенные тем, что есть человек, который за их же деньги может относиться к ним с таким презрением и столь мало заботиться об аплодисментах. Они не знали, как знала это Мария, знали Найэл и Селия, что эти улыбки, эти уходы за кулисы, эти жесты, рассчитанные и отрепетированные, — неотъемлемая часть представления.

«Еще раз», — говорил он во время репетиции, и старый Салливан, дирижер, который сопровождал нас во всех турне, где бы мы ни были, на мгновение застыл с палочкой в поднятой руке, собирая оркестр, — и вновь звучал последний стих песни, и повторялись те же модуляции, те же жесты; а в глубине галереи первого яруса во тьме на цыпочках стояла Мария — мерцающая тень на поверхности зеркала.

— Это все. Благодарю вас, — и старый Салливан вынимал носовой платок, смахивал пот со лба, протирал пенсне, а Папа уже пересекал сцену, чтобы поговорить с Мамой, которая вернулась от парикмахера, портного

или массажистки. Мама никогда не репетировала по утрам, и на ней была либо новая меховая пелерина, либо новая шляпка с перьями. С ее появлением в театре воцарилась совершенно иная атмосфера: появлялась напряженность, дающая новый импульс к работе, но сковывающая чувства. Где бы Мама ни выступала, она всегда приносила ее с собой.

Салливан надел пенсне и выпрямился за пультом; Найэл, который стоял, склонившись над пюпитром первой скрипки, и, зачарованный неразборчивыми, ничего не говорящими ему значками, старался прочесть партитуру, каким-то внутренним чутьем мгновенно догадался о появлении Мама и поднял глаза, сразу почувствовав себя виноватым, — он знал, что Маме не нравится, когда он сидит в оркестре. Он услышал, как она говорит Папе о невыносимом сквозняке на сцене, о необходимости что-нибудь сделать до начала репетиции, уловил тонкий аромат ее духов, и вдруг ему до странной, озадачившей его самого боли в сердце захотелось стать театральным котом, который только что пробрался на сцену, и, мурлыча, выгнув спину дугой, стоял около Мама и своей лоснящейся головкой терся о ее ногу.

— Привет, Мине... Мине.

Мама наклонилась, подняла изогнувшего хвост кота, и тот уткнулся головкой в широкий темный воротник ее меховой пелерины. Мама гладила его, что-то шептала ему. Кот и меховая пелерина слились в одно целое, и тут Найэл, подчиняясь внезапному порыву, наклонился над пианино, которое стояло в оркестровой яме, и обеими руками ударил по клавишам; инструмент взорвался яростным, диссонирующим громом.

— Найэл? — Мама подошла к рампе и посмотрела вниз, голос ее утратил недавнюю мягкость, теперь он звучал жестко и холодно. — Как ты смеешь? Немедленно иди на сцену.

И старый Салливан с виноватым видом поднял Найэла над головой первой скрипки и поставил на сцену перед Мама.

Она ему ничего не сделала. Он так надеялся, что его хотя бы ударят, но напрасно. Она отвернулась, не обращая на него внимания, и разговаривала с Папой, обсуждая какую-то деталь дневной репетиции. Рядом с Найэлом стояла Труда и отряхивала его костюм, измявшийся и запылившийся, пока он стоял на коленях перед стулом первой скрипки, а в это время на сцену пританцовывая вышли Мария и Селия со следами грязных пальцев на лице и с паутиной в волосах.

Глава 3

Когда Чарльз вышел из комнаты, Найэл перестал играть.

— У меня сейчас то же странное чувство, — сказал он, — какое я нередко испытывал в детстве, но не переживал уже много лет. Будто все это уже было.

— У меня оно часто бывает, — сказала Мария. — Оно приходит неожиданно, словно призрак коснется твоей руки и тут же уйдет, оставляя тебя совершенно больной.

— Думаю, это можно объяснить, — сказала Селия. — Подсознание работает быстрее сознания или наоборот, во всяком случае что-нибудь в этом роде. Что не так уж и важно.

Она вынула из корзинки следующий дырявый носок и взглянула на него.

— Когда Чарльз называл нас паразитами, он думал обо мне, — сказала она, — думал о том, что я каждые выходные приезжаю сюда и не даю ему побыть с Марией наедине. Когда он входит в классную комнату, то видит, что я играю с детьми, нарушая заведенный Полли распорядок дня, вожу их на прогулки в отведенное для сна время, рассказываю сказки, когда они должны заниматься. В прошлую субботу он застал меня на кухне, где я показывала миссис Бэнкс, как приготовить суфле, а вчера утром я была в аллее и садовыми ножницами обрезала засохшие ветки куманики. Он не может отделаться от меня, не может освободиться. Со мной так всю жизнь — я слишком привязываюсь к людям, слишком привыкаю.

Она продела нитку в иглоку и начала штопать носок. Он был заношен, истерт, впитал в себя запах своего маленького владельца, и Селия подумала, сколько раз занималась она этим, но всегда для детей Марии, а не для своего собственного ребенка, и что до сих пор это не имело существенного значения, но сегодня привычный уклад изменился. Она уже никогда не сможет, как прежде, с легким сердцем приезжать в Фартингз — ведь Чарльз назвал ее паразитом.

— Это была не ты, а я, — сказала Мария. — Чарльз привязан к тебе. Он любит, когда ты здесь бываешь. Я всегда говорила вам, что он ошибся выбором.

Она снова легла на диван, но на сей раз боком, чтобы видеть огонь и горячие хлопья белого пепла от тлеющих поленьев, которые, сворачиваясь, падали сквозь решетку на кучу остывшей золы.

— Ему нельзя было жениться на мне, — сказала она. — Ему следовало жениться на той, которая любит то, что любит он: деревню, зиму, верховую езду, несколько семейных пар к обеду и затем бридж. Что хорошего для него в этой сумбурной жизни, я работаю в Лондоне, приезжаю только на два выходных. Я делала вид, будто мы счастливы, но это уже давно не так.

Найэл закрыл крышку рояля и встал.

— Чепуха, — резко сказал он. — Ты обожаешь его и отлично знаешь это. И он обожает тебя. Если бы это было не так, вы бы давно расстались.

Мария покачала головой.

— Он даже не знает меня по-настоящему, — сказала она. — Он любит представление, которое когда-то оставил обо мне, и старается никогда с ним не расставаться, как с памятью об умершем. Я поступаю так же по отношению к нему. Когда он влюбился в меня, я играла в возобновленном спектакле «Мэри Роз».[6] Не помню, сколько она продержалась в репертуаре — два или три месяца, — но я все время видела в нем Саймона. Он был для меня Саймоном; и когда мы обручились, я продолжала быть Мэри Роз. Я смотрела на него ее глазами, испытывала к нему ее чувства, а он думал, что это подлинная я, вот почему он любил меня и почему мы поженились. Но все это было только иллюзией.

Даже сейчас, подумала она, глядя в огонь, я продолжаю играть. Я смотрю на себя, я вижу женщину по имени Мария, она лежит на диване и теряет любовь мужа, мне жаль одинокую бедняжку, я готова рыдать над ней; но я, настоящая я, исподтишка строю гримасы.

— Здесь только один паразит, — сказал Найэл. — Не обольщайтесь, он выпустил пар не на вас, ни на ту, ни на другую.

Он подошел к окну.

— Чарльз человек действия, — сказал он, — человек, у которого есть цель. Он пользуется авторитетом, у него трое детей, он воевал. Я уважаю его больше, чем кого бы то ни было. Временами мне хотелось бы походить на него, быть человеком его склада. Видит Бог, я завидовал ему... во многом завидовал. Только что он назвал меня шутлом гороховым, и был прав. Но я куда больше паразит, чем шут гороховый. Всю свою жизнь я от чего-то убегаю, убегаю от гнева, от опасности, но прежде всего от одиночества. Вот почему я и пишу песни, это своего рода попытка обмануть мир.

Глядя через комнату на Марию, он отшвырнул сигарету.

— Мы становимся слишком впечатлительными, это нездорово, — встревожилась Селия. — К чему этот самоанализ. И нелепо говорить, что ты боишься быть один. Ты любишь оставаться один. Глухие места, куда ты все время скрываешься. Лодка, которая всегда течет...

Она услышала, что ее голос становится капризным, как у маленькой Селии, которая просила: «Не оставляйте меня. Подождите меня, Найэл, Мария, подождите меня...»

— Желание побыть одному и одиночество — разные вещи, — сказал Найэл. — Ты, конечно, поняла это за последние годы.

По звукам, долетевшим из столовой, мы поняли, что накрывают к чаю. Миссис Бэнкс была одна. Она тяжело ступала по полу и довольно неуклюже звенела и стучала чашками. Селия подумала, не пойти ли ей помочь, и уже было встала с места, но снова села, услышав, как Полли говорит веселым голосом: «Позвольте мне пособить вам, миссис Бэнкс. Нет, дети не станут лезть пальцами в торт».

Селия впервые страшилась общего чая. Дети наперебой рассказывают о прогулке, с которой они недавно вернулись, мисс Поллард — Полли — улыбается из-за чайника, ее пышущее здоровьем, привлекательное лицо напудрено по случаю этого события — воскресный чай, — пудра слишком бледная для ее кожи, и ее беседа («Ну, дети, расскажите тете Селии, что вы видели из окна, такую огромную птицу, мы все гадали, кто же это, — не пей слишком быстро, дорогая, — еще чаю, дядя Найэл?»), она всегда немного нервозна в присутствии Найэла, слегка краснеет и теряется; а сегодня с Найэлом будет особенно сложно, да и Мария больше обычного утомлена и молчалива, а Чарльз, если он придет, угрюмо молчит за чашкой, которую Мария как-то подарила ему на Рождество. Нет, сегодня, как никогда, общего чая надо избежать. Мария, наверное, тоже об этом подумала.

— Скажи Полли, что мы не выйдем к чаю, — сказала Мария. — Возьми поднос, и мы попьем здесь. — Я не выдержу шума.

— А как Чарльз? — спросила Селия.

— Чай ему не понадобится, — я слышала, как хлопнула садовая дверь. Он вышел пройтись. Снова начался дождь, мелкий, монотонный, он слегка постукивал по «тюремным» окнам.

— Я всегда их ненавидела, — сказала Мария. — Они не пропускают света. Маленькие, уродливые квадраты.

— Лютьенс,[7] — сказал Найэл. — Он всегда делал такие.

— Они годятся для таких домов, — сказала Селия. — В «Кантри Лайф» их видишь десятками, особенно в Хэмпшире. Достопочтенная миссис Роналд Харрингуэй, что-то вроде этого.

— Две односпальные кровати, — сказала Мария, — их сдвигают вместе, чтобы они выглядели как двуспальная. И скрытый электрический свет, который проникает из-за стены почти под потолком.

— Розовые полотенца для гостей, исключительно чистые, — сказал Найэл, — но запасные комнаты всегда холодные и выходят на север. У миссис Харрингуэй вот уже много лет служит очень расторопная горничная.

— Которая слишком рано положит грелку в постель, и, когда вы ляжете, она будет едва теплой, — сказала Мария.

— Мисс Комптон Коллир раз в год приезжает фотографировать цветочный бордюр, — сказала Селия. — Множество люпинов, очень крепких.

— И губастики, которые, высунув языки, задыхаются на лужайке, пока миссис Роналд Харрингуэй срезает розы, — сказал Найэл.

Повернулась ручка, и Полли просунула голову в дверь.

— Все в темноте? — жизнерадостно спросила она. — Это не очень весело, не правда ли?

Она повернула главный выключатель у двери, и комнату залил яркий свет. Никто не произнес ни слова. Лицо Полли покраснелось и посвежелось после бодрой прогулки с детьми под дождем. По сравнению с ней мы трое казались изможденными.

— Чай готов, — сказала она. — Я сейчас немного помогла миссис Бэнкс. У детей, да благословит их Господь, такой аппетит после прогулки. Мамочка выглядит усталой.

Полли бросила на Марию критический взгляд: ее поведение представляло собой странную смесь заботы и неодобрения. Дети молча стояли рядом с ней.

— Мамочке надо было пойти с нами на прогулку, ведь правда? Тогда бы ее лондонский вид как рукой сняло. Но ничего. Мамочка скушает большой кусок вкусного торта. Пойдемте, дети.

Она кивнула, улыбнулась и вернулась в столовую.

— Не хочу никакого торта, — прошептала Мария. — Если он такой же, как в прошлый раз, меня стошнит. Я его терпеть не могу.

— Можно мне съесть твой кусок? Я никому не скажу, — попросил мальчик.

— Да, — ответила Мария.

Дети выбежали из комнаты.

Найэл вместе с Селией пошел в столовую, и они принесли чайный поднос с напитками, после чего закрыли дверь в гостиную, отгородившись от застольного шума, такого привычного и по-домашнему уютного.

Найэл выключил свет, и нас снова окутала успокоительная темнота. Мы остались одни, никто не нарушал окружавшей нас тишины и покоя.

— У нас было иначе, — сказал Найэл. — Все ярко, чисто, выхолащено и банально. Пластмассовые игрушки. Вещи, которые приходят и уходят.

— Возможно, и так, — сказала Мария, — а может быть, мы просто не помним.

— Я отлично помню, — сказал Найэл, — я все помню. В том-то и беда. Я помню слишком многое.

Мария налила в чай ложку коньяка, себе и Найэлу.

— Я не выношу классную комнату, — сказала она. — Поэтому никогда туда не захожу. Такая же тюрьма, окна как в этой гостиной.

— Напрасно ты так говоришь, — сказала Селия. — Это лучшая комната в доме. Выходит на юг. Очень солнечная.

— Я не это имею в виду, — сказала Мария. — Она слишком самоуверенна, довольна собой. Так и слышишь, как она говорит: «Разве я не прекрасная комната, дети? Входите же, играйте, веселитесь». И бедные малыши с огромными кусками пластилина в руках усаживаются на сверкающий голубой линолеум. Трудно никогда не давала нам пластилин.

— Он был нам просто не нужен, — сказала Селия. — Мы постоянно наряжались.

— Если бы дети захотели, они могли бы наряжаться в мои платья, — сказала Мария.

— У тебя нет шляп, — сказал Найэл, — а без шляп наряжаться неинтересно. Десятки шляп свалены на шкафу,

но чтобы их достать, надо забраться на стул. — Он налил себе в чай еще ложку коньяка.

— У Мама была малиновая бархатная накидка, — сказала Селия. — Я как сейчас ее вижу. Она стягивалась на шнур в бедрах, думаю, ты назвала бы ее оберткой, и заканчивалась широкой меховой оторочкой. Когда я ее надевала, она волочилась по полу.

— Ты воображала себя феей Морганой, — сказала Мария. — С твоей стороны было очень глупо надевать малиновую накидку, изображая фею Моргану. Я тебе говорила, что это неправильно. Но ты заупрямилась и ничего не хотела слушать. Потом пустилась в слезы. Я даже слегка тебя стукнула.

— Ты стукнула ее вовсе не за это, — сказал Найэл. — Тебе самой хотелось взять красную накидку и изображать Джиневру. Разве ты не помнишь, что на полу рядом с нами лежала книга с иллюстрациями Дюлака? На Джиневре был длинный красный плащ, и на него спадали золотые косы. А я надел свою серую куртку задом наперед, чтобы быть Ланселотом, да еще натянул на руки Папины серые носки — это была кольчуга.

— Кровать была очень большая, — сказала Мария. — Просто огромная. Самая большая кровать, какую я видела.

— О чем вы говорите? — спросила Селия.

— О Маминой кровати, — ответила Мария, — в комнате, где мы наряжались. Это было в меблированных комнатах в Париже. Там еще висели картины с изображениями китайцев. Я всегда искала такую же большую кровать, но так и не нашла. Как странно.

— Интересно, почему ты вдруг о ней вспомнила? — спросила Селия.

— Не знаю, — ответила Мария. — Это не боковая дверь сейчас хлопнула? Может быть, Чарльз вернулся.

Мы прислушались. И ничего не услышали.

— Да, это была большая кровать, — сказал Селия. — Один раз я в ней спала, когда прищемила палец в лифте. Я спала посередине, между Папой и Мамой.

— Правда? — с любопытством спросила Мария. — Как это на тебя похоже. Тебе не было неловко?

— Нет. А почему мне должно было быть неловко? Было тепло и приятно. Ты забываешь, что для меня это было очень просто. Ведь я принадлежала им обоим.

Найэл со стуком поставил чашку на поднос.

— И надо же сказать такую чушь. — Он встал и закурил еще одну сигарету.

— Но так оно и есть, — сказала удивленная Селия. — Как ты глуп.

Мария медленно пила чай. Она держала чашку обеими руками.

— Интересно, одинаково ли мы их себе представляем, — задумчиво проговорила она. — Я имею в виду Папу и Маму. Прошлые, и как мы были детьми, как росли, все, что делали?

— Нет, — сказал Найэл, — каждый из нас видит их по-своему.

— И если мы объединим наши представления, получится цельная картина, — сказала Селия. — Но только искаженная. Как, например, сегодняшний день. Когда он пройдет, мы будем видеть его по-разному.

Комната погрузилась во мрак, и наступающая ночь казалась жемчужно-серой по сравнению с окружающей нас темнотой. Еще были видны мрачные очертания деревьев, трепещущих под ленивым дождем. Изогнутая ветка ползучего жасмина, вьющегося по стене дома, царапала освинцованные стекла французского окна. Довольно долго никто из нас не проронил ни слова.

— Интересно, — сказала Селия, — что же на самом деле Чарльз имел в виду, назвав нас паразитами?

В комнате с незадернутыми порттьерами вдруг повеяло холодом. Огонь почти угас. Дети и Полли за столом ярко освещенной столовой по ту сторону холла принадлежали другому миру.

— Отчасти, — сказала Мария, — это выглядело так, будто он нам завидует.

— То была не зависть, — сказала Селия, — а жалость.

Найэл открыл окно и посмотрел в дальний конец лужайки. Там, в углу, возле детских качелей, стояла плакучая ива, летом она превращалась в самой природой созданную беседку, прохладную, увитую листьями, которые, переплетаясь между собой, приглушали ослепительное сияние солнечных лучей.

Но сейчас, окутанная унылой декабрьской тьмой, она стояла побелевшая, хрупкая; ее ветви были тонки, как кости скелета. Пока Найэл смотрел на раскинувшуюся за окном картину, порыв ветра с морозящим дождем колыхнул ветви плакучей ивы, они закачались, согнулись и разметались по земле. И там, куда был устремлен взгляд Найэла, отчетливо вырисовываясь на фоне вечной зелени, стояло уже не одинокое дерево, но видение женщины, застывшее на фоне театрального задника... еще мгновение, и оно в плавном танце заскользило к нему через погруженную в полумрак сцену.

В последний вечер сезона Папа и Мама устраивали на сцене банкет. По этому поводу нас одевали особенно нарядно. Марию и Селию в шифоновые платья со шнурами, продетыми в прорези на талии, Найэла в матросский костюм, блуза от которого всегда была слишком велика и сидела на нем мешковато.

— Да будешь ты, наконец, стоять спокойно, детка? — ворчала Труда. — Как же мне собрать тебя вовремя, если ты ни в какую не хочешь стоять спокойно? — И она вытягивала пряди волос Марии, потом взбивала их жестким частым гребнем, до тех пор пока они не окружали голову Марии как золотой нимб. — Те, кто тебя не знает, подумают, что ты ангел, — бормотала она, — но мне виднее, я могла бы им кое-что рассказать. А ну, не ерзай. Ты хочешь куда-то пойти?

Мария смотрелась в зеркало платяного шкафа. Дверца была полуоткрыта и слегка ходила, отражение Марии ходило вместе с ней. Ее щеки горели, глаза сияли, волна возбуждения, нараставшая весь день, подкатывала к горлу, и ей казалось, что она задыхается. Она быстро росла, и одежда, которая еще несколько месяцев назад была ей впору, жала в плечах и стала коротка.

— Я это не надену, — сказала она. — Это для детей.

— Ты наденешь то, что велит Мама, или пойдешь в кровать, — сказала Труда. — Ну а теперь, где мой мальчик?

«Мой мальчик» в нижней сорочке и штанах, весь дрожа, стоял перед умывальником. Труда схватила его и, намылив кусок фланели, принялась тереть ему шею и уши.

— И откуда только берется грязь, ума не приложу, — сказала она. — Что с тобой, тебе холодно?

Найэл покачал головой, но продолжал дрожать, и зубы у него стучали.

— Волнение, вот что это такое, — сказала Труда. — Большинство детей твоего возраста давно спят. Что за глупость постоянно таскать вас в театр. Но недалек тот день, когда они об этом пожалеют. Селия, поторопись; если ты собираешься сидеть там и дальше, то просидишь всю ночь. Неужели ты еще не кончила? Иду, мадам, иду... — И, в раздражении шелкнув языком и бросив фланелевую тряпку в таз, оставила Найэла стоять с намыленной шеей, по которой стекали тонкие струйки воды.

— Мы уезжаем, Труда, — сказала Мама. — Если вы привезете детей после антракта, времени хватит.

Натягивая длинные черные перчатки, она, холодная и бесстрастная, на мгновение задержалась в дверях. Ее темные блестящие волосы были, как всегда, разделены на прямой пробор и собраны в узел, спускающийся на шею. По случаю банкета на ней было жемчужное кольцо и жемчужные серьги.

— Какое красивое платье, — сказала Мария. — Оно новое, правда?

И, забыв о своем недовольстве, подбежала потрогать Мамино платье; Мама улыбнулась и распахнула плащ, чтобы показать складки.

— Да, новое, — сказала она и повернулась. Складки платья взвихрились под черным бархатным плащом, и на нас повеяло ароматом духов.

— Дай мне тебя поцеловать, — попросила Мария. — Дай мне тебя поцеловать и представить, что ты королева. Мама наклонилась, но лишь на секунду, так что Марии досталась всего-навсего складка бархата.

— Что с Найэлом? — спросила Мама. — Почему он такой бледный?

— По-моему, его тошнит, — сказала Мария. — С ним всегда так перед банкетом.

— Если он нездоров, ему не следует ехать в театр, — сказала Мама и взглянула на Найэла, затем, услышав, что Папа зовет ее из коридора, запахнула плащ, повернулась и вышла из комнаты, оставив нам свой ласкающий аромат.

Мы слышали звуки их отбытия — громкие голоса и шепот взрослых, так не похожие на нашу болтовню и смех. Мама что-то объясняла Папе, Папа говорил с шофером, Андре бежал через холл с Папиным пальто, которое Папа забыл у себя; они садились в машину, и нам было слышно, как завелся мотор и хлопнула дверца.

— Они уехали, — сказала Мария, и ее возбуждение ни с того ни с сего угасло. Она вдруг почувствовала себя одинокой, ей стало грустно, поэтому она подошла к тазу, перед которым по-прежнему стоял дрожащий Найэл, и стала дергать его за волосы.

— Ну-ну, вы, двое, не смейте, — рассердилась Труда. Она вернулась в комнату и, склонившись над Найэлом, внимательно осмотрела его уши. Найэл согнулся пополам; у него был довольно жалкий вид, чего он не выносил и поэтому был рад, что Папа, такой величественный в вечернем костюме, с гвоздикой в петлице, не пришел

проститься вместе с Мамой.

— А теперь все трое успокойтесь и ведите себя смирно, пока я одеваюсь, — сказала Труда и пошла к стоявшему в коридоре шкафу, где она держала свою одежду, и достала черное, пахшее затхлостью платье, единственное, в которое она переодевалась.

В комнатах все говорило о том, что наше пребывание здесь подошло к концу. Завтра мы уезжаем, и они уже не будут нашими. Здесь поселятся другие люди, или они будут пустовать, возможно, в течение нескольких недель. Андре укладывал Папины костюмы в большой дорожный сундук. Комод и платяной шкаф стояли раскрытыми, на полу выстроились ряды туфель и ботинок.

Андре разговаривал по-французски с маленькой черноволосой горничной, которая заворачивала Мамины вещи в листы оберточной бумаги. Бумага была разбросана по всей комнате. Он смеялся, слова лились все быстрее, а маленькая горничная улыбалась и держала себя с притворной скромностью.

— Это его всегдашнее занятие, — сказала Труда. — Никак не может оставить девушек в покое. — Для Андре она всегда держала нож за пазухой.

Вскоре они ушли на кухню ужинать, и Труда присоединилась к ним. Сквозь полуоткрытую дверь из кухни доносился приятный запах сыра и чеснока.

Селия вошла в гостиную, села и огляделась. Книги, фотографии и прочие вещи были упакованы. В комнате осталась лишь мебель, принадлежавшая владельцам комнат. Жесткий диван, золоченые стулья, полированный стол. На стене висела картина, изображающая женщину на качелях, ее юбки развевались, туфелька с одной ноги взлетела в воздух, а молодой человек, стоящий у нее за спиной, раскачивал качели. Как-то странно было думать об этой молодой женщине, сидящей на качелях, которые раскачивает молодой человек, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, с тех самых пор, когда была написана картина, и о том, что теперь на них некому будет смотреть и им придется качаться одним в пустой комнате.

— Мы уезжаем, — громко сказала Селия. — Как вам это понравится? Не думаю, что мы снова приедем сюда.

А молодая женщина продолжала улыбаться своей тонкой улыбкой, подбрасывая туфельку в воздух.

Вернувшись в спальню, Мария лихорадочно переодевалась. Она сняла выходное платье и наряжалась в бархатный костюм, который надевала во время новогоднего костюмированного бала. Это был костюм пажа, взятый напрокат за весьма значительную плату; Труда уже приготовила его к отправке обратно в магазин, упаковав в специальную коробку и прикрепив к ней этикетку. Он состоял из полосатого колета, коротких штанов колоколом, длинных шелковых чулок и, самое замечательное, наброшенного на плечи плаща. Талию перехватывал ремень, за который был заткнут кинжал в расписных ножнах.

Костюм был как нельзя более впору, и, пока Мария рассматривала себя в зеркало, радостное возбуждение постепенно возвращалось к ней. Она была счастлива, ей все было нипочем: из зеркала на нее смотрела не Мария, унылая маленькая девочка в дурацком черном выходном платье, а веселый паж, и звали его Эдоар. Она ходила взад и вперед по комнате, разговаривала сама с собой и рассекала воздух кинжалом.

В ванной Найэл старался вызвать рвоту. Он набирал воздух в легкие, задерживал дыхание, плевал, но ничего не получалось, а боль в низу живота не проходила. Он горестно размышлял над тем, почему его всегда тошнит перед важными событиями. Утро его дня рождения, Рождество, премьера, последний вечер сезона, поездка на море — все портила проклятая тошнота.

В обычные дни, когда это было бы не так важно, его никогда не тошнило. Он распрямился, вздохнул и, выйдя из ванной, остановился в коридоре, размышляя, что же делать. Он слышал, как в кухне Труда разговаривала с Андре. Он повернулся и пошел в Мамину спальню. Андре выключил свет, и в спальне горела лишь одна лампа у зеркала на туалетном столике. Найэл вошел и остановился перед столиком. На нем стояли бутылочки с духами и лосьонами, которые горничная еще не успела упаковать, и черепаховый поднос, засыпанный пудрой. На табурете лежала Мамина шаль. Найэл поднял ее, понюхал и набросил на плечи. Он сел на табурет и стал перебирать разные мелочи, лежавшие на подносе. Вдруг он заметил, что Мама забыла серьгу. Круглая белая жемчужина лежала на островке просыпанной пудры. Он был уверен, что она была на Маме, когда та вошла в их спальню попрощаться. Наверное, серьга упала, когда Папа позвал ее, а она этого не заметила, и Андре или горничная увидели ее на полу и положили на туалетный столик.

Найэл решил взять серьгу и отдать ее Маме, конечно же, она будет довольна и скажет: «Как это мило с твоей стороны» — и улыбнется. Он взял жемчужину в руку и тут же ощутил непреодолимое желание положить ее в рот. Так он и сделал. Провел по ней языком. Она была холодной и гладкой. Какой мирный покой царил в тихой спальне. Его больше не тошнило. И вдруг из коридора послышался голос Труды: «Найэл... Найэл... Да где же этот мальчик?» Он вздрогнул, вскочил, и в ту же секунду его зубы прикусили жемчужину; она страшно

хрустнула. Охваченный паникой, он выплюнул кусочки в руку, несколько мгновений смотрел на них испуганными глазами, затем бросил под подозр кровати. Когда Труда вошла в комнату и зажгла свет, он сидел скорчившись под кроватью.

— Найэл? — позвала Труда. — Найэл?

Он не отозвался. Труда вышла и стала звать остальных. Найэл выполз из-под кровати, на цыпочках добрался по коридору до ванной и, войдя в нее, запер за собой дверь.

По дороге в театр Труда была в плохом настроении.

— Слишком за многим приходится смотреть, вот что я вам скажу, — говорила она. — У меня не сотня глаз. И складывать вещи, и вас одевать, и вдобавок ко всему эта выходка — помяните мое слово, эта девица и не думала класть серьгу на туалетный столик. Зная, что ваша Мама и все мы завтра уезжаем, она ее где-нибудь спрятала, чтобы потом продать. Мария, опусти немного окно, в машине душно. Уж слишком спокойно ты сидишь, да еще закуталась в выходной плащ. Только не говори, что тебя тоже тошнит. Найэл, с тобой сейчас все в порядке?

Труда продолжала разговаривать то ли с нами, то ли сама с собой. Щеки Марии покраснелись, руки покрыла легкая испарина, и она не без злорадства думала о том, когда же Труда обнаружит, что под ее выходным плащом надето вовсе не платье, а костюм пажа. Ей было все равно, передеваться уже поздно; пусть даже ее накажут, это не имеет значения. Она слегка подпрыгнула на сиденье, и губы ее упрямо сжались.

Найэл искал утешения в прикосновении к руке Труды под пледом, лежавшим у них на коленях.

— Все в порядке, мой мальчик? — спросила она.

— Да, спасибо, — ответил Найэл.

Под кроватью они никогда не найдут расколотую жемчужину, а если и найдут, то подумают, что на нее наступила горничная. Завтра мы уедем, и все забудется.

До театра еще несколько минут езды по широкому, заполненному гудящими такси и залитому огнями бульвару, по обеим сторонам которого текут бесконечные потоки теснящих друг друга, весело болтающих пешеходов. А потом фойе, где во время антракта народу еще больше, шум и суета; люди взволнованно переговариваются, приветствуют знакомых. Затем Труда, что-то сказав шепотом ουνγευς,[8] вталкивает нас в ложу, и мы стоим, глаза по сторонам. И вот из фойе доносится звонок, публика спешит занять места, шум и гомон постепенно затихают и превращаются в легкое жужжание, когда в оркестре появляется Салливан и застывает с поднятой палочкой в руке.

Занавес словно по волшебству расступился, и мы смотрели на уходящий в глубь сцены густой лес; посреди леса была поляна, а в центре поляны пруд.

Хотя мы много раз трогали эти деревья руками и знали, что они нарисованы, гляделись в пруд и знали, что это ткань, которая даже не блестит, Селия опять поддалась на обман.

Она словно эхо повторила слабое «ах», которое вырвалось у зрителей, когда они увидели, как у кромки пруда медленно поднимается фигура женщины со светлыми волосами и сложенными на груди руками, и, хотя рассудок говорил ей, что это Мама — просто Мама делает это понарошку, а ее настоящие вещи лежат в уборной за сценой, — ее, и не в первый раз, охватил страх: а что, если она ошибается и нет ни уборной за сценой, ни Маминых вещей, ни Папы, который ждет, когда придет его черед выходить на сцену и петь; а есть только эта фигура, эта женщина — и Мама, и не Мама. Чтобы избавиться от своих страхов, она посмотрела на сидевшую рядом Марию. Мария слегка раскачивалась и повторяла вслед за Мамой ее движения; ее голова склонилась к плечу, руки разведены, а Труда толкает ее в спину и говорит: «Шшш... сиди спокойно».

Мария вздрогнула, она и не знала, что копирует Маму.

Она думала о линиях, мелом начерченных на сцене, на голых досках, до того как на них постелили ткань. Когда Мама репетировала, она всегда просила начертить мелом квадраты по всей сцене и отрабатывала свои па от квадрата к квадрату снова и снова. Мария много раз наблюдала за этим.

Сейчас она двигалась по второму квадрату... Мгновение — и она заскользит по третьему, четвертому, пятому, потом поворот, взгляд назад и сопровождающее взгляд движение рук. Мария знала все па. Как ей хотелось быть тенью, что движется по сцене рядом с Мамой.

Однажды был лист, гонимый ветром, думал Найэл. Первый осенний лист, упавший с дерева. Его поймали, бросили на землю, и его сдуло вместе с пылью; и никто его больше не увидит, он пропал, затерялся. Была морская зыбь, она ушла с отливом и никогда не вернется. Была водяная лилия в пруду, зеленая, с закрытыми лепестками, затем она распустилась, белая, похожая на воск; и этой водяной лилией были раскрывающиеся Мамины руки и музыка, нарастающая, замирающая и теряющаяся в отдаленном лесном эхе. Если бы это никогда не кончилось; если бы музыка не утихала и не сливалась с тишиной, но продолжалась бы вечно...

падающий лист... зыбь на воде... Она снова возле пруда, и вот она погружается в него. Деревья плотным кольцом обступают ее... и темнота — все кончено. Струющийся складками занавес закрывается, нарушая воцарившуюся тишину, и вдруг весь мир и покой взрывает бессмысленная буря аплодисментов.

Руки мелькают, как нелепые развевающиеся веера, все хлопают вместе, головы кивают, губы улыбаются. Труда, Селия и Мария, раскрасневшиеся, счастливые, хлопают вместе со всеми.

— Ну, похлопай же Маме, — сказала Труда.

Но он покачал головой и, нахмурясь, уставился на свои черные ботинки под белыми матросскими брюками. Старик с бородкой клинышком нагнулся из соседней ложи и спросил, смеясь:

— Qu'est-ce qu'il a, le petit?[9]

На сей раз Труда не смогла прийти на помощь и рассмеялась, посмотрев на старика.

— Да он просто слишком застенчив, — сказала она.

В ложе было жарко и душно, от жажды и волнения у нас пересохло в горле. Мы хотели купить sucettes[10] и пососать их, но Труда не позволила.

— Вы не знаете, из чего они их делают, — сказала она.

Мария так и не снимала плащ, притворяясь, будто ей холодно, и, когда Труда поворачивалась к ней спиной, нарочно показывала язык толстой, увешанной драгоценностями женщине, которая разглядывала ее в лорнет.

— Oui, les petits Delayneys,[11] — сказала женщина своему спутнику, который повернулся, чтобы посмотреть на нас, и мы уставились прямо поверх их голов, делая вид, будто ничего не слышали.

Странно, думал Найэл, что ему никогда и в голову не приходит не хлопать Папе; когда Папа выходил на сцену петь, он испытывал совершенно другие чувства. Папа казался таким высоким и уверенным, даже могучим, он напоминал Найэлу львов, которых они видели в Jardin d'Acclimatation.[12]

Разумеется, Папа начинал с серьезных песен, и как Мария помнила линии, начерченные мелом на сцене, так и Найэл обращался мыслями к репетиции и к тому, как Папа переходил от одной музыкальной фразы к другой.

Иногда ему хотелось, чтобы Папа пел ту или иную песню быстрее, хотя, может быть, дело было в музыке, музыка была слишком медленной. Быстрее, думал он, быстрее...

Хорошо известные и любимые публикой песни Папа приберегал для конца программы и исполнял их на бис.

Селия со страхом ждала этого момента, потому что они слишком часто бывали грустными.

Так летним днем колокола
На Бредене звонят...

Песня начиналась с такой надеждой на будущее, с такой верой в него, и вдруг этот ужасный последний стих... кладбище; Селия ощущала снег под ногами, слышала, как звонит колокол. Она знала, что заплачет. Какое облегчение она испытывала, если Папа не пел эту песню, а вместо нее исполнял «О, Мэри, под твоим окном».

Она так и видела, как сидит у окна, а Папа верхом проезжает мимо, машет ей рукой и улыбается.

Все песни имели к ней прямое отношение, она не могла отделить себя ни от одной из них.

Горы подпирают небо,
Тучи ходят на закате,
И цветку-сестрице горе,
Коль не тужит о брате... (*)

Это были она и Найэл. Если она не тужит по Найэлу, ей не будет прощения. Она не знала, что значит слово «тужит», но была уверена, что что-то ужасное.

О ты, луна восторга моего...

Селия чувствовала, как у нее дрожат уголки губ. И зачем это Папе понадобилось? Что он сделал со своим голосом, отчего он стал такой грустный?

Напрасно будешь в том саду искать
И звать меня — там нету никого.

А это уже сама Селия везде ищет Папу и нигде его не находит. Она видела сад, усыпанный опавшими листьями, как Bois[13] осенью.

Но вот все кончено, все позади; аплодисменты не только не стихали, но становились все громче, из зала неслись восторженные крики. Мама и Папа, стоя перед занавесом, кланялись публике и друг другу; Папа уже подходил к рампе, чтобы произнести речь, когда Труда поспешно втолкнула нас в дверь, ведущую на сцену, — она не хотела попасть в давку при выходе публики на улицу.

Мы оказались за кулисами в тот момент, когда Папа кончил говорить, а Мама стояла, спрятав лицо в букет, который Салливан подал ей из оркестровой ямы. Маме и Папе преподнесли несколько букетов и увитую лентами корзину цветов, что было весьма глупо, раз утром мы уезжали из Парижа, и Мама все равно не смогла бы их упаковать.

Но вот занавес закрылся в последний раз, хлопки и крики смолкли. Папа и Мама задержались на сцене; они улыбались и кланялись друг другу, но вдруг Папа в гневе повернулся к режиссеру.

— Свет, свет, черт возьми, что со светом? — кричал он, а Мама, раздраженно пожимая плечами, стремительно прошла мимо нас; она была бледна и уже не улыбалась.

Мы были слишком вышколены, чтобы задавать вопросы. Мы сразу догадывались, когда наступал критический момент... Мы проскользнули в глубину сцены, и Труда без слов отпустила нас.

В царившей вокруг суматохе мы вскоре все позабыли.

В Париже для рабочих сцены закон не писан, как и для носильщиков в Кале. Проворные, как обезьяны, ловкие, как жонглеры, непрестанно крича друг другу «Гоп ля!», они перетаскивали за сцену части декорации; ими руководил маленький человечек в берете, с лицом, залитым потом, он клял их на чем свет стоит, наполняя воздух запахом чеснока.

Мимо них с трудом проталкивались официанты из «Мериса» с подносами, уставленными бокалами и тарелками с цыплятами в сметане; появившийся из ниоткуда Андре одну за другой вынимал из корзины бутылки шампанского; а в дверь, ведущую на сцену из зала, слишком рано и слишком скоро вошел первый гость, на что никто не обратил внимания. Это была всего-навсего миссис Салливан, жена дирижера, в ужасной лиловой пелерине. Она направилась к нам, улыбаясь и стараясь выглядеть непринужденно. При виде лиловой пелерины с нами чуть не сделалась истерика; мы убежали от миссис Салливан, оставив ее одну среди официантов, и отправились разыскивать Папу в его уборной. Увидев нас, он помахал рукой и улыбнулся, его гнев по поводу света прошел, и, подхватив Селию на руки, он поднял ее так высоко над головой, что стоило ей протянуть руки, и она достала бы до потолка. Все так же держа ее на поднятых руках, он спустился по лестнице и прошел по коридору; а тем временем Мария и Найэл цеплялись за фалды его фрака; это было так захватывающе, так весело, мы были так счастливы. Мы подошли к двери Маминой уборной и услышали, как она говорит Труде: «Но если она положила серьгу на туалетный столик в моей спальне, она и сейчас должна быть там», а Труда отвечает: «Но ее там нет, мадам. Я сама смотрела. Я везде смотрела».

Мама стояла перед высоким зеркалом, и на ней снова было то же самое платье, что и перед спектаклем. Ее шею охватывало жемчужное кольцо, но она была без серег.

— Что-нибудь не так, дорогая? Отчего такой шум? Ты не готова? Гости уже собираются, — сказал Папа.

— Пропала моя серьга, — сказала Мама. — Труда думает, что ее украла горничная. Я уронила ее в комнатах. Тебе надо что-нибудь предпринять. Ты должен позвонить в полицию.

У нее было холодное, сердитое лицо, не предвещающее ничего хорошего, лицо, при виде которого слуги разбежались в стороны, режиссеры бежали куда глаза глядят, а мы забивались в самую дальнюю комнату.

Один Папа не проявил ни малейших признаков беспокойства.

— Все в порядке, — спокойно сказал он. — Без серег ты выглядишь куда лучше. Да и вообще они для тебя слишком велики. Они портят впечатление от кольца.

Он улыбнулся ей через комнату, мы видели, как она улыбнулась в ответ и на мгновение смягчилась. Затем она

увидела Найэла, который стоял в дверях за Папой, бледный и точно онемевший.

— Это ты взял ее? — вдруг спросила Мама. Пугающий, безошибочный инстинкт подсказал ей истину. Последовала короткая пауза, пауза, которая нам троим показалась вечностью.

— Нет, Мама, — ответил Найэл.

Мария почувствовала, что сердце готово выскочить у нее из груди. Пусть что-нибудь случится, молила она, пусть все будет хорошо. Пусть больше никто не сердится, пусть все любят друг друга.

— Ты говоришь правду, Найэл? — спросила Мама.

— Да, Мама, — сказал Найэл.

Мария бросила на него горящий взгляд. Конечно, он лжет. Серьгу взял Найэл, а потом, наверное, потерял или выбросил. И видя, как он стоит в своем матросском костюме, несчастный, одинокий, и ни в чем не признается, Мария почувствовала, что в ней нарастает безудержное, отчаянное желание оттолкнуть от него всех взрослых. Подумаешь, пропала какая-то серьга, неужели это так важно? Никто не имеет права причинять Найэлу боль, никто не имеет права прикасаться к Найэлу. Никто и никогда... кроме нее.

Она сделала шаг вперед и, заслонив собой Найэла, распахнула плащ.

— Посмотрите на меня, — сказала она. — Посмотрите, что на мне.

А была она в костюме пажа. Она засмеялась и, хлопая в ладоши, закружилась по комнате, потом, не переставая смеяться, выбежала в дверь, промчалась через кулисы и впорхнула на сцену, где уже собрались почти все гости.

— Господи, благослови мою душу, — сказал Папа, — что за обезьянка. — Он рассмеялся, и смех его оказался заразительным. Когда Папа смеялся, сердиться было невозможно.

Он подал Маме руку.

— Пойдем, дорогая, ты прекрасно выглядишь, — сказал он. — Пойдем и помоги мне справиться с этими негодниками.

Продолжая смеяться, он вывел ее на сцену, и нас всех поглотила толпа гостей.

Мы ели цыплят в сметане, мы ели меренги, мы ели шоколадные эклеры, мы пили шампанское. Все указывали на Марию и говорили, как она красива и талантлива; ее расхваливали на все лады, а она расхаживала с важным видом, щеголяя своим нарядным плащом. Селия тоже была прелестна, мила и ravissante,[14] и Найэл был очень смышлен, тонок, ну, просто numero.[15]

Мы все были красивы, мы все были умны, таких детей еще никогда не бывало. Папа с бокалом шампанского в руке одобрительно улыбался нам. Мама, красивая как никогда, смеялась и ласково трепала нас по голове, когда мы пробегали мимо.

Не было ни вчера, ни завтра; страх отброшен, стыд забыт. Мы все были вместе — Папа и Мама, Мария, Найэл и Селия — мы все были счастливы и, ловя на себе взгляды гостей, от души веселились. То была игра, которую мы искусно разыгрывали, игра, которую мы понимали.

Мы были Делейни, и мы давали банкет.

Глава 5

— Интересно, их брак был действительно удачным? — сказала Мария.

— Чей брак?

— Папы и Мамы.

Найэл подошел к окну и стал задерживать портьеры. Тайна отлетела от сада, в окутавшей его тьме уже не было ничего загадочного. Наступил вечер, шел сильный дождь.

— Они ушли, и ушли навсегда. Забудем о них, — сказал Найэл.

Он прошел через комнату и зажег лампу рядом с роялем.

— И это говоришь ты? — спросила Селия, поднимая очки на лоб. — Ты гораздо больше думаешь о прошлом, чем Мария или я.

— Тем больше причин, чтобы забыть, — сказал Найэл и начал наигрывать на рояле ни мелодию, ни песню, а нечто без начала и без конца. Рояль не смолкал, издавая звуки, похожие на те, что порой доносятся из комнаты наверху, где незнакомый сосед мурлычет себе под нос нечто нечленораздельное.

— Конечно, их брак был удачным, — сказала Селия. — Папа обожал Маму.

— Обождать еще не значит быть счастливым, — сказала Мария.

— Обычно это означает обратное, то есть быть несчастным, — сказал Найэл.

Селия пожала плечами и вновь принялась штопать детские носки.

— Как бы то ни было, после ее смерти Папа стал совсем другим, — сказала она.

— Как и все мы, — отозвался Найэл. — Давайте сменим тему.

Мария сидела на диване, поджав ноги по-турецки, и смотрела в огонь.

— А зачем нам менять тему? — спросила она. — Я знаю, для тебя это было ужасно, но и нам с Селией было не легче. Пусть она не была моей матерью, но другой я не знала, и я любила ее. Кроме того, нам полезно заглянуть в прошлое. Оно многое объясняет.

Мария, одиноко сидевшая на диване, поджав под себя ноги, с растрепанными волосами, вдруг показалась покинутой и несчастной. Найэл рассмеялся.

— И что же оно объясняет? — спросил он.

— Я понимаю, что Мария имеет в виду, — перебила Селия. — Оно заставляет пристальнее взглянуть на собственную жизнь, а, видит Бог, после того, что сказал о нас Чарльз, нам самое время это сделать.

— Вздор, — сказал Найэл. — Досужие размышления — был ли брак Папы и Мамы удачным — не помогут нам решить, почему Мария вдруг потерпела фиаско.

— Кто говорит, что я потерпела фиаско? — сказала Мария.

— Вот уж час, как ты сидишь и намекаешь на это, — сказал Найэл.

— Ах, только не пускайтесь в пререкания, — утомленно проговорила Селия. — Никак не могу решить, что меня больше раздражает: когда вы сходитесь во мнениях или когда расходитесь. Если тебе так надо играть, Найэл, играй по-настоящему. Я не выношу, когда ты без толку барабанишь по клавишам, всегда не выносила.

— Если это тебя так раздражает, я совсем не буду играть, — сказал Найэл.

— О, продолжай, не обращай на нее внимания, — сказала Мария. — Ты же знаешь, что мне это нравится. Помогает думать. — Она снова легла и заложила руки за голову. — Что вы на самом деле помните о летних каникулах в Бретани?

Найэл не ответил, но его игра превратилась в сплошной набор резких, неприятных диссонансов.

— В то лето часто гремел гром, — сказала Селия, — как никогда часто. И я научилась плавать. Папа учил меня с поразительным терпением. В купальном костюме он выглядел не лучшим образом, бедняжка, он был слишком большой.

Но конечно же, думала она, единственное, что мы по-настоящему помним, это кульминация.

— Я играл на песке в крикет с этими ужасными мальчишками из отеля, — неожиданно сказал Найэл. — У них был тяжелый мяч, и мне это очень не нравилось. Но я решил, что все же лучше попрактиковаться перед тем, как в сентябре идти в школу. В прыжках я был гораздо сильнее. В прыжках я разбил их наголову.

Боже мой, к чему Мария клонит, вороша прошлое? Что это может дать, какая от этого польза?

— Недавно мы говорили о том, что по-разному смотрим на один и тот же предмет, — продолжала Мария. — Найэл сказал, что мы на все смотрим с различных точек зрения. Думаю, он прав. Селия, ты говорила, что в то лето часто гремел гром. Я не помню ни одной грозы. Изо дня в день было жарко и ясно. Немудрено, что никто не знает правды о жизни Христа. Люди, которые писали Евангелие, рассказывают совершенно разные истории. — Она зевнула и подложила под спину подушку. — Интересно, в каком возрасте мне следует сообщить детям сведения, необходимые для их полового воспитания? — без всякого перехода сказала она.

— Ты последняя, кому это следует делать, — сказал Найэл. — В твоём пересказе они будут звучать слишком возбуждающе. Предоставь это Полли. Она слепит фигурки из пластилина и на них все покажет.

— А Кэролайн? — сказала Мария. — Она давно вышла из того возраста, когда играют с пластилином. Придется директрисе школы просветить ее.

— Думаю, в школах сейчас это делают очень хорошо, — серьезно сказала Селия. — Целомудренно, наглядно и без лишних эмоций.

— Что? Рисунки на доске? — спросила Мария.

— Полагаю, что да. Но не уверена.

— Не слишком ли это грубо? Как те отвратительные рисунки мелом с нацарапанными надписями, вроде «Том гуляет с Молли».

— О, может быть, и не на доске. Может быть, эти предметы в бутылках... Эмбрионы, — сказала Селия.

— Еще хуже, — сказал Найэл. — Я бы просто не мог на них смотреть. Секс и без эмбрионов достаточно хитрая штука.

— Вот уж не знала, что ты так считаешь, — сказала Селия. — Да и Мария тоже. Но мы отклонились от темы. Не понимаю, какая связь между летними каникулами в Бретани и сексом.

— О да, — сказала Мария. — Где уж тебе.

Селия намотала шерстяную нитку на катушку и положила ее в корзинку с носками.

— Было бы гораздо лучше, — строго сказала она, — если бы вместо того, чтобы раздумывать о том, давать ли уроки полового воспитания, ты научилась штопать их носки.

— Дай ей выпить, Найэл, — утомленно сказала Мария. — Она собирается прочесть мне проповедь. Любимое занятие старых дев. Ужасно скучно.

Найэл наполнил бокал Марии, затем свой и Селии.

Он вялой походкой подошел к роялю и, напевая вполголоса, поставил свой бокал на выступ рядом с клавиатурой.

— Какие там были слова? — спросил он. — Я не могу вспомнить слова.

Он начал играть, очень тихо, осторожно, и мелодия перенесла нас в прошлое.

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Pr?te-moi ta plume,
Pour ?crire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.[16]

Мария пела тихо, чистым детским голосом; она единственная из нас троих помнила слова.

— Найэл, ты обычно играл ее, — сказала она, — в той нелепой маленькой душной гостиной на вилле, пока мы все сидели на веранде. Ты повторял ее снова и снова. Почему?

— Не знаю, — сказал Найэл. — Не помню.

— Папа часто ее пел, — сказала Селия, — когда мы уходили спать. У нас была сетка от комаров. Мама обычно лежала в шезлонге в том белом платье и вместо веера обмахивалась хлопушкой для мух.

— Действительно, часто бывали грозы, теперь я вспомнила, — сказала Мария. — Всю лужайку заливало в какие-нибудь пять минут. Мы бегом поднимались с пляжа, задрав юбки на голову. Бывали и морские туманы. Маяк.

— Тот человек, который хотел написать для Мамы балет, так и не поняв, что она презирает традиционный балет и танцует в своей индивидуальной манере, — как его звали? — спросила Селия.

— Мишель как-то-там-еще, — сказал Найэл. — Он все время смотрел на Маму.

— Мишель Лафорж, — сказала Мария. — И на Маму он смотрел отнюдь не все время.

Мы помнили дом удивительно отчетливо и зримо.

Он стоял недалеко от скал, круто обрывающихся в море, отчего взбираться на них было опасно. Через сад к пляжу сбегала извилистая тропинка. Вокруг было много утесов, заводей, манящих и пробуждающих любопытство пещер, куда солнце просачивалось медленно, с трудом, словно дрожащий свет факела. На скалах росли дикие цветы. Морская гвоздика, армерия, бальзамия...

Глава 6

Когда опускался туман, день и ночь напролет выла сирена. Милях в трех от берега из моря выступала небольшая группа островов. Они были окружены скалами, и на них никто не жил: за ними высился маяк. Вой сирены доносился оттуда. Днем он не очень докучал нам, и мы вскоре привыкли к нему. Иное дело ночью.

Приглушенный туманом вой звучал грозным предзнаменованием, повторяющимся со зловещей регулярностью. Ложась спать после ясного, теплого, без малейшего намека на туман дня, мы просыпались в предрассветные часы, и тот же заунывный, настойчивый звук, что разбудил нас, вновь нарушал тишину летней ночи. Мы старались представить себе, что его издает безобидное механическое устройство, приводимое в действие смотрителем маяка, как какая-нибудь машина или мотор, который можно включить руками. Но тщетно. До маяка было не добраться, бурное море и скалистые острова преграждали к нему путь. И голос сирены продолжал звучать как голос самой судьбы.

Папа и Мама перешли в запасную комнату виллы: Маме было нестерпимо тяжело просыпаться по ночам и слышать вой сирены. Вид из их новой комнаты был ничем не примечателен: окна выходили на огород и дорогу в деревню. К тому лету Мама устала больше обычного. Позади был долгий сезон. Всю зиму мы провели в Лондоне, на Пасху поехали в Рим, затем на май, июнь и июль в Париж. На осень планировалось продолжительное турне по Америке и Канаде. Поговаривали о том, что Найэл, а возможно, и Мария пойдут в школу. Мы быстро росли и выходили из повиновения. По росту Мария уже догнала Маму, что, наверное, не так и много — Мама была невысокой, но, когда на пляже Мария перепрыгивала с камня на камень или вытягивалась на каменистой площадке, перед тем как нырнуть, Папа как-то сказал, что мы и не заметили, как она за одну ночь превратилась в женщину. Нам стало грустно, особенно Марии. Она вовсе не хотела быть женщиной. Во всяком случае, она ненавидела это слово. Само его звучание напоминало кого-то старого, вроде Труды, кого-то очень скучного и унылого, может быть, миссис Салливан, когда та делает покупки на Оксфорд-стрит, а потом несет их домой.

Мы сидели за столом на веранде и, потягивая через соломинку сидр, обсуждали этот вопрос.

— Нам надо что-нибудь принимать, чтобы остановить рост, — сказала Мария. — Джин или бренди.

— Слишком поздно, — сказал Найэл. — Даже если бы мы за взятку уговорили Андре или кого-то другого принести нам джин из деревни, он не подействует. Посмотри на свои ноги.

Мария вытянула длинные ноги под столом. Они были коричневые от загара, гладкие, с золотистыми шелковистыми волосками. Мария вдруг рассмеялась.

— В чем дело? — спросил Найэл.

— Помните, как позавчера вечером, после ужина, мы играли в vingt-et-un,[17] сказала Мария. — Папа смешил нас рассказами о своей молодости в Вене, а у Мамы разболелась голова, и она рано легла спать; а потом из отеля пришел Мишель и сел играть вместе с нами.

— Да, — сказала Селия. — Ему очень не везло в vingt-et-un. Он проиграл все свои деньги мне и Папе.

— Ну так догадайтесь, что он делал, — сказала Мария. — Он все время поглаживал мне ноги под столом. Я хихикала и боялась, что вы увидите.

— Довольно нахально, — сказал Найэл, — но мне кажется, он из тех людей, которые любят все гладить. Вы заметили, он вечно возится с кошками?

— Да, — сказала Селия, — возится. По-моему, он очень жеманный, и Папа тоже так думает. Мне кажется, что Маме он нравится.

— Он и в самом деле Мамин знакомый. Они все время разговаривают о балете, который он хочет написать для ее осеннего турне. Вчера они говорили о нем весь день. Что ты сделала, когда он стал гладить твои ноги? Дала ему пинка под столом?

Не вынимая соломинки изо рта и с довольным видом потягивая сидр, Мария покачала головой.

— Нет, — сказала она. — Мне было очень приятно.

Селия удивленно уставилась на нее, затем перевела взгляд на свои собственные ноги. Ей никогда не удавалось загореть так же хорошо, как Марии.

— В самом деле? — спросила она. — Я бы подумала, что это глупо. — Она наклонилась и погладила сперва свою ногу, потом ногу Марии.

— Когда ты гладишь, ощущение совсем не то, — сказала Мария. — Это не интересно. Вся соль в том, чтобы это делал человек, которого ты почти не знаешь. Как Мишель.

— Понимаю, — ответила Селия. Она была озадачена.

Найэл вытащил из кармана леденец на палочке и принялся задумчиво сосать его. Леденец пахнул грейпфрутом и был очень кислый.

Странное это было лето. Мы не играли в привычные игры. В католиков и гугенотов, в англичан и ирландцев, в исследователей Амазонки. Всегда находились другие дела. Мария уходила бродить одна, знакомилась со взрослыми из отеля, вроде этого назойливого Мишеля, которому, должно быть, уже перевалило за тридцать, а

Селия всем надоедала своим желанием научиться плавать. Она занималась с удивительным упорством, вкладывая в броски всю душу; громко считала их, потом выскакивала из воды и кричала: «А сейчас сколько бросков? Уже лучше? Ну, посмотрите на меня, хоть кто-нибудь».

Смотреть никто не хотел, но Папа снисходительно улыбался и говорил: «Очень хорошо. Продолжай. Сейчас я приду и покажу тебе».

Когда-то, думал Найэл, мы все были вместе. Мария выбирала игру, говорила, кто кем будет, как его зовут, кто друг, кто враг. Мы все также любили изображать из себя не то, что мы есть, но совсем по-другому. Это и имел в виду Папа, когда сказал, что мы растем и что Мария стала женщиной. Скоро мы перестанем быть детьми. Мы будем, как Они.

Будущее не сулило определенности из-за постоянных разговоров об американском турне, в которое возьмут только Селию, а его и Марию отправят в школу. Найэл выбросил остатки кислого леденца и пошел в гостиную. В доме было прохладно и тихо, ставни закрыты. Он подошел к пианино и осторожно поднял крышку. Лишь этим летом он обнаружил, как просто подбирать ноты, превращать их в аккорды и делать так, чтобы в их звучании был смысл. Когда остальные купались или загорали на пляже, он входил в пустой дом и предавался этому занятию. Он недоумевал, зачем люди тратят столько труда на изучение игры на фортепиано, на чтение нот, забивают себе головы всякими крючками, восьмушками и полувосьмушками, если ничего нет на свете проще, чем подобрать мелодию, хоть раз услышанную, и сыграть ее на пианино.

К тому времени он уже знал все Папины песни. Он мог изменять их смысл, переставляя ноты; веселую жизнерадостную песенку можно было сделать грустной, убрав один-единственный аккорд и пустив мелодию вниз, словно она сбегает с горы. Он не знал, как иначе выразить свою мысль. Может быть, когда он пойдет в школу, там его этому научат, будут давать ему уроки. А пока он находил бесконечное очарование в изобретенном им методе исследования. По-своему это занятие доставляло ему не меньшее, а возможно, и большее удовольствие, чем игры с Марией и Селией, потому что он сам мог выбирать звуки, тогда как в играх приходилось играть роль, отведенную ему Марией.

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Pr?te-moi ta plume,
Pour ?crire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.

Папа часто пел эту песню на последний бис. Чем проще была песня, тем больше неистовствовала публика. Люди кричали, размахивали носовыми платками, топали ногами — а он вовсе ничего и не делал, просто совершенно спокойно стоял на сцене и пел простую, незатейливую песню, которую все знали наизусть чуть ли не с колыбели. И всю эту бурю вызывал спокойно льющийся голос, который производил такое же впечатление, как звучание засурдиненной скрипки. Еще интереснее было то, что, если ноты, на которые поются слова «mon ami Pierrot», поставить в обратном порядке, ощущение грусти не исчезало; мелодия и смысл оставались прежними, но изменение гармонических ходов обостряло чувство отчаяния. И уж совсем интересно было играть мелодию в другом ритме.

Au clair de la lune

Но если внести некоторые изменения, если начать с акцента на «au», а второй акцент поставить на «lune» и четко выделить в этом слове два слога, строка зазвучит в танцевальном ритме и все изменится. Жалостливая

интонация исчезнет, и грустить будет уже не о чем. Селия не станет плакать. Найэл не испытает этого ужасного чувства одиночества, которое порой ни с того ни с сего нападает на него.

Au clair раз... два... de la lu раз... два... ne

Mon ami раз... два... Pierrot

(динг-а-донг и динг-а-динга-донг).

Ну конечно же, вот он, ответ. Теперь она звучит радостно, весело. Папе надо петь ее именно так. Найэл играл песню еще и еще, вводя новые акценты в самых неожиданных местах, потом стал насвистывать в такт музыке. Вдруг — он сам не понял, как это получилось, — Найэл почувствовал, что уже не один в комнате. Кто-то вошел из холла в дверь за его спиной. Его мгновенно охватило предательское чувство вины и стыда. Он перестал играть и повернулся на крутящемся табурете. В дверях стояла Мама и наблюдала за ним. Некоторое время они смотрели друг на друга. Мама немного помедлила, потом захлопнула дверь, подошла к нему и остановилась рядом с пианино.

— Почему ты так играешь? — спросила она.

Найэл посмотрел ей в глаза. Он сразу увидел, что она не сердится, и почувствовал облегчение. Но она и не улыбалась. У нее был усталый и немного странный вид.

— Не знаю, — сказал он. — Мне захотелось. Просто так вышло.

Она стояла и смотрела на него, и он, сидя на табурете перед пианино, понял, что Труда права. Раньше он никогда не замечал, что Мама совсем не высокая, она ниже Марии. На ней был свободный пеньюар, который она обычно носила за завтраком и у себя в комнате, и соломенные сандалии без каблучков.

— У меня болела голова, — сказала она, — я лежала у себя наверху и услышала, как ты играешь.

Странно, подумал Найэл, что она не позвонила Труде или не послала кого-нибудь сказать, чтобы он перестал. Или даже не постучала в пол. Если мы слишком шумели, когда Мама отдыхала, она, как правило, так и делала.

— Мне ужасно жаль, — сказал он. — Я не знал. Я думал, в доме никого нет. Недавно все были на веранде, но, наверное, ушли на пляж.

Казалось, Мама не слушает его. Она словно думала о чем-то другом.

— Продолжай, — сказала она. — Сыграй, как ты играл.

— Нет, нет, — поспешно начал Найэл. — Я не могу играть как следует.

— Можешь, — сказала она.

Найэл во все глаза уставился на Маму. Неужели на нее так подействовала головная боль. С ней все в порядке? Она улыбается, и не иронично, а ласково.

Он проглотил подступивший к горлу комок, повернулся к пианино и начал играть. Но пальцы не слушались его, попадали не на те клавиши, извлекали из инструмента фальшивые звуки.

— Бесполезно, — сказал он. — Я не могу.

И тут Мама сделала совершенно удивительную вещь. Она села рядом с ним на табурет, левую руку положила ему на плечо, а правую на клавиатуру рядом с его руками.

— Начинай, — сказала она. — Будем играть вместе.

И она продолжила песню в том же ритме и темпе с того места, где он остановился, превратив ее в радостную танцевальную мелодию. Он был так удивлен и потрясен, что не мог ни о чем думать. Может быть, Мама делает это в припадке сомнамбулизма или, приняв таблетку от головной боли, она сошла с ума, как Офелия в «Гамлете». Он не верил своим глазам — Мама сидит рядом с ним, а ее рука в пеньюаре обнимает его за плечи.

Она остановилась и посмотрела на него.

— В чем дело? — спросила она. — Ты больше не хочешь играть?

Должно быть, она и в самом деле отдыхала — на ее лице не было пудры, а на губах помады. Ее лицо «не было сделано», как сказала бы Мария. Это было просто ее лицо. Кожа мягкая и гладкая, небольшие морщинки в уголках глаз и рта, которые, как правило, не видны. Почему, недоумевал он, в таком виде она кажется гораздо красивее, гораздо добрее. Она вдруг перестала быть взрослой. Она была, как он, как Мария.

— Ты не хочешь играть? — повторила она.

— Нет, хочу, — сказал он, — очень хочу. — Его беспокойство улеглось. Робость прошла; он наконец был счастлив, как никогда прежде, пальцы вновь обрели уверенность и подвижность.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.

А Мама играла вместе с ним и пела — Мама, которая никогда не пела с Папой.

Сквозь закрытое ставнями окно на веранду впервые за весь день донесся вой сирены, глухой, протяжный. Он звучал снова и снова.

Найэл заиграл громче и быстрее; Мама сидела рядом с ним.

Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.

За скалами, возле самой глубокой бухты Мария лежала на животе и смотрела на свое отражение в воде. Недавно она обнаружила, что без малейшего усилия может вызвать слезы на глаза. Для этого ей даже не нужно ущипнуть себя или сжать веки. Стоит лишь вообразить, что ей грустно, и слезы придут сами собой. Или сказать что-нибудь грустное, и все сразу получится.

«Никогда... никогда...»-прошептала она, и глаза, которые смотрели на нее из воды, наполнились слезами горя. Есть в Библии строчки, которые хорошо повторять не для того, чтобы плакать, а просто так.

Как ноги прекрасны твои, обутые в туфли, о царская дочь.

Это из Библии? Впрочем, не важно, если не из Библии, то откуда-нибудь еще. Сколько чудесных фраз можно произнести. Ей хотелось беспорядочно нанизать их на одну нить.

Она повернулась на бок, закрыла глаза и стала слушать звучание собственного голоса.

Завтра, завтра и снова завтра...

Как тепло и приятно лежать возле бухты. Если бы всегда было лето. Ничего кроме лета, солнца да плеска волн, ленивого, навевающего дрему.

— Привет, морская нимфа, — сказал чей-то голос.

Мария прищурилась и подняла глаза. Это был Мишель. Интересно, как он ее нашел. Нависшая над бухтой скала надежно скрывала ее от посторонних взглядов.

— Привет, — сказала она.

Мишель подошел и сел рядом с ней. Он был в плавках и с полотенцем, повязанным вокруг бедер. Мария предалась праздным размышлениям относительно того, почему мужчины могут ходить обнаженными по пояс, а женщины нет. Наверное, потому, что они полные. Сама она, слава Богу, пока не полная, но Труда по какой-то дурацкой причине все лето заставляла ее закрывать верх. Она уже слишком большая, чтобы бегать в таком виде, говорила Труда.

— Я повсюду искал вас, — сказал Мишель с ноткой упрека в голосе.

— Искали? — спросила Мария. — Извините. Я думала, вы разговариваете с Папой или Мамой.

Мишель рассмеялся.

— Неужели вы думаете, что я стану проводить время с ними, если есть хоть малейшая возможность побыть с вами? — спросил он.

Мария пристально посмотрела на него. Вот как... Он взрослый и их друг, разве нет? Обычно взрослые предпочитают бывать со взрослыми. Она ничего не сказала, да и сказать было нечего.

— Знаете, Мария, — продолжал он, — когда я вернусь в Париж, мне будет очень не хватать вас.

— Правда? — сказала Мария. Она прислонилась к скале и закрыла глаза. Как жарко, жарко даже для того, чтобы купаться. Слишком жарко, чтобы вообще что-нибудь делать, кроме как сидеть прислонившись к скале.

— Да, — ответил он. — А вам будет не хватать меня?

Мария на мгновение задумалась. Если сказать «нет», он обидится. Может быть, ей и будет немного не хватать его. В конце концов, он высокий, милый и довольно красивый, а когда они играли в теннис или искали морских звезд, он всегда был очень веселым.

— Думаю, что да, — вежливо сказала она. — Да, уверена, что мне будет очень не хватать вас.

Он наклонился и стал поглаживать ее ноги, как делал это за игрой в *vingt-et-un*. Странно, подумала она. Почему он сам не свой до того, чтобы гладить чьи-нибудь ноги? Во время игры это было приятно, вызывало непривычное волнение, прежде всего потому, что за столом сидели другие, которые ничего не замечали; кроме того, она инстинктивно чувствовала, что Папа рассердился бы, и это ее забавляло. Но теперь, когда они с Мишелем вдвоем, ей это не очень нравится. Это довольно глупо, как сказала Селия. Но если она уберет ноги, он опять-таки обидится. Неожиданно она придумала предлог.

— Господи, как жарко, — сказала она. — Мне просто необходимо поплавать, чтобы освежиться.

Она встала и нырнула в глубокую бухту. Он сидел на камне и смотрел на нее. У него был раздраженный вид, но Мария притворилась, будто не замечает этого.

— Прыгайте, здесь замечательно, — сказала она, стряхивая воду с волос.

— Нет, благодарю вас, — сказал он. — Я уже наплавался.

Он прислонился к скале и закурил сигарету.

Мария плавала кругами, наблюдая за ним из воды. Когда он сидел, подтянув колени к груди, и курил сигарету, он казался очень привлекательным. Макушка его склоненной головы выгорела на солнце, шея была коричневой от загара. Но когда он улыбался, слишком большие зубы все портили. Интересно, думала Мария, бывает ли в мужчинах все красиво: волосы, глаза, нос, ноги, руки или всегда найдется то, что вызывает раздражение и отталкивает? Поднимая тучу брызг, она ударила ногами по воде и снова нырнула; она знала, что хорошо ныряет, и ей захотелось покрасоваться перед Мишелем. Он продолжал курить. Вскоре Мария вышла из воды и, подобрав полотенце, вытерлась на солнце. Купание освежило ее.

— Интересно, где остальные, — сказала она.

— Какое нам дело до остальных. Подойдите сюда и сядьте, — сказал он.

Тон, которым Мишель произнес эти слова, будто отдавая приказ, и то, как он похлопал рукой по камню, удивили Марию. Обычно, если кто-то приказывал ей что-то сделать, она инстинктивно отказывалась. Не в ее природе подчиняться дисциплине. Но когда так заговорил Мишель, она поняла, что ей это нравится. Такой тон куда лучше, чем нежный голос, каким он сказал, что ему будет не хватать ее. Тогда он выглядел глупо, а теперь он вовсе не похож на глупца. Она разложила полотенце сушиться на камне и села рядом с Мишелем. На этот раз он ничего не говорил, не касался ее ног. Он потянулся к ее руке и взял ее в свою.

Какое тепло, какой умиротворяющий покой были в пожатии его руки. Как приятно было чувствовать прикосновение его плеча к своему. И все же, думала Мария, если бы пришел Папа и, заглянув вниз с обрыва, увидел, что мы сидим здесь, мне стало бы неловко и стыдно. Я бы быстро убрала свою руку и притворилась, что Мишель вовсе и не дотрагивался до нее. Может быть, оттого это так и приятно. Может быть, мне это и нравится лишь потому, что Папа никогда бы этого не позволил.

Через залив со скалистых островов донесся отдаленный вой сирены.

Селия услышала его, нахмурилась и повернула голову к морю, но быстро сгушавшийся туман уже скрыл острова. Селия не могла разглядеть их.

Ууу... вновь прозвучал скорбный, настойчивый звук. Селия отступила на несколько шагов и принялась рассматривать дом, который только что закончила строить. Он был красивой формы с окнами из ракушек и с дорожками из водорослей от двери к воротам. Чтобы найти двери и ворота, Селии пришлось немало потрудиться, она очень придирчиво выбирала камни нужной формы. Еще были мост и туннель. Туннель был проложен под садом и вел к дому. Было горько думать, что море разрушит дом, на строительство которого она не жалела труда. Подкрадется и песчинка за песчинкой унесет с собой. Это говорит только о том, что бесполезно делать недолговечные вещи. Рисование совсем другое дело. Если нарисовать картину, ее можно положить в ящик и смотреть на нее снова и снова, она всегда будет там, когда понадобится.

Хорошо бы иметь модель песочного домика и, возвращаясь домой, где бы ни был их следующий дом, в Париже, в Лондоне или где-нибудь еще, знать, что домик на месте, с другими вещами, которые она тайно хранила, сама не зная зачем, так, на всякий случай... «На какой случай?» — спрашивала Труда. «Так, на всякий случай», — отвечала Селия. Среди ее сокровищ были ракушки, гладкие зеленые камешки, засушенные цветы,

огрызки карандашей, даже небольшие куски старых тросточек, которые она подбирала в Bois или в Гайд-парке и приносила в отель или меблированные комнаты.

— Нет, нет, не надо это выбрасывать, — обычно говорила она.

Если она что-то подобрала, это должно сохраниться навсегда, стать сокровищем, которое необходимо беречь и любить.

Уууу... снова завывала несносная сирена.

— Посмотри, Папа, — позвала она, — иди сюда и посмотри, какой хорошенький домик я построила для нас с тобой.

Он не ответил. Селия повернулась и побежала к тому месту, где он сидел. Его там не было. Его куртка, книга и полевой бинокль исчезли. Должно быть, пока она строила домик, он поднялся и пошел домой. Может быть, она пробыла одна целую вечность и даже не знала об этом. Снова завывала сирена, туман подступил ближе и окутал Селию плотной пеленой.

Ее охватила внезапная паника. Она подобрала лопатку и побежала.

— Папа, — позвала она, — Папа, где ты?

Никто не ответил. Она не видела скал. Не видела дома. Все пропали, все ее бросили. Она осталась одна, и у нее ничего нет, кроме деревянной лопатки.

Она бежала, забыв, что она уже не маленькая девочка, что ей скоро исполнится одиннадцать лет, и, задыхаясь от бега, звала срывающимся голосом:

— Папа... Папа... Труда... Найэл, не оставляйте меня. Никогда не оставляйте меня, пожалуйста, — а неотступный вой сирены все звучал и звучал у нее в ушах.

Неожиданно он вышел из тумана у самых ворот сада, ведущих к дому. Папа в своей старой синей куртке и летней белой шляпе; он наклонился и поднял ее с земли.

— Привет, глупышка, — сказал он. — В чем дело?

Но все уже было не важно. Она нашла его. Она в безопасности.

Глава 7

Пришли и ушли последние дни августа, наступил сентябрь. Скоро, через неделю или дней через десять, начнутся неизбежные сборы и мы простимся с виллой. Будет грусть последних прогулок, последних купаний, последних ночей, проведенных в кроватях, к которым мы привыкли. Мы не поскупимся на всевозможные обещания *cuisiniere*[18] и приходящей *femme de chambre*[19] и станем уверять их, что «мы обязательно приедем на будущий год», хотя про себя отлично знаем, что это не так. Мы никогда не снимали дважды одну и ту же виллу. Возможно, в следующий раз это будет Ривьера или Италия, и скалы и море Бретани станут для нас не более чем воспоминанием.

Мария и Селия жили вдвоем в одной комнате, Найэлу была отведена смежная с ней маленькая гостиная, поэтому при открытой двери мы могли переговариваться. Но в то лето мы не играли в наши старые, шумные игры, которыми увлекались еще год назад. Не носились в пижамах друг за дружкой по комнате, не прыгали по кроватям.

Мария по утрам была сонливой и зевала. «Не разговаривайте. Я сочиняю сон», — и она завязывала глаза носовым платком, чтобы солнце окончательно не разбудило ее.

Найэл по утрам сонливости не чувствовал, но садился в изножии кровати, которая стояла у окна, и смотрел через сад на море и скалистые острова. Даже в самые тихие дни море вокруг маяка никогда не бывало спокойным. Белые буруны постоянно разбивались о скалы, вода вскипала легкой, пушистой пеной. Труда приносила ему завтрак — кофе, круассаны и золотистый мед.

— О чем мечтает мой мальчик? — спрашивала она.

И получала неизменный ответ:

— Ни о чем.

— Вы слишком быстро взрослеете, вот в чем дело, — говорила она, словно взросление было внезапной болезнью, но болезнью в чем-то постыдной и достойной осуждения.

— Ну-ну, поднимайся. Нечего притворяться спящей. Я знаю, что ты меня дурачишь, — сказала Труда Марии. Она одним движением раздернула портьеры, и комнату залил поток солнечного света.

— Не хочу я никакого завтрака. Уходи, Труда.

— Что-то новенькое, да? Не хочешь завтракать? Вот пойдешь в школу, моя милая, так очень даже захочешь. Тогда не поваляешься в постели. И никаких танцев по вечерам и прочей чепухи.

Наслаждаясь завтраком, особенно теплыми круассанами, которые так и таяли во рту, Найэл размышлял о том, почему Труда, которую он очень любит, обладает удивительным даром вызывать раздражение.

Ну и пусть Мария лежит и мечтает, если ей так нравится; пусть Найэл сидит, скрючившись, у окна. Мы никому не мешаем, не нападаем на мир взрослых.

Взрослые... Когда же это случится? Когда произойдет внезапный и окончательный переход в их мир? Неужели это действительно бывает так, как сказал Папа, — за одну ночь, между сном и пробуждением? Придет день, обычный день, как все другие, и, оглянувшись через плечо, ты увидишь удаляющуюся тень вчерашнего ребенка; и уже не вернуться назад, не поймать исчезающую тень. Надо продолжать путь, надо идти в будущее, как бы ты ни страшился его, как бы ни боялся.

«Господь, вспять поверни вселенной ход
и мне верни вчера!»

Папа, шутя, процитировал эту строку за ленчем, и Найэл, посмотрев вокруг, подумал, что этот миг уже принадлежит прошлому, он прошел и никогда не вернется.

В конце стола Папа в рубашке с закатанными по локоть рукавами, его старый желтый джемпер с дырой расстегнут, глаза, очень похожие на глаза Марии, улыбаются Маме.

Мама с чашкой кофе в руке улыбается в ответ, холодная, бесстрастная. Когда все вокруг были веселы и возбуждены, Мама всегда держалась холодно и отчужденно; на ней розовато-лиловое платье и шифоновый шарф, наброшенный на плечи. Она уже никогда не будет так выглядеть — скоро она допьет кофе, поставит чашку на блюдце и, как всегда, спросит Папу: «Ты кончил? Пойдем?» — и, оборачивая шарф вокруг шеи, направится из столовой на веранду, или, думал Найэл, из прошлого в будущее, в другую жизнь.

На Марии поверх купальника был надет свитер под цвет ее глаз, волосы еще не высохли после утреннего купания. Утром она наспех подрезала их маникюрными ножницами.

У Селии волосы были заплетены в косички, отчего ее лицо казалось еще более круглым и пухлым. Она надкусила шоколадную конфету, и оно вдруг стало задумчивым; конфета попала на пломбу, и пломба выпала.

Нет и никогда не будет фотографии, думал Найэл, остановившей тот миг, когда мы пятеро вместе сидим за столом, улыбающиеся и счастливые.

— Ну, и куда мы пойдем? — Мария встала из-за стола; очарование было нарушено.

Но я могу удержать его, сказал про себя Найэл, я могу удержать его, если не буду ни с кем разговаривать и если никто не будет разговаривать со мной. Он пошел за Мамой на веранду и молча смотрел, как она поправляет подушки на шезлонге, а Папа раскрывает зонт и укрывает ей ноги пледом, чтобы их не искушали комары. Мария неспешной походкой уже спускалась к пляжу, а Селия где-то в глубине дома звала Трудю, чтобы та снова вставила ей пломбу.

— Даже не знаю, кто растет быстрее, этот мальчуган или Мария, — сказал Папа и, улыбаясь, положил руку на плечо Найэла, потом спустился в сад и во весь рост растянулся на траве, заложив руки под голову и прикрыв лицо панамой.

— Скоро мы пойдем с тобой прогуляться, — сказала Мама, и мгновение, которое Найэл хотел удержать в себе на весь день, сразу отлетело. Теперь оно казалось мелким, незначительным, и он удивлялся тому, что еще несколько минут назад мог придавать ему такое значение.

— Я уйду, чтобы дать тебе отдохнуть, — сказал он и, вместо того чтобы по обыкновению пойти в гостиную и сесть за пианино, побежал в огород за домом, где мальчик, помощник садовника, держал свой велосипед, вскочил в седло и выехал на дорогу. Его руки крепко сжимали горячий, блестящий руль, голые ноги в сандалиях, едва коснувшись педалей, ощутили неожиданную свободу и силу. Не обращая внимания на летящую в лицо пыль, он мчался по извилистой песчаной дороге.

В глубине дома Селия показывала Трудю дыру в зубе, и та вкладывала в нее твердый кусочек зубной пасты.

— Придется тебе подождать, пока мы не вернемся в Лондон, — сказала она. — От этих французских дантистов мало проку. Хорошенько запомни и не жуй на левой стороне. Где Мария?

— Не знаю, — сказала Селия. — Наверное, пошла гулять.

— Ну, уж не знаю, чего это ей вздумалось гулять в такую жару, — сказала Труда, — но сдаётся мне, что гуляет она не одна. Не ковыряй зуб, Селия. Оставь его в покое.

— Но мне там неприятно.

— Конечно, неприятно. И будет еще неприятнее, если ты вытащишь пасту и заденешь нерв. Хорошо бы вам с Найэлом догнать Марию, а то того и гляди она угодит в какую-нибудь неприятность. Слава Богу, что на будущей неделе мы уезжаем в Англию.

— Почему слава Богу?

— Не твоего ума дело.

Как похоже на Труду, делать намеки и не объяснять, к чему она клонит. Селия потрогала пальцем нагревающийся утюг.

— По мне, так пусть Мария в воде делает все, что ей заблагорассудится, — сказала Труда. — Меня беспокоит, чем она занимается, когда выходит из воды. Девочке ее возраста не на пользу свобода, которую она позволяет себе с таким джентльменом, как мистер Лафорж. И куда только смотрит Папа?

Утюг был очень горячий. Селия едва не обожгла пальцы.

— Я всегда говорила, что с Марией мы не оберемся хлопот, — сказала Труда.

Из груды выстиранного белья она вытащила Мамину ночную рубашку и принялась ее гладить, осторожно водя утюгом. Маленькая комната наполнилась запахом горячего утюга и пара, поднимающегося над гладильной доской. Хотя окно было широко распахнуто, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха.

— У тебя плохое настроение, Труда, — сказала Селия.

— У меня не плохое настроение, — возразила Труда, — но оно испортится, если ты будешь во все тыкать пальцами.

— Почему мы не оберемся хлопот с Марией? — спросила Селия.

— Потому, что никто не знает, что за кровь в ней течет, — сказала Труда. — Но если та, что я подозреваю, то она еще заставит нас поплясать.

Селия задумалась, какая же у Марии кровь. Да, она ярче, чем у нее и у Найэла. Когда на днях во время купания Мария порезала ногу, то кровь, маленькими каплями выступившая из раны, была ярко-красной.

— Она будет бегать за ними, а они за ней, — сказала Труда.

— Кто будет бегать? — спросила Селия.

— Мужчины, — сказала Труда.

В том месте, где утюг прожег ткань на гладильной доске, виднелось коричневое пятно. Селия выглянула в окно, словно ожидала увидеть, как Мария, танцуя, движется между скалами, а ее преследует большая компания мужчин.

— Против крови не пойдешь, — продолжала Труда. — Как ни старайся, она даст о себе знать. Мария сколько угодно может быть дочкой вашего Папы и унаследовать его талант в том, что касается театра, но она еще и дочь своей матери, а то, что я про нее слышала, лучше не повторять.

Взад-вперед, взад-вперед двигался по ночной рубашке разъяренный утюг.

Интересно, подумала Селия, у матери Марии тоже была ярко-красная кровь?

— Всех вас воспитывали одинаково, — сказала Труда, — но вы, все трое, так же непохожи друг на друга, как мел на сыр. А почему? Да потому, что кровь разная.

Какая Труда противная, думала Селия. И чего ей далась эта кровь?

— Вот Найэл, — продолжила Труда. — Вот мой мальчик. Вылитый отец. То же бледное лицо, те же мелкие кости, а теперь, коль он понял, что может выделять с пианино, так уж не бросит его. Хотела бы я знать, что думает об этом ваша Мама; что все эти недели творится у нее в голове, когда она слышит, как он играет? Уж если даже я переносусь на много лет назад, то что говорить о ней?

Селия задумчиво посмотрела на простое, морщинистое лицо Труды, на седые, тонкие, гладко зачесанные волосы.

— Труда, ты очень старая? Тебе девяносто лет?

— Боже милостивый, — сказала Труда. — Час от часу не легче!

Она сняла с гладильной доски ночную рубашку, которая из бесформенной и мятой превратилась в тонкую и гладкую, хоть сразу надевай.

— За свою жизнь я много чего навидалась, но мне пока еще не девяносто, — ответила она.

— Кого из нас ты больше любишь? — спросила Селия, на что получила ответ, который уже не раз слышала.

— Я всех вас люблю одинаково, но тебя совсем разлюблю, если ты не перестанешь тыкать пальцами в гладильную доску.

Как они умеют отделаться от вас, эти взрослые, чтобы избежать прямого ответа на трудный вопрос.

— Если Мария и Найэл пойдут в школу, я останусь единственной, — сказала Селия. — Тогда и ты, и Папа, и Мама должны будете любить меня больше всех.

Она вдруг представила себе, как получает тройную дозу внимания; такая мысль была для нее внове. Раньше она над этим не задумывалась. Она на цыпочках подкралась к Труде за спину и, чтобы досадить ей, завязала кушак ее передника тройным узлом.

— В избытке любви нет ничего хорошего, — сказала Труда. — Так же, как и в недостатке. Если ты всю жизнь будешь просить слишком многого, то будешь разочарована. Что ты делаешь с моим кушаком?

Селия рассмеялась и попятилась от нее.

— Вы все трое жадны до любви, — сказала Труда. — Вы получили это в наследство среди прочих талантов. И уж не знаю, к чему это приведет, а хотелось бы знать.

И она попробовала утюг мозолистым пальцем.

— Во всяком случае, мой мальчик за последние несколько недель наверстал упущенное. Кто-кто, а уж он-то изголодался, бедный малыш. Одна надежда, что она удержится. Если да, то он вырастет настоящим мужчиной, а не мечтателем. Может быть, оно случилось как раз вовремя, когда у нее начинаются трудные годы.

— Когда Найэл был голодный? — спросила Селия. — И что такое трудные годы?

— Не задавай вопросов — не услышишь неправды. — В голосе Труды вдруг зазвучало раздражение. — А теперь беги, слышишь? Выйди на свежий воздух.

Чтобы Селии было не так жарко, Труда связала ей косы узлом на затылке и заправила ее короткое бумазейное платье в панталоны.

— А теперь, чтобы тебя здесь не было, — сказала она и слегка шлепнула Селию по пухлым ягодицам.

Но Селия вовсе не хотела выходить на свежий воздух. Да и свежим он совсем не был, а наоборот, слишком горячим. Ей хотелось остаться в доме и порисовать.

Она побежала по коридору к себе в комнату, за бумагой. В глубине шкафа были спрятаны пачка бумаги, которую она привезла с собой из Парижа, и ее любимые желтые карандаши «Кохинур». Она отыскала перочинный нож, подошла к окну и принялась точить карандаш; стружка легкими хлопьями падала из окна, обнажая острый грифель, запах которого очень нравился Селии. С веранды под окном до нее долетали приглушенные голоса. Должно быть, Папа проснулся. Он сидел на плетеном стуле и разговаривал с Мамой.

— ...на мой взгляд, они еще слишком молоды и им рано начинать, — говорил он. — Да и все эти драматические школы никуда не годятся. Я гроша ломаного не дам ни за одну из них. Ну а если до того дойдет, пусть она всего добьется собственным трудом, как я и ты, дорогая. Вреда от этого не будет.

Должно быть, Мама что-то ответила, но ее слабый, тихий голос не долетал до окна, как голос Папы.

— Кто это говорит? Труда? — ответил Папа. — Вздор. Скажи ей, чтобы она не вмешивалась не в свои дела. Она просто пустая, вздорная старуха. Если бы речь шла о Селии, тогда...

Его голос стал тише, а скрип стула окончательно заглушил его. Селия помедлила и посмотрела на карандаш. «Если бы речь шла о Селии, тогда...» Что Папа собирался сказать?

Она прислушалась, но смогла уловить только обрывки разговора, неразборчивые слова и фразы, которые не складывались в единое целое.

— Коли на то пошло, это относится к каждому из них, — продолжал гудеть Папин голос. — Если ничто другое, то само имя откроет им дорогу. В них есть, есть искра, может быть, не более того. Во всяком случае, мы не доживем, чтобы увидеть... Нет, наверное, не первый класс. Он никогда не почувствует уверенности в себе, если ты ему не поможешь. Ты ответственна за него, дорогая. Что ты сказала?.. Время, одно только время покажет... Разве с нами было не так? Где бы ты была без меня, а я без тебя, дорогая? Конечно, он заразился и ничего другого не хочет, как и они, как мы с тобой... Ты меня научила, а может быть, мы друг друга научили тому, что в этом мире только две вещи имеют значение... если все рухнет, то остается работа... Хотя бы это мы можем внушить им...

Селия отошла от окна. Во взрослых это хуже всего. Начинают разговаривать, и ты думаешь, что они собираются сказать что-нибудь особенное, вроде: «Из них троих Селия самая славная» или: «Селия будет очень хорошенькой, когда немного похудеет», но они никогда этого не делают. Уходят в сторону и продолжают говорить совсем о другом. Она села на пол, положила пачку бумаги на колени и стала рисовать.

Ничего большого. Только маленькое. Маленькие мужчины и женщины, которые живут в маленьких домиках,

где они никогда не заблудятся, где никогда ничего не случится — ни пожара, ни землетрясения; и, вода карандашом по бумаге, она разговаривала сама с собой. Миновал полдень, а Селия продолжала рисовать, закусив язык и подогнув под себя ноги; тогда-то и долетели до нее горестные крики, страшный отголосок которых с тех пор всегда звучал в ее ушах, подобно призыву из потустороннего мира.

Выйдя за ворота сада, Мария в нерешительности посмотрела сперва направо, потом налево. Справа был пляж и скалы, слева тропинка, ведущая к утесам и отелю.

Было очень жарко, самый жаркий день в году. Солнце нещадно палило непокрытую голову, но Марию это не беспокоило. Она не боялась солнечного удара, как Селия, и никогда не носила шляпу; даже если бы она пошла гулять нагишом, то не сгорела бы. Ее кожу покрывал темный загар, даже темнее, чем у Найэла, при том, что он черноволосый. Она закрыла глаза, раскинула руки, и ей показалось, что волна знойного воздуха поднимается снизу и захлестывает ее; из сада за ее спиной доносился аромат земли, мха и нагретой солнцем герани, в лицо веял запах самого моря, играющего и сверкающего под голубым небом.

Ее охватила радость. Та радость, которая всегда приходила внезапно, беспричинно и пронизывала все ее существо. Это чувство поднималось от живота к горлу, почти душило ее, и она никогда не знала, почему оно появляется, что его вызывает и куда оно исчезает так же быстро и внезапно, как появилось, оставляя ее почти бездыханной, вопрошающей, но все еще счастливой, хотя и без бывшего экстаза. Оно пришло, оно ушло; и Мария стала спускаться по правой тропинке к морю. Горячий песок обжигал босые ноги. Она спускалась все ниже и ниже, и каждый ее шаг, каждое движение попадали в такт мелодии, которую она вполголоса напевала:

Кто куколка, кто солнышко?
Мисс Арабелла Смит.
Кто самый восхитительный?
Не знаете? Вот стыд! (*)

Каждую субботу ее играли в отеле на танцах; играли и вчера вечером. Маленький, плохо слаженный оркестрик, состоявший из пианиста и выписанного на один вечер из Кимпера ударника, который играл слишком быстро, в обычном для французов ускоренном ритме, несмотря на недостатки музыкантов, обладал своего рода магией. Окна отеля распахнуты, и если стоять снаружи вместе с деревенскими жителями, то видно, как дурацкие неповоротливые фигуры постояльцев-англичан в вечерних туалетах движутся за окном.

Мария однажды ходила на танцы. Ее взял с собой Папа. На ней было синее платье, которое она каждый вечер надевала дома перед ужином, обычные домашние туфли и коралловое ожерелье. Найэл и Селия подсматривали из окна и строили ей гримасы. Она почти не получила удовольствия. Папа танцевал слишком медленно и все кружил и кружил ее, пока у нее самой не закружилась голова. А эти идиоты-англичане были просто ужасны, постоянно наступали ей на ноги, вцеплялись в талию и задирали сзади подол платья, пока из-под него не показывались панталоны. Единственный, с кем можно было танцевать, так это Мишель, но он всегда приходил к самому концу, потому что до этого сидел со знакомыми в деревенском кафе.

Когда он танцует, то держит вас как надо, и его тело делает те же движения, что и ваше, не раскачивается, не изгибается самым глупым образом, а движется в такт музыке. Найэл то же самое делает на пианино, он всегда играет мелодию в такт. Как мало людей понимают, что такое правильно играть и правильно танцевать.

Лучше всего танцевать одной. Лучше слушать снаружи и позволить музыке войти в тебя, смеяться с деревенскими жителями, вдыхать запах крепкого французского табака и чеснока, а потом ускользнуть во тьму и двигаться в собственном ритме.

Кто куколка, кто солнышко?
Мисс Арабелла Смит.

Лучше танцевать одной, что она теперь и делала, в лучах яркого солнца, под звуки собственного голоса, перебирая пальцами невидимые струны и зарываясь ступнями в мягкий песок. Прилив отступил. Вдали, почти у

самой кромки воды старая крестьянка с корзиной на спине собирала у подножия скал водоросли — странная сгорбленная фигура, четко вырисовывавшаяся на фоне неба. Рыбачьи лодки возвращались в порт. Раскрашенные во всевозможные цвета, с синими сетями, сохнувшими на солнце. Они шли друг за другом, подобно боевым кораблям. Марии вдруг захотелось быть с ними. Она ощутила страстное желание быть рыбаком, почерневшим от солнца, ветра и соленой морской воды, одетым в красную парусиновую робу и башмаки на деревянной подошве.

Как-то раз они с Папой видели их. Рыбаки пришли в маленькую гавань и стояли в конце причала, смеясь, обмениваясь шутками, по пояс в рыбе. Рыба выскальзывала из их грубых, бронзовых от загара рук на мокрую палубу, и была она скользкая, жирная, с блестящей чешуей. Рыбаки переговаривались на бретонском наречии, а один из них не сводил глаз с Марии и смеялся; она засмеялась в ответ.

Да, это то, что надо. Вот было бы здорово. Быть рыбаком, пропахшим морем, с запекшимися от соли губами, с руками, впитавшими запах скользкой рыбы... Пройти по вымощенному булыжником причалу, сесть за столик в маленьком кафе, пить свежий терпкий сидр, курить вонючий французский табак, плевать на пол и слушать хриплый, позвякивающий граммофон, играющий за стойкой.

Parlez-moi d'amour et dites-moi choses bien tendres,
Parlez-moi toujours, mon coeur n'est pas las
de l'entendre.[20]

Пластинка старая и треснутая, певица визжит что есть мочи, но это не важно.

Итак, Мария была рыбаком, в шапке, заломленной на затылок; смеясь во все горло вместе с товарищами, она нетвердой походкой идет по причалу... Но, прыгая с крутого уступа скалы в небольшую бухту, она вспомнила, что ей пора расстаться с ролью рыбака и вновь стать Марией, Марией, пришедшей на свидание, чтобы проститься с Мишелем, человеком, который ее любит.

Он уже ждал ее, прислонясь к выступу скалы и куря сигарету. У него было вытянутое, бледное лицо, и вид очень печальный. О Боже, кажется, он опять за свое...

— Вы задержались, — с упреком в голосе сказал он.

— Извините, — сказала Мария. — Мы поздно кончили ленч.

То была ложь, но не все ли равно. Чтобы успокоить его, она села рядом, взяла его руку и положила голову ему на плечо.

— Я слышал, как вы пели, — сказал он с тем же упреком. — Вам было весело. Неужели вы не понимаете, что завтра я уезжаю и мы, может быть, больше никогда не увидимся?

— Я не могла удержаться, — сказала она. — День такой замечательный. Но мне действительно грустно. Уверяю вас, очень грустно.

Она отвернулась, чтобы он не увидел ее улыбки. Было бы ужасно оскорбить его чувства, но, право же, с этим вытянутым печальным лицом и глазами на мокром месте у него такой же глупый вид, как у недовольной овцы.

Когда он обнял и поцеловал ее, стало немного лучше, ведь ей не надо было смотреть на него. Она могла закрыть глаза и сосредоточить внимание на поцелуе — теплом, приятном и очень ласковом. Но сегодня, кажется, даже это не радовало его. Он вздыхал, стонал и все твердил, что они больше не увидятся.

— Мы увидимся с вами в Париже или в Лондоне, — сказала она. — Разумеется, мы встретимся снова, тем более что вы собираетесь работать с Мамой.

— Ах, это, — сказал он, пожимая плечами. — Из этого ничего не выйдет. С вашей Мамой еще труднее иметь дело, чем с вами. Она кивает, улыбается, она говорит: «Да, как интересно, как тонко, это надо обсудить», но не более. На этом все кончается. С ней ничего не добьешься. Даже турне по Америке, о котором они все время говорят, она и мистер Делейни... Интересно, что выйдет из этой затеи, очень интересно.

К скале рядом с Марией прилепилась улитка. Мария оторвала ее от камня и стала тыкать в нее ногтем. Улитка сразу спряталась в раковину. Мария взяла вторую и проделала то же самое. Ее поразила скорость, с какой улитки искали спасения во тьме. Мишель встал и огляделся. Шум моря приблизился. Начинался прилив.

— Никого не видно, — сказал он. — пляж совершенно пуст.

Мария зевнула и потянулась. Самое время еще раз искупаться, но если она предложит это Мишелю, то, возможно, он сочтет ее бессердечной. Она бросила ленивый взгляд на скалы и на пещеру, зиявшую у подножия

одной из них. Однажды она обследовала ее вместе с Найэлом. Пещера долго тянулась в глубь скалы, потом свод внезапно опустился, почти касаясь их голов, и струйки холодной воды полились на их плечи.

Мария подняла глаза и увидела, что Мишель смотрит на нее.

— Я вижу, вы тоже смотрите на пещеру, — сказал он. — У вас те же мысли, что и у меня?

— Я не знаю, о чем вы думаете, — сказала Мария. — Я просто вспомнила, как там было темно. Я была там один раз с Найэлом.

— Сходите еще, — сказал Мишель. — Со мной.

— Зачем? — спросила Мария. — Там нет ничего особенного. Совсем неинтересно.

— Пойдемте туда со мной, — повторил Мишель. — Ведь мы последний раз вместе. Я хочу попрощаться.

Мария встала, почесывая колено. Наверное, ее кто-то укусил. На колене виднелось маленькое красное пятнышко. Она посмотрела через плечо на приближающееся море. Нет, прилив поглотил еще не всю сушу. Волны с ревом обрушивались на скалы, кое-где образуя воронки, над которыми в воздух взлетали тучи водяной пыли.

— Зачем нам идти в пещеру? — спросила Мария. — Почему не проститься здесь? Здесь тепло и приятно, в пещере будет слишком мрачно.

— Нет, — возразил он, — в пещере будет тихо и спокойно.

Она посмотрела, как он стоит рядом с ней на выступе скалы, и подумала, каким же он вдруг стал высоким, почти как Папа. И выражением лица уже не напоминал овцу. Он выглядел уверенным в себе, сильным, и тем не менее внутренний голос нашептывал ей: «Мне не следует идти в пещеру. Надо остаться на открытом воздухе, так будет лучше».

Она посмотрела через плечо на знакомые скалы, на бурное море, затем опустила глаза вниз, на пещеру, черневшую за узкой полоской песка. Зев пещеры казался ей уже не мрачным, а, напротив, таинственным, манящим. Может быть, там и в самом деле спокойно и тихо, как обещал ей Мишель, может быть, тропа в ней не заканчивается внезапно понижающимся сводом, как ей запомнилось, но ведет куда-то еще, в другую пещеру, в потаенную неведомую пустоту?

Мишель, улыбаясь, протянул ей руку, она взяла ее и, крепко сжав, пошла за ним в пещеру.

Когда они вышли и, карабкаясь по скалам, возвращались к дому, Мишель первым увидел людей, столпившихся у обрыва, и сказал:

— Посмотри туда, что-то случилось, что-то не так.

Следуя взглядом за его пальцем, Мария увидела Папу, увидела Трудю, увидела Найэла, и ее неожиданно пронзило сознание вины... панический страх. Пораженная страшным предчувствием, даже не взглянув на Мишеля, она бросилась к подножию утеса, и сердце бешено стучало у нее в груди...

Через боковую калитку Найэл вкатил велосипед в огород и прислонил к живой изгороди. Мальчик, которому он принадлежал, склонился над грядкой в дальнем конце огорода. Найэл видел, как то опускается, то поднимается верхушка его берета, слышал, как мотыга вонзается в землю. Возможно, мальчик даже не заметил, что кто-то брал его велосипед. Найэл прошел через дом на веранду. Хотя солнце уже перебралось к противоположной стороне дома и его лучи не заливали веранду ослепительным светом, тяжелая, сонливая атмосфера, всегда повисавшая в доме после ленча, не рассеялась.

Андре не приходил, чтобы убрать чашки. Они все еще стояли на круглом столе рядом с горсткой пепла от Папиной сигары. Наверное, Папа какое-то время сидел на веранде и разговаривал с Мамой, его панамы лежала на стуле рядом с хлопучкой для мух и вчерашним номером «Eco de Paris».[21]

Он уже ушел, и Мама в одиночестве лежала в шезлонге. Найэл остановился рядом с ней. Она спала, подперев голову левой рукой. Когда-то, заставая Маму спящей, как сейчас, он испытывал робость. Осторожно, на цыпочках отходил от нее, боясь, что она проснется, поднимет на него глаза и спросит недовольным тоном: «Что ты здесь делаешь?» Но теперь он не испытывал ни малейшей робости, и что-то подсказывало ему, что никогда больше не испытает. С того дня, всего несколько недель назад, когда она вошла в гостиную и застала его у пианино, что-то произошло. Что именно, он не знал, да и не думал об этом. Зато он знал, что странное, болезненное беспокойство, не покидавшее его с тех пор, сколько он себя помнил, прошло. Прежде в той или иной форме оно всегда было с ним. Пробуждение, подъем с кровати, встреча с новым днем всегда приносили с собой необъяснимый страх и дурные предчувствия. Чтобы противостоять им, он придумал для себя довольно глупое суеверие. «Если я зашнурую правый ботинок туже, чем левый, день пройдет благополучно», — говорил он себе или переворачивал какой-нибудь предмет на камине задом наперед, раз и навсегда убедив себя в том,

что, если этого не сделать, обязательно что-нибудь случится. Что случится, он не знал, но это «что-то» так или иначе было связано с Мамой. Либо она будет сердиться, либо неожиданно заболит, либо обвинит его в проступке, о котором он даже не догадывался. Лишь когда она уходила из дома или была в театре, он чувствовал себя спокойно и свободно.

Теперь все изменилось. Изменилось с того дня, когда они вместе сидели за пианино. Напряжение и тревога покинули его. Должно быть, Папа был прав, он действительно вырастет, как и Мария. И вдруг он заметил, как бледна Мамина рука, прижатая к лицу. Голубой камень в кольце, подаренном Папой, и вена на тыльной стороне руки были одного цвета. Найэл видел расплывчатые тени под глазами, слегка впалые щеки и, чего он не замечал раньше, седые нити в темных, гладко зачесанных волосах.

Должно быть, ей покойно и сладко спать в шезлонге. Ни забот о театре, ни планов на будущее, ни разговоров, ни споров об американском турне. Лишь покой и забвение, лишь тихое скольжение в умиротворяющее и примиряющее с тревогами Ничто. Он сидел на ступеньке веранды и смотрел, как она спит, смотрел на поднесенную к лицу руку, на шифоновый шарф на плечах, смотрел и думал: я буду всегда помнить это. Буду помнить даже тогда, когда стану восьмидесятидевятилетним стариком на костылях.

Маленькие французские золоченые часы на камине в гостиной пробили четыре, их ворчливый звон нарушил тишину.

Звон часов разбудил Маму. Она открыла глаза, посмотрела на Найэла и улыбнулась.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — ответил он.

— Сидя там, ты похож на маленькую сторожевую собачку, — сказала она.

Она подняла руки, поправила волосы и слегка распустила шифоновый шарф. Затем протянула руку за сумочкой, лежавшей на столике рядом с шезлонгом, вынула зеркальце и пудреницу и стала пудрить нос. Кусочек пуха от пуховки остался на подбородке, но она его не заметила.

— Боже, как я устала, — сказала она.

— Может быть, ты еще поспишь? — спросил Найэл. — Прогулка подождет. Мы можем пойти погулять в другой день.

— Нет, — сказала она. — Я хотела бы прогуляться. Прогулка пойдет мне на пользу.

Она протянула руку, чтобы он помог ей подняться с шезлонга. Он взял ее и потянул Маму вверх, впервые в жизни почувствовав себя старше, словно он был взрослым, словно он был мужчиной, как Папа.

— Мы пойдем вдоль скал, — сказала Мама. — И будем собирать дикие цветы.

— Тебе принести жакет? — спросил Найэл. — Или сумку?

— Мне ничего не надо. Хватит шарфа, — сказала она и обернула шарф вокруг головы и шеи, как всегда в ветреную погоду. Они вышли из дома и направились к скалам. Начался прилив, море прибывало, вскипая пеной и разбиваясь о скалы. Кроме них на скалах никого не было. Найэл был рад этому. Иногда во время прогулок им встречались англичане, остановившиеся в отеле, они непременно оборачивались и, подталкивая друг друга локтями, во все глаза смотрели на них.

«Это она... Посмотри скорее, пока она тебя не видит», — долетало до Найэла, а Мама проходила мимо, делая вид, что не слышит. С Папой все обстояло иначе, он был легкой добычей. Стоило ему услышать, что кто-то произносит: «Делейни», как он поднимал голову и улыбался, после чего его окружали с просьбами дать автограф. Но сегодня вокруг ни души, очень жарко и тихо.

Они еще не ушли далеко от дома, когда Мама сказала:

— Бесполезно. Мне придется сесть. А ты иди. Не обращай на меня внимания.

Она была бледна и выглядела усталой. Она села в небольшом углублении в скале, поросшем травой.

— Я останусь с тобой, — сказал Найэл. — Так будет лучше.

Некоторое время она молчала, глядя поверх моря на маленькие острова, за которыми стоял маяк.

— Я не совсем здорова, — сказала она. — Мне уже давно не по себе. Постоянно чувствую какую-то странную боль.

Найэл не знал, что сказать. Он не выпускал ее руку.

— Вот почему я так много лежу и отдыхаю, — сказала она. — И головная боль здесь вовсе ни при чем.

Прилетела стрекоза и села ей на колено. Найэл смахнул ее.

— Почему Папа не посылает за доктором? — спросил он.

— Папа не знает, — сказала она. — Я ему не говорила.

Как странно, подумал Найэл. Ему всегда казалось, что Папа знает все.

— Видишь ли, я знаю, что это такое, — сказала она. — Что-то не в порядке внутри. Боль именно такого рода. Если бы я сказала Папе, он заставил бы меня обратиться к врачу, а врач сказал бы, что мне нужна операция.

— Но после нее ты почувствовала бы себя лучше. Боль бы прошла.

— Возможно, — сказала она. — Не знаю. Я знаю одно — после операции я больше не буду танцевать.

Не будет танцевать. Он не мог представить себе театр без Мама. Не мог вообразить, как Папа каждый вечер выходит на сцену и поет свои песни, а Мама нет рядом, за кулисами. Как же так, ведь она была душой спектакля, его средоточием, источником вдохновения. Иногда Папа не мог петь из-за ларингита или простуды. Голос вещь ненадежная. Мама никогда не отменяла спектакля. Никогда не подводила. Папа болен, значит, ей надо немного изменить программу, поменять местами танцы. Публика все равно приходила, и ее было не меньше. Конечно, они любили Папу; любили его как человека, любили его песни, но в театр приходили прежде всего для того, чтобы увидеть Мама.

— Больше не будешь танцевать? — спросил Найэл. — Но что же тогда будет? Что будут делать зрители?

— Ничего не будет, — сказала она. — Видишь ли, театр — забавная вещь. У публики память короткая.

Не выпуская Маминой руки, Найэл осторожно поворачивал в разные стороны кольцо с голубым камнем, и ему казалось, что тем самым он каким-то странным образом утешает и успокаивает ее.

— Это я, — сказала она. — Это вся моя жизнь. Ничего другого для меня не существует. Никогда не существовало.

— Я знаю, — сказал он. — Я понимаю.

Он знал, что она говорит о своих танцах, о своем искусстве и старается объяснить ему, что именно в нем причина и источник того, почему она так сильно отличается от других женщин, от других матерей. Именно поэтому в прошлом она так часто бывала холодной, сердитой, неласковой. Нет, никогда не была она холодной, сердитой, неласковой. Он вовсе не это имел в виду. Просто, когда он был маленьким, он слишком многого ожидал, слишком на многое надеялся, и надежды его никогда не сбывались. Теперь он повзрослел, теперь он понял.

— Женщина странно устроена, — сказала она. — Где-то глубоко в ней спрятано то, что невозможно объяснить. Врачи думают, что все знают, но они ошибаются. Это то, что дает жизнь — будь то танец, любовь или дети, — как творческая сила в мужчине. Но у мужчин она остается навсегда. Ее нельзя уничтожить. У нас все иначе. Нас она посещает ненадолго, а потом уходит. Вспыхнет и умрет, и ничего с этим не поделаешь. Остается только смотреть, как она уходит. И, уходя, ничего после себя не оставляет. Совсем ничего.

Найэл по-прежнему крутил и поворачивал ее кольцо. Голубой камень сверкал и искрился на солнце. Найэл не знал, что сказать ей.

— Для большинства женщин это не имеет значения, — сказала Мама, — а для меня имеет.

Последние рыбацьи лодки вошли в гавань, и впервые за весь день на берег повеяло прохладным дыханием легкого морского бриза. С приливом направление ветра переменялось. Бриз играл с Маминым шифоновым шарфом, развеивая его над ее плечами. Ерошил волосы Найэла.

— Мужчины не понимают, — сказала она, — во всяком случае, такие, как Папа. Они ласковы, внимательны, укрывают вам ноги пледом, приносят разные мелочи, когда их попросят, но они озадачены и считают, что женщина капризничает. У них свое мужество, своя жизненная сила, и у них нет ответа.

— У Папы не очень много мужества, — сказал Найэл. — Когда он делает себе больно, то поднимает страшный шум. Если он хоть немножко порежется, то идет к Труде за пластырем.

— Это не то, — сказала она. — Я имела в виду другое мужество. — Она улыбнулась и погладила его по коленке. — Я наговорила массу вздора, правда?

— Нет, — сказал Найэл. — Нет.

Он боялся, что она замолчит или скажет, что пора идти, что надо идти и найти остальных.

— Я люблю, когда ты со мной разговариваешь, — сказал он. — Очень люблю.

— Любишь? — сказала она. — Интересно, почему.

Она вновь смотрела поверх моря на острова.

— Сколько тебе лет? — спросила она. — Я всегда забываю.

— Скоро будет тринадцать, — сказал он.

— Ты был таким необычным ребенком, — сказала она. — Всегда сдержанный, не то что Мария и Селия. Мне всегда казалось, что ни я, ни все остальные тебя нисколько не интересуют.

Найэл не ответил. Он сорвал маргаритку и принялся вертеть ее в пальцах.

— Этим летом ты стал более внимательным и ласковым, — сказала она. — Теперь тебя легче понять.

Найэл продолжал теребить маргаритку, обрывая лепесток за лепестком.

— Может быть, когда-нибудь ты напишешь для меня музыку, — сказала она. — Может быть, ты напишешь то, что я смогу превратить в танец. Мы будем работать вместе, и ты пойдешь со мной в театр и будешь дирижировать для меня вместо Салливана. Это было бы замечательно, разве нет? Ты хотел бы заниматься этим, когда станешь мужчиной?

Несколько секунд он смотрел на нее, затем отвернулся.

— Это единственное, чем я хочу заниматься, — сказал он.

Мама рассмеялась и снова погладила его по коленке.

— Пойдем, — сказала она. — Становится прохладно. Пора вернуться домой и выпить чаю.

Она встала. Она ту же стянула шифоновый шарф на голове и на шее.

— Взгляни на эти гвоздики, — сказала она. — Как красиво они растут под выступом скалы. Давай соберем. Я поставлю их в вазочку рядом с кроватью.

Она наклонилась и стала собирать гвоздики.

— Посмотри, вон еще, — сказала она, — там, повыше, слева. Ты можешь достать их для меня?

Он вскарабкался вверх по скале и, одной рукой вцепившись в траву, другой потянулся за гвоздиками. Было довольно скользко, но сандалии удерживали его. Он уже сорвал шесть гвоздик, когда это случилось.

Он вдруг услышал, как она позвала:

— Ах, Найэл, скорее... — и, обернувшись, увидел, что она скользит вниз по склону, на котором стояла, срывая гвоздики.

Она протянула руку, чтобы удержаться, но камни и трава остались у нее в ладони. Она продолжала скользить по осыпающимся под ее ногами земле и камням. Найэл попытался подползти к ней, но задел ногой за небольшой валун, и тот, скатившись со скалы, рухнул на берег глубоко внизу. Он понял, что если Мама сделает еще хоть одно движение по осыпающейся земле, то точно так же упадет на прибрежные скалы с высоты пятидесяти или шестидесяти футов.

— Стой там, — крикнул он. — Стой спокойно. Держись за маленький выступ рядом с твоей рукой. Я приведу помощь.

Она посмотрела вверх, на него. Она старалась повернуть голову.

— Не уходи, — попросила она. — Пожалуйста, не уходи.

— Надо, — сказал он. — Надо привести помощь.

Он оглянулся через плечо. Вдалеке спиной к нему двигались две фигуры, мужчина и женщина. Он закричал. Они не услышали. Он снова закричал. На этот раз они услышали. Обернулись и замерли. Он замахал руками и закричал что было сил. Они побежали.

Вдруг она сказала:

— Найэл, камни осыпаются. Я падаю.

Он опустился на колени у самого края выступа и протянул руки. Он не мог дотянуться до нее. Он видел, как рядом с ней крошится и осыпается земля. Но она не упала: шарф зацепился за острый камень у нее над головой. Шарф не порвался. Один его конец был закручен вокруг ее горла, другой намертво зацепился за камень.

— Все в порядке, — сказал Найэл. — Люди идут. Все в порядке.

Она не смогла ответить из-за шарфа. Она не смогла ответить, потому что шарф продолжал затягиваться и все плотней и плотней сдавливал ей горло.

Вот так это и случилось. Вот почему мы трое будем всегда помнить толпу, стекающую к выступу скалы, и французенку, с горестным воплем бегущую прочь. Всегда и неизменно горестный вопль, всегда и неизменно топот бегущих ног.

Глава 8

Было ошибкой разлучать нас. Нам следовало оставаться вместе. Если семья распадается, ей уже никогда не воссоединиться. Никогда не стать прежней. Если бы у нас был обжитой дом, куда мы могли бы прийти, все было бы иначе. Детям необходим дом, место, сам воздух которого им близок и дорог. Мерно текущая жизнь в окружении знакомых игрушек, знакомых лиц. И так изо дня в день, в дождь и ведро, размеренное существование, не отступающее от раз и навсегда заведенного уклада. У нас не было уклада. Не стало после

смерти Мамы.

— У Марии все было в порядке, — сказала Селия. — Ей разрешили уйти и поступить на сцену. Она делала то, к чему всегда стремилась.

— Я не хотела играть Джульетту, — сказала Мария. — Я ненавидела Джульетту. И мне ни за что не разрешали играть в своих волосах — они, видите ли, слишком короткие. Пришлось надевать этот ужасный парик соломенного цвета. Он был мне мал.

— Да, но зато тебе не приходилось скучать, — сказала Селия. — Ты писала мне такие забавные письма. Я их сохранила, и на днях они попались мне на глаза. В одном из них ты писала, как Найэл убежал из школы и приехал в Ливерпуль искать тебя.

— Если бы у нас был свой дом, я бы убежал из школы еще чаще, — сказал Найэл. — А так я убегал всего четыре раза. Но убежать-то было некуда. Из Ливерпуля меня отправили обратно. Папа гастролировал в Австралии, и убежать не имело смысла.

— Кто неплохо провел время, так это Селия, — сказала Мария. — Никаких уроков, переезды с места на место, и Папа всегда рядом.

— Не знаю, — сказала Селия. — Мне тоже бывало непросто. Когда я думаю об Австралии, то первое, что приходит на память, это уборная в отеле в Мельбурне и как я плакала, запершись в ней.

— Почему ты плакала? — спросила Мария.

— Из-за Папы, — ответила Селия. — Однажды вечером он разговаривал с Трудой в гостиной, и я увидела его лицо. Они не знали, что я слушаю у двери. Он сказал, что я единственная, что у него осталось, а Труда ответила, что это испортит мне жизнь. Вы помните, с каким кислым видом она всегда говорила. «Вы испортите ей жизнь», — сказала она. Как сейчас слышу ее голос.

— Ты никогда не писала об этом, — сказал Найэл. — Из Австралии ты присылала такие восторженные, глупые письма, все о званых вечерах, на которых ты бывала и где присутствовал тот или иной губернатор. В одном еще был такой самодовольный постскрипtum: «Надеюсь, ты делаешь успехи в своей музыке». Моя музыка... Не заблуждайся. Не ты одна запиралась в уборной. Я, правда, не плакал. Вот и вся разница.

— Мы все тогда плакали, — сказала Мария. — Каждый о своем. Паром в Беркинхед. Из Ливерпуля в Беркинхед и обратно.

— О ком ты говоришь? — спросил Найэл.

— О себе, — сказала Мария. — В театре была настоящая клика. Меня никто не любил. Они думали, что меня приняли из-за Папы.

— Может, так и было, — сказал Найэл.

— Знаю, — сказала Мария. — Возможно, поэтому я и плакала. Помню, как на пароме дым валил мне прямо в лицо.

— Поэтому оно и было такое грязное, когда я нашел тебя, — сказал Найэл. — Но ты не призналась мне, что плакала.

— Когда я увидела тебя, то обо всем забыла, — сказала Мария. — Такая забавная бледная физиономия и плащ чуть не до пят...

Она улыбнулась Найэлу, он рассмеялся в ответ, и Селия подумала, что, должно быть, тогда-то и окрепли связывающие их узы, которые теперь уже ничто не порвет. Да, именно тогда, когда Найэл убежал из школы, которую ненавидел, а Мария жила одна в Ливерпуле и делала вид, что счастлива.

Мария навсегда запомнила, какой шок она испытала, обнаружив, что быть актрисой совсем не просто. С какой верой в себя она впервые вышла на сцену в составе гастролирующей труппы, и как мало-помалу эта вера начала покидать ее. Ни на кого не произвела она ни малейшего впечатления. Ни у кого не вызвала интереса. Лицо, исторгавшее слезы у отражающего его зеркала, у других не вызывало ни единой слезы. Та самая Мария, которая, стоя перед зеркалом с расprostертыми руками, говорила: «Ромео — Ромео», с трудом произнесла те же самые слова, когда ее попросили сделать это перед труппой. Даже такая малость, как открыть дверь или пройти через сцену, требовала труда, концентрации всех сил и внимания. Откуда-то из глубины живота поднимался непонятный страх, что люди станут смеяться над ней, страх дотоле неведомый. Итак, вновь притворяться, но по-иному. Отныне и впредь, всю жизнь притворяться, будто ей совершенно безразлично, что станут говорить ей, что станут говорить о ней. Страх этот надо было заглушить, спрятать глубоко в себе. Они не должны знать, не должны догадываться. Под «ними» она имела в виду труппу, продюсера, режиссера, критиков, публику. Всех тех в этом новом для нее мире, перед кем она должна постоянно играть, перед кем должна притворяться.

— Для девушки вашего возраста вы слишком бесчувственны, — сказал кто-то. — Вам на все наплевать, разве

нет?

А Мария только рассмеялась и покачала головой:

— Конечно. А почему бы и нет?

Она, напевая, пошла по коридору, слыша слова режиссера:

— Вся сложность с этой малышкой в том, что ее следует хорошенько отшлепать.

Но вот наступил перелом. Она упорно работала, делала то, что подсказывал ей собственный инстинкт, и, слыша, как ее голос произносит ту или иную строку текста, испытывала своеобразное волнение, прилив сил и по окончании репетиции с важным видом, засунув руки в карманы, стояла у кулисы и думала: «Сейчас они подойдут ко мне и скажут: „Это было замечательно, Мария“».

Она ждала и расчесывала волосы, смотрясь в маленькое треснувшее зеркальце из той самой сумки, которую Труда дала ей перед отъездом; ждала, но никто ничего не говорил ей. Актеры, занятые на репетиции, о чем-то шептались. О ней? Один из них запрокинул голову и громко расхохотался. Они обсуждали совсем другую пьесу, в которой все были заняты. Из партера поднялся режиссер и сказал:

— Хорошо. Сделаем перерыв на ленч. До двух часов все свободны.

Мария ждала. Конечно же, он повернется к ней и что-нибудь скажет. Конечно же, он скажет: «Мария, это было блестяще».

Но он через плечо говорил со своим помощником и закуривал сигарету. Затем он увидел ее. И подошел к кулисе, около которой она стояла.

— Сегодня, Мария, не так хорошо, как вчера Вы слишком форсируете. Вас что-то беспокоит?

— Нет.

— Мне показалось, у вас озабоченный вид. Ну что же, идите перекусите.

Беспокоит... О чем ей беспокоиться? Она была счастлива, взволнована и думала только о своей роли. А теперь — да. Она почувствовала беспокойство. Ощущение радости прошло. Уверенность в себе покинула ее: последние капли просачивались сквозь подошвы туфель. Она потуже затянула шарф и застегнула пальто. На ленч она всегда уходила одна. Накануне кто-то предложил ей вместе пойти в «Кота и скрипку», но из этого ничего не вышло. Все разошлись в разные стороны. Ей оставалось либо вернуться в свою мрачную комнату, либо купить где-нибудь булку с колбасой и чашку кофе.

Она прошла по коридору, поднялась по лестнице, ведущей со сцены, и, подходя к двери, услышала шаги. Ее опередили две актрисы, которые недавно смеялись на сцене.

— О да, — говорил один голос, — конечно, все дело в гнусном фаворитизме. Ее приняли только из-за имени. Делейни все устроил, перед тем как уехать в Австралию.

— Вот что значит, когда за тобой стоит влиятельный человек, — сказал другой. — Мы годами работаем в поте лица, а она проскальзывает через заднюю дверь.

Мария замерла на месте и ждала. Через секунду она услышала, как хлопнула входная дверь. Она ждала, пока они перейдут улицу и свернут за угол. Она дала им время, затем вышла за ними. Но они стояли на тротуаре и разговаривали. Увидев ее, они сконфуженно замолчали. Возможно, они спрашивали себя, не слышала ли она их разговор.

— Привет, — сказала одна из них. — Вы идете перекусить? Не составите ли нам компанию?

— Сегодня не могу, — сказала Мария. — У меня встреча с другом отца, который приехал посмотреть спектакль. Мы встречаемся в «Адельфи».[22]

Она помахала им рукой и ушла, не переставая напевать до самого «Адельфи», ведь другие тоже должны поверить обману... этот мужчина за рулем грузовика, эта женщина, переходящая улицу.

И, рисуясь перед всеми, рисуясь перед собой, она распахнула дверь «Адельфи» и прошла в женскую гардеробную, чтобы потом с полным правом сказать, что действительно была там. Когда вы лжете, сказала она себе, в вашей лжи должна быть хоть крупица правды. Она привела себя в порядок, напудрилась ресторанной пудрой, наполнила свою пудреницу и, когда служительница подошла вытереть раковину, положила на маленькое стеклянное блюдце шесть пенсов.

— Может быть, вы снимете пальто? В ресторане тепло, — сказала женщина.

— Нет, благодарю вас, — улыбнулась Мария. — Я спешу.

Она вышла из туалета и через несколько секунд оказалась на улице, слава Богу, ее никто не видел. Она боялась, как бы один из швейцаров не сказал ей: «Что вы здесь делаете? Это не вокзальная уборная».

Мария свернула в боковую улицу и вошла в кондитерскую; там она съела пять сдобных булочек, довольно черствых, и выпила чашку чая, при этом думая о том, каким ленчем угостил бы ее Папин друг, если бы он

действительно ждал ее в «Адельфи» Или сам Папа в «Савое».[23] Вокруг суетятся улыбающиеся официанты, подходят разные люди, заговаривают с ними, а Папа объясняет: «Это моя дочь. Она недавно поступила на сцену».

Но Папа в Австралии с Селией, а Мария в Ливерпуле, в захудалой кондитерской; она в одиночестве ест черствую булочку, и все потому, что Папа так решил. И никого нет с ней рядом, потому что она дочь Делейни. Я ненавижу их, думала Мария. О Господи, как я их ненавижу...

В ней кипела ненависть ко всему миру, оттого, что он вдруг показался ей таким не похожим на тот мир, к которому она стремилась, где все друзья, все счастливы, все протягивают ей руки... Мария... Она специально вернулась в театр с опозданием, надеясь, что режиссер придерется к ней и отчитает, но он тоже опоздал; все опоздали, и поэтому репетицию начали сразу с той сцены, в которой она не участвовала.

Она спустилась в партер и села в заднем ряду.

В четыре часа режиссер наконец посмотрел в ее сторону. Он увидел, что она еще здесь, и сказал:

— Мария, вам не к чему ждать. Вы мне больше не понадобятся. Идите отдохните перед спектаклем.

Кто-то хихикнул? Кто-то посмеивается над ней в углу сцены?

— Благодарю вас, — сказала она. — Тогда я пойду. Мне надо сделать кое-какие покупки.

Она снова вышла на улицу, и все они остались у нее за спиной, в театре. Тогда-то она и села в автобус, идущий к парому. Туда-обратно, туда-обратно ездила она на пароме. Во всяком случае, теперь уже не имело значения, как она выглядит, кто на нее смотрит. Дул сильный ветер, было холодно, она постояла на одной стороне палубы, затем перешла на другую, но и там ветер был не меньше, и она плакала. Туда-обратно, туда-обратно между Ливерпулем и Беркинхедом, и, ни на секунду не умолкая, звучит в ее ушах отчетливый женский голос: «Ее приняли только из-за ее имени».

Смеркалось, на набережной зажигались огни. Было туманно и пасмурно.

Если бы я всю жизнь так и ездила на пароме, думала Мария, в театре меня бы даже не хватились. На мою роль пригласили бы кого-нибудь, все равно кого, не важно.

Она спустилась по трапу на причал, села в другой автобус и, уже идя по улице к своему дому, поняла, как устала и проголодалась. В душе ее загорелась страстная надежда: а что, если ее ждет горячее мясо и яркий огонь в камине? Когда она входила в дом, ей навстречу по лестнице спускалась хозяйка с лампой в руке.

— Дорогая, к вам пришел один джентльмен, — сказала она. — Он в гостиной. Говорит, что хочет остаться. Вы не предупредили меня, что вас будет двое.

Мария во все глаза смотрела на нее. Она не поняла.

— Джентльмен? Я никого здесь не знаю. Как его зовут?

Она открыла дверь гостиной: там стоял Найэл в не по размеру большом плаще, бледный, с прямыми, нечесаными волосами, спадающими на лицо.

— Привет, — смущенно улыбаясь и как-то нерешительно сказал он. — Я убежал. Просто сел в поезд и убежал.

— Найэл... — сказала она. — Ах, Найэл...

Она подбежала к нему и обняла. Так они и стояли, смеясь, сжимая друг друга в объятиях. Остальное утратило всякий смысл. Все было забыто: и дурацкий паром, и долгий утомительный день, и женский голос в театре.

— Ты приехал посмотреть, как я играю, ведь так? — спросила она. — Убежал из школы и проделал весь этот путь, чтобы посмотреть, как я играю. Ах, Найэл, как это замечательно... Ах, Найэл, я так счастлива.

Она повернулась к хозяйке.

— Это мой сводный брат, — сказала она. — Он может занять комнату рядом с моей. Он очень тихий. Он не причинит хлопот. Я знаю, он голоден, очень, очень голоден. Ах, Найэл!

Она снова смеялась, подталкивая его за плечи к огню.

— Все в порядке? — спросил Найэл. — Мне можно остаться?

Как странно, подумала Мария, у него ломается голос. Он уже не такой нежный. Скрипучий и забавный, и носок с дырой на пятке.

— Все в порядке, — сказала хозяйка. — Если у вас есть чем заплатить за комнату, можете оставаться.

Найэл повернулся к Марии.

— Самое ужасное, — сказал он, — что у меня нет денег. Все ушло на проезд.

— Я заплачу, — сказала Мария. — Не беспокойся. Я заплачу.

На лице хозяйки отразилось сомнение.

— Убежал из школы? — сказала она. — Это против закона, разве не так? Чего доброго, заявится полиция.

— Они не найдут меня, — поспешно сказал Найэл. — Я выбросил свою фуражку. Посмотрите, вместо нее я купил эту жуткую штуку.

Из кармана плаща он вытащил твидовую кепку и надел ее на голову. Она была ему велика и сползала на уши. Мария громко рассмеялась.

— Ах, вот здорово, — сказала она. — Ты в ней такой смешной.

Он стоял и широко улыбался — маленькое бледное лицо под кепкой невероятных размеров. Губы хозяйки слегка подергивались.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Полагаю, вы можете остаться. Бекон с яйцами на двоих. А в духовке у меня стоит рисовый пудинг.

И она вышла, оставив их вдвоем. Они снова рассмеялись. От смеха они едва держались на ногах.

— Почему ты смеешься? — спросил Найэл.

— Не знаю, — ответила Мария. — Не знаю.

Он пристально смотрел на нее. От смеха на глазах у нее выступили слезы.

— Расскажи мне про школу, — сказала она. — Новая еще хуже прежней? И мальчишки еще противнее?

— Не хуже, — сказал он. — Они все одинаковые.

— В чем же тогда дело? — спросила она. — Что случилось? Обязательно расскажи.

— Рассказывать нечего, — сказал он. — Совсем нечего.

Интересно, думал Найэл, когда же придет хозяйка с яйцами и беконом. Он очень проголодался. Он уже давно ничего не ел. Напрасно Мария расспрашивает его. К тому же теперь, когда его путешествие закончилось, он почувствовал, как устал. А часы на камине гостиной напоминали ему метроном на рояле в музыкальном классе школы.

Он вновь сидел за роялем, а метроном отбивал такт. Мистер Вильсон поднял очки на лоб и пожал плечами.

— Видите ли, Делейни, право, это никуда не годится.

Найэл не отвечал. Он сидел словно пригвожденный к месту, вытянувшись в струнку.

— Я и директор школы получили письма вашего отчима, — говорил мистер Вильсон. — В каждом письме ваш отчим делает особый акцент на том, что вы нуждаетесь в «индивидуальном подходе», как он это называет. Он пишет, что у вас есть талант и от меня требуется этот талант развить. Но я пока что не вижу ни малейших признаков таланта.

Найэл молчал. Если мистер Вильсон не перестанет говорить, пройдет весь урюк. И так до следующего раза. Найэл никогда не будет играть на рояле так, как хочет мистер Вильсон.

— Если вы будете продолжать в том же духе, мне придется написать вашему отчиму, что оплата ваших занятий пустая трата денег, — сказал мистер Вильсон. — На мой взгляд, вы не понимаете самых основ. Ваши занятия музыкой не только пустая трата денег вашего отчима, но и пустая трата моего времени.

Метроном раскачивался вправо-влево, вправо-влево. Казалось, мистер Вильсон этого не замечает. Чем не мелодия, подумал Найэл. Если подобрать соответствующие аккорды и между ними поместить тиканье метронома, получится танцевальный ритм, пусть несколько монотонный и режущий слух, но при наличии воображения не лишенный прелести.

— Что вы на это скажете? — спросил мистер Вильсон.

— Все дело в моих руках, сэр, — сказал Найэл. — Я не могу добиться от них того, чего хочу. Они все время скользят по клавиатуре.

— Вы недостаточно упражняетесь, — сказал мистер Вильсон. — Вы не четко выполняете упражнения, которые я вам рекомендовал.

Он ударил карандашом по нотам.

— Нехорошо, Делейни, нехорошо, — сказал он. — Вы не в меру ленивы. Мне придется написать вашему отчиму.

— Он в Австралии.

— Тем больше оснований написать ему. Нельзя, чтобы он пускал деньги на ветер. Индивидуальный подход. Никакой индивидуальный подход не научит вас играть на фортепиано. Да вы и музыку-то не любите.

Скоро конец, подумал Найэл. Скоро конец; пробьет четыре часа, и он остановит метроном, потому что ему захочется чаю. Эти дурацкие длинные обвислые усы станут мокрыми от чая. Он пьет с сахаром и добавляет много молока.

— Я понимаю, — сказал мистер Вильсон, — ваша мать очень любила музыку. Она возлагала на вас большие надежды. Незадолго до смерти она обсуждала ваше будущее с вашим отчимом. Поэтому он так и настаивает на

пресловутом индивидуальном подходе.

Наложите голос мистера Вильсона на стук метронома, наложите этот дребезжащий голос на равномерные тик-так, тик-так — и, чего доброго, что-нибудь да выйдет. А если никто не слушает, можно добавить и аккорды. Оглушительные аккорды расколют звук, как будто молот раскалывает череп мистера Вильсона.

— Ну а теперь, Делейни, еще одно усилие, прошу вас. Попробуйте сонату Гайдна.

Найэл не хотел пробовать сонату Гайдна; не хотел прикасаться к этому проклятому роялю. Он хотел лишь одного — быть далеко от этого класса, этой школы, вновь оказаться в театре с Мамой и Папой, с Марией и Селией. Сидеть в темноте, видеть, как поднимается занавес и старый Салливан слегка наклоняется вперед с палочкой в поднятой руке. Мама умерла. Папа и Селия в Австралии. Осталась только Мария. Он вспомнил про почтовую открытку, исписанную ее небрежным почерком. Мария осталась. Вот почему с семнадцатью фунтами и шестью пенсами в кармане он вышел из школы, сел в поезд и отправился в Ливерпуль. Ведь Мария осталась.

Хозяйка вошла в гостиную с яйцами и беконом. Принесла она и большой рисовый пудинг с румяной верхней корочкой. Мария и Найэл задержали дыхание, чтобы не рассмеяться. Хозяйка, тяжело ступая, вышла из комнаты, и они снова остались вдвоем.

— Я не смогу есть его, даже если буду умирать с голода, — сказал Найэл.

— Знаю, — сказала Мария. — Я тоже. Мы бросим его в камин.

Они положили немного риса на тарелки, чтобы выглядело, будто они поели, а остальное выкинули с блюда в огонь. Рис почернел. Но не сгорел. Он так и остался лежать на углях черной липкой рыхловатой массой.

— Что будем делать? — спросил Найэл. — Она придет подложить угля в камин и все увидит.

Они попробовали кочергой отскоблить рис от угля. Кочерга сделалась липкой и покрылась черным рисом.

— Положим его в карманы, — сказала Мария. — Бумага вон там. Бумагой мы отдерем его от угля и разложим по карманам. А по пути в театр выбросим в канаву.

Они принялись лихорадочно набивать карманы мокрым, дымящимся рисом.

— Если тебе не понравится, ты обязательно скажи, ладно? — попросила Мария.

— Ты о чем? — спросил Найэл.

— О театре. Если я не справлюсь с ролью, — сказала Мария.

— Конечно, — сказал Найэл, — но это невозможно. Ты справишься с любой ролью.

Он высыпал остатки пудинга в кепку, которая была ему велика.

— Неужели? — спросила Мария. — Ты уверен?

Она смотрела, как он стоит здесь, совсем рядом, тощий, бледный, с оттопыренными карманами и жуткой кепкой, разбухшей от риса.

— Ах, Найэл, — сказала она. — Как я рада, просто не передать.

На улице шел дождь, и они одолжили у хозяйки зонт. Они шли под ним вдвоем, и порывистый ветер задувал под него, как метроном. Найэл рассказывал Марии про мистера Вильсона. Мистер Вильсон уже не казался ему таким важным и значительным. Теперь он стал всего-навсего жалким, надутым стариком с обвислыми усами.

— У него есть прозвище? — спросила Мария. — У всех преподавателей бывают прозвища.

— Мы зовем его Длиннорылым, — сказал Найэл. — Но его усы тут ни при чем. Дело не в усах.

— Я хочу предупредить тебя, — сказала Мария, — что нашу хозяйку зовут Флори Роджерс.

— Ну и что? — спросил Найэл.

— Да так, просто это очень смешно, — сказала Мария.

Перед самым театром они вывернули карманы и избавились от рисового пудинга.

— Вот деньги на билет, — сказала Мария. — Еще слишком рано. Тебе придется сидеть и ждать целую вечность.

— Ничего страшного, — сказал Найэл. — Я постою в фойе и посмотрю, не принесли ли зрители на ногах остатки пудинга. Кроме того, я буду не один. Ведь это все равно, что прийти домой.

— Что значит прийти домой? — спросила Мария.

— Быть в театре, — сказал Найэл. — Быть рядом с тобой. Знать, что, когда поднимется занавес, на сцене будет один из нас.

— Дай мне зонт, — сказала она. — У тебя будет глупый вид, если ты войдешь в фойе с зонтиком в руках.

Она забрала у него зонт и улыбнулась.

— Какая досада, — сказала она. — Ты так вырос, что почти догнал меня.

— Не думаю, что я вырос, — возразил Найэл. — Скорее, ты стала как-то ниже ростом.

— Нет, — сказала Мария, — это ты вырос. И голос у тебя стал резкий и странный. Так лучше. Мне нравится.

Концом мокрого зонта она толкнула дверь на сцену.

— Потом подожди меня здесь, — сказала она. — Служитель очень строгий и не всех пускает за кулисы. Если спросят, кто ты, скажи, что ждешь мисс Делейни.

— Я мог бы притвориться, что хочу получить автограф, — сказал Найэл.

— Хорошо, — сказала Мария, — так и сделай.

Как странно, подумала она, проскальзывая в дверь, еще утром я была так несчастна, страшно нервничала и ненавидела театр. Теперь же я счастлива и больше не нервничаю. И люблю театр. Люблю больше всего на свете. С зонтом в руках она, стуча каблуками и что-то напевая про себя, спустилась по каменной лестнице. А Найэл тем временем молча сидел в боковом кресле первого ряда верхнего яруса и, наблюдая, как музыканты занимают места в оркестровой яме, чувствовал, как приятное тепло постепенно разливается по всему его телу.

Хоть и сказал он себе в школе, что не любит музыку и не может играть на пианино, что-то уже навевало ему обрывок мелодии, где-то, когда-то услышанной и почти забытой; она сливалась со звуками настраиваемой первой скрипки, с горячим, слегка затхлым, напоенным сквозняками дыханием самого театра и сознанием того, что кто-то, кого он знает и любит, как некогда Маму, а теперь Марию, сидит в уборной за сценой и легкими мазками наносит грим на лицо.

Глава 9

— Они приехали и забрали тебя, да? — сказала Селия. — Вы даже не успели как следует побыть друг с другом.

— У нас было два дня, — сказала Мария.

Два дня... И так всегда с тех пор, из года в год. Найэл появляется никогда не знаешь когда, никогда не знаешь где, и вот он с ней. Всегда ненадолго. Она никогда не помнила, куда они ходили, что делали, что случилось; знала она одно — они были счастливы.

Раздражение, усталость, бесконечные заботы, трудности, планы — все забывалось, когда он был с ней. Он всегда приносил с собой странный покой и непонятное ей самой возбуждение. Рядом с ним она и отдыхала, и переживала необъяснимый подъем.

Не проходило дня, чтобы она не вспоминала о нем. Надо об этом рассказать Найэлу, он посмеется, он поймет. Но проходили недели, а она все не видела его. И вот он появляется неожиданно, без предупреждения. Совершенно измученная, она возвращается после долгой репетиции, неприятного разговора или просто неудачно проведенного дня, а Найэл сидит в глубоком кресле, смотрит на нее снизу вверх и улыбается. Ей надо причесаться, попудрить лицо, сменить почему-то ставшее ненавистным платье... все забывается в мгновение ока — ведь Найэл здесь, он часть ее существа, быть рядом с ним — все равно что быть наедине с собой.

— В этом был виноват Папа, — сказала Селия. — Директор школы телеграфировал Папе, что Найэл убежал, а он в ответной телеграмме написал: «Свяжитесь с Королевским театром в Ливерпуле». Трудно догадалась, что он поехал к Марии.

— По-моему, это единственный нехороший поступок Папы за всю жизнь, — сказал Найэл.

— Ему очень не хотелось этого делать, — сказала Селия. — Он позвал Трудю в гостиную — в то время мы были в Мельбурне, и там стояла ужасная жара — и сказал ей: «Мальчик удрал. Что же мне делать, черт возьми?»

Селия помнила, что им приходилось постоянно включать вентиляторы. Один висел над дверью, а другой на противоположной стене комнаты, чтобы был сквозняк. Кто-то предложил закрыть окна, задернуть шторы и включить вентиляторы на всю мощность, будто от этого станет прохладнее. Но вышло иначе. Стало еще жарче. Папа весь день сидел в пижаме и пил пиво.

— Дорогая, — сказал он Селии, — мне придется сдаться. Я больше не могу. Я ненавижу этих людей и эту страну. Кроме того, я теряю голос. Придется сдаваться.

Он постоянно говорил нечто подобное. Но это ничего не значило. То была часть ритуала на всем протяжении прощального турне. Всего несколько месяцев назад в Нью-Йорке они попали в снежную бурю, и он говорил то же самое об Америке и американцах. Он постоянно терял голос. Терял желание петь когда-либо в будущем. Терял желание петь в этот вечер.

— Позвони в театр, дорогая, — сказал он. — Скажи, что я отменяю сегодняшнее выступление. Я очень болен.

У меня начинается нервный срыв.

— Хорошо, Папа, — ответила Селия, но, конечно, не придавала его словам ни малейшего значения. Она продолжала рисовать в альбоме воображаемых персонажей, а Папа продолжал пить пиво.

Ей запомнилось, что телеграмма пришла около полудня; Папа разразился хохотом и бросил листок Селии на стол.

— Молодчина Найэл, — сказал он. — Я никогда не думал, что у него хватит духа на это.

Но она сразу забеспокоилась. Ей представилось, как Найэл лежит убитый где-нибудь в канаве, или что его избил, несправедливо избил жестокий директор школы, а то и побили камнями другие мальчики.

— Надо сейчас же сказать Труде, — заявила она. — Труда знает, что делать.

А Папа только смеялся. Он продолжал пить пиво и покатывался со смеху.

— Бьюсь об заклад, что через шесть недель он объявится здесь. Согласна? — сказал он. — Молодчина Найэл. Во всяком случае, я никогда ни в грош эту школу не ставил.

Но Труда сразу догадалась, что Найэл поехал к Марии.

— Он в Ливерпуле, — твердо сказала она и поджала губы. Это выражение Папа и Селия знали слишком хорошо. — Вы должны послать в школу телеграмму и сообщить, что они найдут его в театре в Ливерпуле. На этой неделе Мария там. Список ее выступлений у меня в комнате.

— Чего бы ради ему ехать в Ливерпуль? — спросил Папа. — Клянусь Богом, если бы я был мальчиком и убежал из школы, то черта с два я бы выбрал для побега Ливерпуль.

— Дело в Марии, — сказала Труда. — Теперь, после смерти матери, он всегда будет убегать к Марии. Я его знаю. Знаю лучше других.

Селия бросила взгляд на Папу. При упоминании о Маме с ним всегда что-то происходило. Он перестал смеяться. Перестал пить пиво. Он поднял тяжелый взгляд на Труду, его тело словно обмякло, и он вдруг показался постаревшим и усталым.

— Ну, не знаю, — сказал он. — Это выше моего разума. Что я могу поделать со всем этим отсюда, с противоположной стороны этого проклятого земного шара? Андре!

Папа во весь голос позвал Андре, потому что ему тоже было необходимо рассказать про побег Найэла, и не одному Андре, но и официанту, когда тот придет, и горничной и, разумеется, всем в театре. Какую прекрасную историю, не без преувеличений, но зато какую захватывающую, поведаст он всем о побеге своегомышленного пасынка из школы.

— Что проку звать Андре, — сказала Труда, опять поджимая губы. — Вам надо просто сообщить в школу, чтобы они связались с театром в Ливерпуле. Они должны забрать его. Говорю вам, он в Ливерпуле.

— В таком случае пусть и остается там, — сказал Папа, — раз ему так нравится. Может быть, он получит работу в оркестре, будет играть на рояле.

— Его мать хотела, чтобы он ходил в школу, — сказала Труда. — Театр не место для мальчика его возраста. Он должен пройти обучение. И вам это известно.

У Папы вытянулось лицо, и он посмотрел на Селию.

— Пожалуй, нам придется поступить так, как она говорит, — сказал он. — Сбегай вниз, дорогая, и принеси мне телеграфный бланк.

И Селия пошла вниз, в холл, к портье отеля, размышляя о том, что Найэл убежал в Ливерпуль к Марии. Сестрой Найэла была она, а не Мария. Зачем же Найэлу понадобилось убегать к Марии? И, вообще, почему бы им не быть всем вместе? Почему все, что когда-то было таким прочным и постоянным, стало таким ненадежным и ни на что не похожим? Она поднялась обратно с телеграфным бланком и через полуоткрытую дверь услышала, как Труда разговаривает с Папой.

— Я уже давно хотела высказать вам, что у меня на душе, мистер Делейни, — говорила она. — Я высказала, что думаю относительно мальчика, а теперь могу сказать и о Селии. Неправильно это, мистер Делейни, таскать ее вот так, с места на место. Ей следует получить нормальное образование и общаться со сверстниками. Иное дело, когда она была маленькая, была жива ее мать, и они трое были вместе. Но она подрастает, ей нужна компания девочек ее возраста.

Папа стоял лицом к Труде. Через приоткрытую дверь Селия увидела потерянное, испуганное выражение его глаз.

— Я знаю, — сказал он, — но что же мне делать? Она все, что у меня осталось. Я не могу отпустить ее. Если я отпущу ее, я сломаюсь. Если она покинет меня, я погибну.

— Это губит ей жизнь, — сказала Труда. — Предупреждаю вас. Это губит ей жизнь. Вы возлагаете на нее

слишком большую ответственность. Стараются поставить взрослую голову на детские плечи. Ей придется страдать из-за этого. Не вам, мистер Делейни, а ей.

— Разве я не страдал? — сказал Папа, и в глазах его было все то же потерянное выражение. Затем он собрался и налил себе очередной стакан пива. — Она видит мир, — сказал он. — Ребенок видит мир, а это уже само по себе образование. Лучше, чем то, которое она может получить в школе. Я скажу вам, что мы сделаем, Труда. Мы дадим объявление, что ищем гувернантку. Вот оно, решение. Хорошая, всесторонне образованная гувернантка. И мы найдем девочек, которые будут приходить к нам на чай. Будем приглашать других детей к чаю.

Он улыбнулся и потрепал Труду по плечу.

— Не беспокойтесь, Труда. Я что-нибудь устрою. И я телеграфирую в школу. Скажу этому малому — их директору, чтобы он искал мальчика в Ливерпуле. Вы, конечно, правы. Должно быть, он ошибается в театре. С Марией все в порядке, она занимается делом. Мальчику это не на пользу. Все будет, как надо. Не беспокойтесь, Труда.

Селия немного подождала и вошла в гостиную.

— Вот бланк, — сказала она.

Оба обернулись и посмотрели на нее, но ничего не ответили, и тишину комнаты нарушало только жужжание вентиляторов.

Селия вышла из комнаты, по коридору дошла до уборной, заперлась, и, вместо того чтобы читать книгу, которую там держала, села на стульчак и заплакала. Перед ней по-прежнему стояло растерянное лицо Папы, и она слышала, как он говорит Труде: «Я не могу отпустить ее. Если она уйдет, я сломаюсь. Если она покинет меня, я погибну».

Нет, она никогда не покинет его, никогда. Но почему он губит ей жизнь? Что Труда имела в виду? Чего ей не хватает? Да и не хватает ли? Того, что другие девочки делают в школе: играют в мяч, пишут и прячут записки, смеются, толкаются? У нее не было никакого желания делать все это. Она просто хотела оставаться с Папой. Но если бы и остальные могли быть с ней, если бы только Найэл и Мария были здесь, так что рядом были не одни только взрослые...

— Как Найэл вернулся в школу? — спросила Селия. — Приехал кто-то из учителей и забрал его? Я забыла.

— Они прислали padre, — сказал Найэл, — малого, который вел службы в школьной церкви. У него были соломенные волосы, и он часто смешил нас. Он любил театр. Поэтому старший учитель и послал его. Он был не дурак и знал, что делает.

— Перед поездом он сводил нас в кондитерскую, — сказала Мария, — и все рассказывал смешные истории, так что у нас не было времени думать.

Через много лет, в Лондоне, он пришел посмотреть ее в театре. Сидел в первом ряду и прислал ей записку с вопросом, не будет ли ему позволено засвидетельствовать ей свое почтение, и она согласилась, зевая от скуки, но любопытствуя, кто бы это мог быть. Она очень устала, хотела пораньше уйти; но, как только он появился, она узнала его, узнала круглолицего padre с соломенными волосами, но волосы уже из соломенных превратились в седые. Найэла не было в Лондоне, они сидели в ее уборной, разговаривали о Найэле, и она забыла про усталость.

— В кондитерской он купил нам шоколадных конфет, — сказал Найэл, — огромную коробку, перевязанную красной лентой. Ты сразу сорвала ленту и повязала ей волосы. Это тебе очень пошло.

— Красовалась, — сказала Селия. — Бьюсь об заклад, она красовалась. Надеюсь, что padre в нее влюбится и позволит Найэлу остаться.

— Ты завидуешь, — сказала Мария. — Завидуешь, хоть уже прошло столько лет. Тебе очень хотелось быть тогда с нами в Ливерпуле.

В тот вечер Найэлу очень хотелось есть. Он всегда был одним из тех мальчиков, которые хотят есть в самое неподходящее время. Хороший завтрак или плотный ленч были ему не впрок. Он ничего не ел. Но часа в три дня или ночи ему вдруг хотелось копченой рыбы или большую тарелку сосисок. Он бывал так голоден, что готов был съесть дверные ручки.

— Мы прокрались вниз по лестнице, помнишь? — спросила Мария. — На кухне пахло кошкой и миссис Роджерс. Ее туфли стояли на решетке плиты.

— Стянутые пластырем, — сказал Найэл, — и порванные по швам. От них противно пахло.

— Там был сыр, — сказала Мария, — полхлеба и банка паштета. Мы все забрали ко мне в спальню, и ты лег на мою кровать в нижней сорочке и кальсонах — пижамы у тебя не было.

Найэл очень замерз. В детстве он всегда был мерзляком. Всегда трясся от холода, ноги были как ледышки. Когда он лежал рядом с Марией и у него не попадал зуб на зуб от холода, ей приходилось сваливать на кровать одеяла, пледы, а иногда и тяжелый ковер. Таща ковер и взгромождая его на кровать, они задыхались от смеха.

— На столике рядом с кроватью лежала Библия, — сказал Найэл. — Мы зажигали две свечи и вместе читали ее. Открывали наугад и по первому попавшемуся месту гадали о будущем.

— Я до сих пор так делаю, — сказала Мария. — Всегда делаю. Перед премьерой. Но ничего не получается. В последний раз это было: «И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до утра». Набор слов.

— Можно немного схитрить, — сказал Найэл. — Если открыть Библию в конце, то попадешь на Новый Завет. Новый Завет больше подходит для гадания. Наткнешься на что-нибудь вроде: «В любви нет страха».

— Интересно, на что вы наткнулись в тот вечер в Ливерпуле, — сказала Селия. — Вряд ли хоть один из вас помнит.

Мария покачала головой.

— Не знаю, — сказала она. — Это было так давно.

Найэл промолчал. Однако он помнил. Он вновь видел мерцающие стеариновые свечи в зеленых фарфоровых подсвечниках. Одна из них гораздо короче другой и с куском оплывшего стеарина у фитиля. Ему холодно, и Мария укрывает его плечи одеялом, подтыкает края, самой ей тепло и уютно в пижаме в цветочек, старой пижаме, зашитой на боку, и им приходится разговаривать шепотом, чтобы не услышала миссис Роджерс в соседней комнате. Он ест хлеб с паштетом и сыром, перед ними Библия, раскрытая на Песне Песней Соломона, на строчках «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему: он пасет между лилиями».

— Благодарю, — сказала Мария. — Но ты не пасешь между лилиями. Ты сидишь здесь, рядом со мной на кровати и ешь хлеб с паштетом.

Она рассмеялась и, чтобы не услышала миссис Роджерс, заткнула рот платком. Найэл сделал вид, что смеется вместе с ней, но на самом деле мысли его обратились к будущему. Он видел, как Мария порхает сквозь череду бегущих лет, ни о ком и ни о чем не заботясь, отмахиваясь от бед и вскоре забывая их; а сам он как тень следует за ней, всегда на шаг или два позади, всегда в тени. Была полночь, ей было тепло и завтра — новый день. Но завтра, думал Найэл, что-нибудь случится. В школе нападут на его след, и ему придется вернуться.

И он оказался прав. Приехал радге. Возражать было бесполезно. У него не было денег. Мария не могла содержать его. Итак, он снова уезжал: радге в углу купе вагона для курящих раскуривал трубку, а Найэл высунулся из окна, смотрел на Марию, которая с красной лентой в волосах стояла в конце платформы, и махал ей рукой.

Когда она на прощание целовала его, в ее глазах стояли слезы, но она смахнула их слишком скоро, слишком скоро — как только ушла с платформы.

— Наверное, вы неплохо повеселились, — сказала Селия. — Как жаль, что я все это пропустила. А ты, Мария, даже если другие и смотрели на тебя свысока, должно быть, действительно была хороша. В противном случае, ты не была бы тем, что ты есть сейчас.

— Вот именно, — сказала Мария. — И что же я есть сейчас?

Найэл знал, что она имеет в виду, но Селия была озадачена.

— Право же, — сказала она, — чего тебе еще желать? Ты достигла вершины. Ты пользуешься популярностью. Публика валом валит на любую пьесу, в которой ты играешь.

— Да, знаю, — сказала Мария. — Но действительно ли я хороша?

Селия ошеломленно уставилась на нее.

— Ну, конечно, — сказала она. — Я не видела ни одной роли, в которой ты была бы плоха. Что-то тебе удастся больше, что-то меньше, но это неизбежно. Конечно, ты хороша. Не будь дурой.

— Ну, ладно, — сказала Мария. — Я не могу этого объяснить. Ты не поймешь.

Она забывала слишком многое в жизни, но не все. Мелкие сплетни, как бы случайные намеки навсегда застревают в памяти. Она не могла отмахнуться от них. Связи... это ей удалось благодаря связям. Так говорили и позже. Она совсем не работает. Она проскользнула с черного хода. Имя. За нее все делает имя. Все дело в удаче. Удача от начала до конца. Она получила первую большую роль в Лондоне, потому что женила на себе Вы-Знаете-Кого; он был от нее без ума... Какое-то время это продолжалось, но разумеется... Она не лишена способностей, но это способности обезьяны. Игрой это не назовете. Она унаследовала обаяние Делейни, у нее фотографическая память и целый набор трюков. Вот и все. Говорят, говорят... говорят... говорят...

— Понимаете, — медленно произнесла она, — с такими людьми, как я, никто не бывает по-настоящему

честен. Мне никто не говорит правды.

— Я честен, — сказал Найэл. — Я говорю тебе правду.

— Ах, ты, — вздохнула Мария. — Ты совсем не то.

Она посмотрела на него, на его странные, ничего не выражающие глаза, прямые волосы, узкий рот с выпяченной нижней губой. В нем не было черты, которой бы она не знала, которую бы не любила, но какое отношение это имеет к ее игре? Или наоборот? Неужели и то, и другое так неразрывно связано? Найэл был отражением в зеркале, перед ним она танцевала ребенком, перед ним принимала различные позы. Найэл был козлом отпущения, взявшим на себя все ее грехи.

— В действительности, — сказал Найэл, — ты хочешь сказать, что ни один из нас отнюдь не птица высшего полета. Не то что Папа или Мама. И, называя нас паразитами, Чарльз не в последнюю очередь имел в виду именно это. Из нас троих каждый по-своему сумел одурачить окружающих своим кривлянием, но в глубине души мы отлично знаем правду.

Он стоит в магазине на Бонд-стрит и разыскивает пластинку. Пластинку, на которой Папа поет одну старинную французскую песню. Названия он не мог вспомнить, но там была одна строчка о le cor:[24]«Que j'aime le son du cor, le soir au fond du bois».[25]

Что-то в этом роде. Он очень хорошо знал эту пластинку. На обороте была записана «Plaisir d'amour».[26] Никто не пел эти песни так, как Папа. Но глупенькая молодая продавщица подняла голову от списка имеющихся в магазине пластинок и тупо посмотрела на него:

— У нас ее нет. Наверное, она очень старая. Не думаю, что ее еще раз записывали.

Пока она говорила, дверь кабины для прослушивания открылась и Найэл услышал одну из своих собственных песен в ритме джиги, исполняемую под невыразительный аккомпанемент посредственного оркестра. В это время мимо проходил какой-то мужчина; он узнал Найэла и, улыбаясь, кивнул в сторону кабинки:

— Добрый день, мистер Делейни. Вам не надоедает слушать ее? Мне так порядком надоело.

Девушка за прилавком взглянула на Найэла, а его песня, казалось, звучала все громче и громче, заполняя весь магазин.

Найэл придумал какой-то предлог, поспешно вышел из магазина и пошел прочь.

— Вся сложность в том, что вы оба не чувствуете благодарности за свой успех, — сказала Селия. — Он пришел к вам, когда вы были еще слишком молоды. Тебе едва исполнилось двадцать, когда ты познала оглушительный успех в «Хеймаркете».[27] а я сидела дома на Сент-Джонз Вуд и присматривала за Папой.

— Ты любила присматривать за Папой, — сказала Мария. — Ты же знаешь.

— Он слишком много пил, — сказала Селия. — Ты никогда этого не замечала, а если и замечала, то тебя это не волновало. Я одна переносила весь этот ужас, когда видела, как он подходит к буфету. Труды не было с нами. Она лежала в больнице с язвой на ноге.

— Ты преувеличиваешь, — возразил Найэл. — Папа никогда не напивался до безобразия. Никогда не падал, ничего особенного себе не позволял. Наоборот, бывал весьма забавен. Всегда декламировал. Ярды и ярды поэзии. Никто не возражал. И пел он тогда лучше, чем когда бы то ни было.

— Я возражала, — сказала Селия. — Когда кого-то любишь, постоянно присматриваешь за ним и видишь, как он постепенно отдаляется от тебя, теряя лучшее, что в нем было, поневоле будешь возражать.

— Все от того, что он оставил сцену, — сказала Мария. — Он знал, что это начало конца, и все в нем перевернулось. Когда я начну стареть, то, вероятно, тоже стану пить.

— Нет, не станешь, — сказал Найэл. — Ты слишком тщеславна. Слишком заботишься о фигуре и лице.

— Вовсе не забочусь, — сказала Мария. — Слава Богу, пока не требуется.

— Придет время, потребуется, — пообещал Найэл.

Мария хмуро взглянула на него.

— Отлично, — сказала она, — продолжай. Скажи еще какую-нибудь гадость. Так или иначе, всем нам отлично известно, что ты замышлял той зимой.

— Да, — подтвердила Селия. — Все к одному. Бедный Папа очень беспокоился за тебя, Найэл. Это было просто ужасно.

— Чепуха, — сказал Найэл.

— Тебе едва исполнилось восемнадцать, — сказала Селия. — А какие пошли разговоры.

— Ты хочешь сказать, что говорил Папа, — сказал Найэл. — Он всегда говорил. Без этого ему жизнь была не в жизнь.

— Но он очень расстраивался, — сказала Селия. — Он так и не простил этой женщине.

— Когда люди кого-то не любят, — сказала Мария, — они всегда говорят «эта женщина». У тебя есть причина не любить бедную старушку Фриду? Право, она была лучше многих. Для Найэла даже совсем не плоха. Она не причинила ему никакого вреда, как раз наоборот. К тому же она была старым другом Папы и Мамы.

— Наверное, поэтому Папа так рассердился, — сказал Найэл.

— А ты Фриду никогда не спрашивал? — спросила Мария.

— О Господи, конечно нет, — ответил Найэл.

— Какие мужчины странные, а я бы спросила, — сказала Мария.

— Все началось на том ужасном банкете, — сказала Селия. — Кошмарный вечер. Я его никогда не забуду. Этот ужасный банкет в «Грин-Парке» или как там назывался тот отель. Папа устраивал прием в честь Марии после ее премьеры в «Хеймаркете».

— И вовсе это был не ужасный банкет, — сказала Мария, — а просто замечательный.

— Разумеется, замечательный, — сказала Селия. — Для тебя. У тебя был такой успех. Для меня же далеко не замечательный. Папа перепил и не мог завести машину, а тут еще этот снег.

— Повсюду снег, — сказал Найэл. — Меня поразило, что на банкет вообще кто-то пришел, не говоря уж о спектакле. На Хеймаркете снега навалило по щиколотку. Мне это известно, я прошагал там взад-вперед почти весь вечер. Не мог войти в театр, слишком переживал за Марию.

— Нервы! Не говори мне о нервах, — сказала Мария. — В тот день, с самого утра мои руки, ноги и живот становились все холоднее и холоднее. Я пошла в церковь Святого Мартина-в-Полях и прочла молитву.

— Когда ты вышла на сцену, все было в порядке, — сказала Селия.

— Но не со мной, — сказал Найэл. — Я бродил по Хеймаркету, и у меня зуб на зуб не попадал. Я мог подхватить воспаление легких.

Мария посмотрела на него. Она все еще немного хмурилась.

— Ну уж для тебя вечер закончился как нельзя лучше, разве нет? — сказала она.

— Если он так и закончился, то лишь по твоей вине, — сказал Найэл.

— О, продолжай, — сказала Мария. — Во всем обвини меня.

Селия не слушала. Она по-прежнему думала о машине, которая не заводилась, и о Папе, склонившемся над рычагами управления.

— Если подумать, — сказала она, — тот вечер был довольно странным для каждого из нас.

Глава 10

Проснувшись в то утро, Мария увидела за окном густые хлопья снега. Портьеры были задернуты — она никогда не спала с раздернутыми, — снег падал косо, ветер сдувал его в левую сторону, и если бы она подольше смотрела на небо, у нее зарябило бы в глазах и закружилась голова. Она снова закрыла глаза, но знала, что ей больше не заснуть. Этот День настал. Страшный День.

Возможно, если снегопад продлится еще несколько часов, к вечеру транспорт остановится, зрителям не на чем будет добираться, и все театры закроют. Труппе сообщат, что из-за непогоды премьеры переносится. Она лежала в кровати на боку, подтянув колени к подбородку. Конечно, она могла бы сказатьсь больной. Могла бы весь день пролежать в постели, ее бы приходили навестить, а она делала бы вид, что пребывает в трансе. Какое несчастье! Марию Делейни, которая должна была играть молодую героиню в «Хеймаркете», ночью внезапно разбил паралич. Она не слышит, не говорит и даже пальцем пошевелить не может. Страшная трагедия. Она была блестящей актрисой. Мы все возлагали на нее большие надежды. Ей предстояло многое свершить, но она уже никогда не сможет играть. До конца дней своих она будет прикована к постели, и нам придется на цыпочках подходить к ней и подносить цветы...

Бедная, прекрасная, блистательная Мария Делейни.

В дверь постучали, и в комнату ворвалась горничная Эдит с завтраком на подносе.

— Прекрасная погода, — сказала она, водружая поднос на кровать. — Когда я открыла заднюю дверь, снега было по колено. Придется его разгрести, чтобы могли пройти торговцы, но я этим заниматься не буду.

Мария не ответила. Глаза ее были по-прежнему закрыты. Она терпеть не могла Эдит.

— В такую погоду немногие выберутся в театр, — сказала Эдит. — Зал будет на три четверти пуст. В газете есть маленькая заметка о вас и фотография. Ничуть не похожая.

И она вылетела из комнаты, хлопнув дверью. Мерзкая девчонка. Откуда ей знать, будет театр полон или пуст? Всем известно, что билеты достались лишь тем, кто заказал их за много недель до спектакля. Вряд ли погода испугает счастливиц. Где эта записка о ней? Она раскрыла газету и просмотрела ее от корки до корки.

И только-то?.. Три короткие строчки в самом низу, где их никто и не увидит. «Мария Делейни, которая выступает сегодня в новой пьесе на сцене „Хеймаркета“, — старшая дочь...» и далее масса всего о Папе. Могли бы и фотографию поместить его, а не ее. Эдит права. Ничуть не похожа. Почему эти болваны не могли выбрать одну из новых, которые она сделала специально для этого случая? Так нет же. Взяли это дурацкое фото, где она нелепо улыбается через плечо.

«Мисс Мария Делейни, которая выступает сегодня в новой пьесе на сцене „Хеймаркета“...» Сегодня. Она повернулась к подносу и с отвращением посмотрела на грейпфрут. Мало сахара, и на вазочке с джемом сладкие пятна. Все потому, что нет Труды. Труды в больнице с язвой на ноге, и именно тогда, когда она так нужна.

На подносе лежали только два конверта. Один со счетом за какие-то туфли, который, как ей казалось, она уже оплатила. Нет, не казалось — она была уверена в этом. Эти скоты снова прислали его. Во втором конверте — письмо от тоскливой девицы, с которой они вместе были в турне прошлым летом. «Когда настанет великий день, я буду думать о вас. Некоторым везет буквально во всем. Каков он? Такой же интересный, как на фотографии, и правда ли, что ему около пятидесяти? В „Кто есть кто“ его возраст не указан...»

Мало кто знал ее адрес в Сент-Джонз Вуд. Папа и Селия здесь совсем недавно. Большинство посылали ей письма и телеграммы прямо в «Хеймаркет». Цветы тоже. Если подумать, то все это дело страшно похоже на послеоперационные дни. Телеграммы, цветы. И долгие часы ожидания. Она взяла в рот кусочек грейпфрута, но он оказался очень горьким и с сердцевинкой. Она выплюнула его.

За дверью послышалось шарканье комнатных туфель, и тут же раздался знакомый стук тремя пальцами.

— Войдите, — сказала Мария.

Это был Папа. В старом синем халате и комнатных туфлях, которые Труды чинила уже не один раз. Папа никогда не покупал новой одежды и оставался верен знакомым вещам до тех пор, пока они окончательно не изнашивались. У него был один старый джемпер, который он стягивал кусками веревки.

— Ну, дорогая моя, — сказал Папа.

Он подошел, сел на кровать рядом с Марией, взял ее руку и поднес ее к губам. Со времени турне по Южной Африке он пополнил и отяжелел, и волосы стали совсем седыми. Но нисколько не поредели. Они стояли у него над головой как никогда прежде, делая его похожим на льва. Стареющего льва.

Сидя на кровати, он одной рукой держал руку Марии, другой взял с подноса кусочек сахара и стал его сосать.

— Как ты себя чувствуешь, моя дорогая? — спросил он.

— Отвратительно, — ответила Мария.

— Знаю, — сказал он.

Он улыбнулся и принялся за второй кусок сахара.

— Либо оно есть, либо нет, — сказал он. — Либо оно в твоей сумасбродной головке и ты инстинктивно делаешь то, что нужно, либо, как шестьдесят процентов их братии, лопочешь бессмыслицу, ходишь вокруг да около и никогда не поднимаешься выше среднего уровня.

— Откуда мне знать? — сказала Мария. — Люди никогда не говорят правды. Во всяком случае всей правды. Сегодня вечером я могу удачно выступить, получу хорошие отзывы и все будут милы и доброжелательны. Но я все равно не буду знать наверняка.

— Еще как будешь, — сказал Папа. — Здесь. — И он постучал себя по груди. — Внутри.

— Я понимаю, что волноваться нельзя, — сказала Мария. — По-моему, это недостаток веры в себя. Надо идти вперед и ни на что не обращать внимания.

— Некоторые так и делают, — сказал он. — Но это неудачники. Они получают награды в школе, но потом о них никто не слышит. Так держать! Болей. Пусть тебя рвет в унитаз. Ничего не стоит то, что дается без борьбы, если задолго до победы ты не чувствовала боли в животе.

Он поднялся и побрел к окну. Комнатные туфли вновь зашлепали по полу.

— Когда я первый раз пел в Дублине, — сказал он, — собралось чертовски много народа. Публика была самая разношерстная. С билетами произошла какая-то путаница. Многие зрители сидели не на своих местах. Я так дьявольски волновался перед выступлением, что, раскрыв рот, вывихнул челюсть и минут пять не мог его закрыть.

Он рассмеялся. Подошел к умывальнику и повертел в пальцах тюбик с зубной пастой Марии.

— Тогда рассердился, — сказал он. — Рассердился на самого себя. Чего я боюсь, черт возьми, сказал я себе.

В зале всего-навсего толпа каких-то ирландцев, и если я не понравлюсь им, то и они не понравятся мне, а ведь одно другого стоит. Я вышел на сцену и начал петь.

— Ты хорошо пел? — спросила Мария.

Он положил тюбик на место. Посмотрел на Марию и улыбнулся.

Если бы я пел плохо, мы бы не были сейчас здесь, — сказал он, — и сегодня вечером ты не смогла бы выйти на сцену «Хеймаркета». А теперь вставай, прими ванну, и не забывай, что ты Делейни. Покажи им всем, чего ты стоишь.

Он открыл дверь и, шлепая туфлями, направился в свою комнату, по пути крикнув Андре, чтобы тот принес ему завтрак.

Сегодня вечером он поцелует меня и пришлет в уборную цветы, подумала Мария. Но ни то ни другое не будет иметь значения. Имеет значение лишь одно. То, что он сейчас сказал.

Она встала с кровати, прошла в ванную, включила горячую воду и вылила в нее всю эссенцию, которую Селия подарила ей на Рождество.

— Все равно, что помазание трупа перед похоронами, — сказала про себя Мария.

Снег шел все утро. Он засыпал палисадник перед домом, и тот стоял безжизненный, унылый. Кругом царили тишина и покой, странный, глухой покой, который всегда приходит со снегопадом. С Финчли-роуд не долетал шум транспорта.

Как ей хотелось, чтобы скорее пришел Найэл, но его поезд прибывал только после полудня. К Пасхе он заканчивал школу. Это был его последний семестр. Папа ухитрился добиться, чтобы его отпустили на несколько дней и он смог присутствовать на премьере. Почему он не мог приехать утром, почему она должна дожидаться? Она хотела, чтобы Найэл был с ней.

Когда она через голову снимала ночную рубашку, порвалась лямка. Она поискала в ящике комода другую, но не нашла. Она подошла к двери и громко позвала Селию.

— Исчезло все мое нижнее белье, — бушевала она. — Я ничего не могу найти. Ты его взяла.

Селия уже встала и была одета. Она всегда вставала раньше Марии, на случай если понадобится Папе — подойти к телефону или написать письмо.

— Из прачечной еще ничего не вернулось, — сказала она. — Ведь Труды нет. Без нее в доме всегда беспорядок. Ты можешь взять мою лучшую рубашку и панталоны. Те, которые Папа подарил мне на Рождество.

— Ты гораздо толще меня. Они не подойдут, — проворчала Мария.

— Подойдут, мне они малы. Я все равно собиралась отдать их тебе, — сказала Селия.

Ее голос звучал нежно и ласково. Она это специально делает, подумала Мария. Она так мила и предупредительна потому, что у меня сегодня премьера, и она знает, что я волнуюсь. Почему-то при этой мысли она почувствовала еще большее раздражение. Она выхватила у Селии из рук рубашку и панталоны. Селия наблюдала, как она молча их надевает. Как хороша в них Мария. Они ей в самую пору. Что значит бытьстройной и подтянутой...

— Что ты наденешь сегодня вечером? — спросила Мария.

В ее голосе звучало раздражение. На Селию она не смотрела.

— Свое белое, — ответила Селия. — Его принесли из чистки, и оно выглядит довольно мило. Плохо, что оно немного измялось и, когда я танцую, задирается сзади. Ты не хочешь пройтись по тексту? Я тебя проверю.

— Нет, — сказала Мария. — Мы занимались этим вчера. Я не собираюсь даже заглядывать в него.

— Сегодня нет никаких репетиций?

— Нет, никаких. Ах, он, наверное, там возится с освещением. Из нас никого не вызывали.

— Может быть, тебе следует послать ему телеграмму?

— Пожалуй. Он получит их сотен пять. Но сам не откроет ни одной. Этим занимается секретарь.

Она посмотрелась в зеркало. Волосы просто кошмар, но после ленча она вымоет их и высушит перед камином в столовой. На самом деле она не собиралась посылать ему телеграмму. Она собиралась послать ему цветы, но не хотела, чтобы Селия знала об этом, и Папа тоже. Она точно знала, что пошлет. Анемоны, голубые и красные в белой вазе. Однажды на репетиции он говорил о цветах и сказал, что его любимые цветы анемоны. Вчера она заметила их в цветочном магазине на углу Марилебон-роуд. Ваза потребует дополнительных расходов, но один раз это можно себе позволить. Доставка цветов в «Хеймаркет» тоже будет стоить денег.

— Папа пригласил его на банкет после спектакля, — сказала Селия. — Он приведет свою ужасную жену?

— Она в отъезде. В Америке.

— Как хорошо, — сказала Селия.

Интересно, думала она, сейчас, в эту минуту, Мария очень волнуется? Будет ее волнение возрастать с приближением вечера или уляжется, стихнет, как ноющая боль? Здесь, рядом с ней, ее сестра, актриса, которой совсем скоро предстоит выступить в своей первой значительной роли в Лондоне; Селия хотела поговорить с ней об этом, но не могла: какая-то странная робость удерживала ее.

Мария подошла к шкафу и достала пальто.

— Ты, конечно, не собираешься на улицу? — сказала Селия. — Идет сильный снег.

— Я задохнусь, если останусь здесь, — сказала Мария. — Мне надо пройтись, мне надо двигаться.

— За ленчем мы будем вдвоем. Папа собирается в «Гаррик».[28]

— Мне не надо ничего особенного, — сказала Мария. — Я не хочу есть.

Она вышла из дома, свернула за угол на Финчли-роуд и на автобусе доехала до цветочного магазина, где накануне видела анемоны. На стенке автобуса крупными черными буквами было написано название пьесы, а выше — ее имя, красными. Доброе предзнаменование. Не забыть сказать Найэлу.

Очень придирчиво выбрав анемоны, она подошла к столику в углу магазина, чтобы написать карточку. Она совсем не знала, что написать. Что-нибудь не слишком фамильярное, что-нибудь не слишком игривое. Чем проще, тем лучше. Она остановилась на том, что вывела его имя и подписала: «От Марии с любовью». Вложила карточку в цветы и вышла из магазина. Посмотрела на часы. Двенадцать. Ждать оставалось еще больше восьми часов.

На ленч у них была тушеная баранина с луком и картофелем и яблочная шарлотка. Без Папы они кончили есть раньше обычного. Сразу после ленча Мария вымыла голову, сколола волосы шпильками и легла в столовой спиной к камину.

— Может быть, — небрежно и слегка зевая, сказала она Селии, — может быть, ты послушаешь мой кусок из середины третьего акта. Проверим слова.

Селия ровным, монотонным голосом подавала реплики. Мария отвечала на них, прикрыв глаза руками. Все в порядке. По части текста Мария была безупречна.

— Что-нибудь еще? — спросила Селия.

— Нет, больше ничего.

Селия листала страницы измятой рукописи. Они были испещрены карандашными пометками. Она посмотрела на Марию, которая все еще лежала, закрыв лицо руками. Что должна испытывать Мария, целуя этого мужчину, чувствуя, как его руки обнимают ее, и говоря все то, что ей надо говорить? Мария никогда не рассказывала об этом. Она была до странности сдержанна в таких вопросах. Она говорила, что Такой-То и Такой-То был в плохом настроении, с похмелья или очень весел и забавен, но если ее спрашивали о более интимных подробностях, то отвечала уклончиво. Казалось, ей это неинтересно. Она просто пожимала плечами. Может быть, Найэл спросит ее. Может быть, Найэлу она расскажет.

Стемнело очень рано, около половины третьего. Снег прекратился, но за окнами было холодно и промозгло. В столовую вошла Эдит, чтобы закрыть портьеры.

— Перестал на минуту, — сказала она, рывком задерживая портьеры. — Но того и гляди начнется снова. Под ногами жуткая слякоть. Только что спускалась за почтой, так насквозь промокла.

Она вышла, тяжело ступая по полу и оставив за собой шлейф затхлого воздуха.

— Неужели они никогда не моются? — свирепо сказала Мария.

Она села, потянулась и стала вынимать шпильки из волос. Волосы распушились над ее головой, короткие и золотистые, как нимб. Селия отложила рукопись, которую только перечитала с начала до конца. Она знала ее почти так же хорошо, как Мария.

Неожиданно она спросила. Не могла сдержаться:

— Он тебе нравится?

— Кто?

Селия помахала рукописью перед Марией.

— Да, он ужасно милый. Я тебе говорила, — сказала Мария.

Она поднялась с пола и оправила юбку.

— Но что ты чувствуешь, когда целуешь его на репетиции? Тебе не бывает неловко? — спросила Селия.

— Мне бывает неловко, если приходится целовать его утром, — сказала Мария. — Я всегда боюсь, что у меня пахнет изо рта. Знаешь, так бывает, когда хочется есть. Так что лучше это делать после ленча.

— Правда? — спросила Селия.

Но на самом деле она хотела узнать совсем не о том.

— У тебя прекрасно лежат волосы, — сказала она вместо того, чтобы продолжить расспросы.

Мария повернулась и взглянула в зеркало.

— Странно, — сказала она, — у меня такое чувство, будто все это происходит не со мной. День мой, но живет в нем кто-то другой. Ужасное чувство. Не могу его объяснить.

Они услышали, что к дому подъезжает такси.

— Это Найэл, — сказала Мария. — Наконец-то Найэл.

Она подбежала к окну и отдернула портьеры. Громко забарабанила по стеклу. Он повернул голову, улыбнулся и помахал рукой. Он расплачивался с таксистом.

— Пойди ипусти его, быстро, — сказала Мария.

Селия пошла к входной двери ипустила Найэла.

Он с чемоданом в руке поднялся по лестнице.

— Привет, пупсик, — сказал Найэл и поцеловал Селию.

Конечно, он весь продрог. Руки были как лед, давно не стриженные волосы растрепались. Они вместе вошли в столовую.

— Где ты был? — сердито спросила Мария. — Почему не приехал раньше? — Она даже не улыбнулась Найэлу, не поцеловала его.

— Я ходил навестить Трудю, — сказал он. — Ты же знаешь, что больница в нескольких милях отсюда, и в такой снег туда надо добираться целую вечность.

— Ах, какой ты молодец, — сказала Селия. — Должно быть, она так обрадовалась. Как она?

— Лучше, — сказал Найэл. — Но ужасно сварлива. На всех ворчит. На сестер, на сиделок, на еду, на врачей, на других больных. Я немного побыл с ней и развеселил ее. Она даже пару раз рассмеялась.

— По-моему, это очень эгоистично с твоей стороны, — сказала Мария. — Ты знал, что значит для меня этот день, что мне так нужно утешение, и все-таки отправился через весь Лондон навестить Трудю. Для Труды можно было бы выбрать и другое время. А теперь у меня остается только два часа до театра.

Найэл промолчал. Он подошел к камину, опустился на колени и протянул руки к огню.

— Трудя прислала тебе подарок, — сказал он. — Она попросила одну из сиделок в свободное время сходить в магазин и кое-что купить. Она сказала мне, что именно. Это подковка из белого вереска. Ее отправили в театр. Трудя очень радовалась. Скажи Марии, попросила она, что я весь вечер буду думать о ней.

Мария промолчала. Она слегка выпятила нижнюю губу, отчего у нее сделался еще более надутый вид.

— Пойду взгляну, как там чай, — сказала Селия после минутного молчания.

Лучше оставить их вдвоем. Они сами разберутся. Она вышла из комнаты и поднялась к себе в спальню, дожидаться, когда действительно подоспеет время чая.

Мария опустилась на колени перед камином рядом с Найэлом. Потерлась щекой о его плечо.

— Я чувствую себя ужасно, — сказала она. — Началось с живота, а теперь подступило к горлу.

— Знаю, — сказал он. — Я чувствую то же самое. От пяток до затылка.

— И с каждым мгновением, — сказала Мария, — страшная минута все ближе, и ничего с этим не поделаешь.

— Утром, когда я увидел снег, — сказал Найэл, — у меня появилась надежда, что снежные лавины погребут под собой «Хеймаркет», и тебе не придется выходить на сцену.

— Ты так подумал? — спросила Мария. — И я тоже. Ах, Найэл... Если я когда-нибудь выйду замуж и буду ждать ребенка, ты не родишь его за меня?

— Во всяком случае, для меня это будет единственный способ прославиться, — сказал Найэл.

Он порылся в кармане.

— По правде говоря, я не все это время провел у Труды, — сказал он. — Я искал тебе подарок.

— Ах, Найэл, покажи скорее.

— Так, пустяк, — сказал он. — Ничего ценного или особенно интересного. Я купил его на деньги, которые Папа подарил мне на Рождество. Но тебе понравится.

Он протянул Марии небольшой пакетик. Она развязала ленту и разорвала бумагу. В ней была красная кожаная коробочка. Внутри лежало кольцо. Камень был голубой. Мария слегка повернула его, и он засверкал.

— Найэл, дорогой Найэл... — сказала она. Кольцо пришлось ей как раз впору на средний палец левой руки.

— Пустяк, — сказал Найэл, — оно ничего не стоит.

— Для меня оно стоит всего, — сказала Мария. — Я всегда буду носить его. Я его никогда не сниму.

Она вытянула руку и смотрела, как при малейшем повороте кольца камень играет разноцветными лучами. Кольцо что-то напоминало ей. Где-то, когда-то она видела почти такое же. И вдруг она вспомнила. Мама носила

на левой руке кольцо с голубым камнем. Кольцо, подаренное Найэлом, было очень похоже на Мамино, хотя, конечно, гораздо дешевле.

— Я рад, что оно тебе нравится, — сказал Найэл. — Как только я его увидел в магазине, я сразу понял, что должен его купить. Я знал, что оно — твое.

— Я хочу, чтобы в театр ты поехал в такси вместе со мной, — сказала Мария, — и довел меня до самой двери. Папа и Селия приедут позже. Ты это сделаешь для меня?

— Да, конечно, — сказал он. — Я так и собирался.

Часы летели слишком быстро. Подали чай. Убрали чай. И Найэлу уже было пора идти наверх переодеваться. Папа вернулся домой около шести часов. Он был очень разговорчив и весел. Должно быть, в «Гаррике» он выпил не одну рюмку.

— Сегодня там будет весь Лондон, — сообщил он, — а на банкете после спектакля к нам причалят еще человек десять. Селия, пожалуй, тебе стоит позвонить в «Грин-Парк». Черт меня побери, если я знаю, кто придет, а кто нет. Найэл, тебе лучше вдеть бутоньерку. Андре, где бутоньерка для Найэла?

Он стал с грохотом подниматься по лестнице, громко смеясь, окликая Марию, окликая Селию, окликая всех в доме. Мария спустилась из своей спальни с чемоданом в руке. В нем лежало вечернее платье, которое она собиралась надеть после спектакля. Селия не знала, кто бледнее — Мария или Найэл.

— По-моему, нам лучше идти, — сказала Мария жестким, напряженным голосом. — В театре мне станет лучше. По-моему, нам лучше идти. Кто-нибудь вызвал такси?

Теперь пути назад нет. Возврата нет. Приходится покориться неизбежности. Действительно, похоже на хирургическую операцию. Страшную операцию на жизненно важных органах. Селия стоит на сквозняке в холле с лицом сестры милосердия, и на нем блуждает подобострастная улыбка.

— До встречи, дорогая... Желаю успеха, — сказала Селия.

Такси — больничная каталка; как на каталке вывозят труп из операционной, так и оно уносит ее в театр.

— Ох, Найэл... — вырвалось у Марии. — Ах, Найэл...

Одной рукой он обнял ее за плечи, и такси медленно покатило по залитым густой жижей улицам.

— Не покидай меня, — сказала Мария. — Никогда, никогда...

Он плотнее прижался к ней и ничего не ответил.

— Не представляю, зачем я этим занимаюсь, — сказала она. — Моя работа не доставляет удовольствия ни мне, ни другим. Нелепо продолжать ее. Я ее ненавижу.

— Нет, не ненавидишь. Ты ее любишь, — сказал Найэл.

— Неправда. Я ее ненавижу, — сказала Мария.

Она посмотрела в окно. Засыпанные снегом улицы казались чужими, незнакомыми.

— Куда мы едем? — спросила она. — Он не туда едет. Я опоздаю.

— Не опоздаешь, — сказал Найэл. — Еще уйма времени.

— Мне надо помолиться, — сказала Мария. — Скажи ему, чтобы он подъехал к какой-нибудь церкви. Мне надо помолиться. Если я не помолюсь, случится что-нибудь ужасное.

Найэл просунул голову в окошко перегородки.

— Остановитесь у церкви, — попросил он, — у любой церкви, не важно где. Молодая леди хочет выйти и помолиться.

Водитель обернулся, на его круглом лице было заметно удивление.

— Что-то не так? — спросил он.

— Нет, — ответил Найэл. — Просто через час ей предстоит выйти на сцену. Найдите какую-нибудь церковь.

Водитель пожал плечами и нажал на сцепление.

Машина остановилась около церкви Св. Мартина-в-Полях.

— Ей лучше всего зайти сюда, — сказал водитель. — Здесь служат панихиды по актерам.

— Это предзнаменование, — сказал Найэл, — доброе предзнаменование. Тебе надо зайти. Я подожду в машине. — От холода у него стучали зубы.

Мария вышла из такси и поднялась на паперть церкви Св. Мартина. Вошла внутрь, остановилась в левом приделе и опустилась на колени.

— Пусть все будет хорошо, — сказала она, — пусть все будет хорошо.

Она снова и снова повторяла эти слова, ведь больше сказать было нечего.

Она поднялась с колен и поклонилась алтарю — она не знала, высокая это церковь или нет, а женщина, которая молилась у нее за спиной, внимательно за ней наблюдала — и спустилась по скользким ступеням к

машине.

— Полегчало? — спросил Найэл. Он был очень взволнован и казался бледнее прежнего.

— Немного, — ответила она.

Но это было совсем не так. Лучше ей ничуть не стало. Хотя зайти в церковь — вещь полезная. Как подержаться за дерево. Вреда не будет... Через несколько минут они остановились у подъезда «Хеймаркета».

— Вот мы и приехали, — сказал Найэл.

— Да, — сказала Мария.

Он вынес чемоданчик и расплатился с водителем. Папа дал ему денег. В карманах у Марии было пусто. Она совсем забыла про деньги на такси.

— До встречи, — сказала Мария. Она посмотрела на Найэла и попробовала улыбнуться.

Вдруг она сорвала с руки перчатку и показала ему кольцо.

— Ты со мной, — сказала она. — Я спокойна. Ты со мной.

Она вошла через служебный вход и оказалась в театре. Сердце ее все еще сильно билось, руки горели, но ощущение паники прошло.

Она в театре. С другими актерами. Одна из ее коллег просунула голову в дверь уборной — лицо покрыто густым слоем крема, голова обмотана полотенцем.

— У меня дизентерия. Внутри все вывернуло. Вы прекрасно выглядите.

Теперь Мария знала, что все будет хорошо. Об этом она и просила в церкви Св. Мартина-в-Полях. Они все вместе. Все как один. Она не одинока. Она их часть, и все они вместе.

Неожиданно она увидела в коридоре его. Негромко насвистывая, он стоял у двери и смотрел на нее.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — сказала Мария.

— Зайдите взглянуть на мои цветы, — сказал он. — Совсем как в крематории.

Она вошла в его уборную. Костюмер разворачивал очередной пакет. В нем было нечто похожее на алебастровую вазу с гигантским кустом.

— Они побывали в Кью,[29] — сказал он, — и что-то там раскопали. Совсем без запаха. Странно. Казалось бы, такая громадина должна пахнуть.

Она быстро оглядела комнату. Везде цветы. И телеграммы. Груды телеграмм. Некоторые еще не распечатаны.

Затем она увидела свою вазу с анемонами. Она стояла на его гримерном столике у самого зеркала. Других цветов на столике не было; только анемоны. Он заметил, что она смотрит на них, но ничего не сказал.

— Мне надо идти, — сказала Мария.

Какое-то мгновение он смотрел на нее, она на него, затем она повернулась и вышла.

Она вошла к себе в уборную и увидела там цветы от своих. Телеграммы. Вересковую подкову от Труды. Она повесила пальто на дверь и протянула руку за халатом. И вдруг увидела пакет. Он был длинный и плоский. Неожиданно Мария почувствовала себя спокойно и уверенно, от бывшего волнения не осталось и следа. Она сняла обертку, под ней оказался футляр красной кожи. А в нем золотой портсигар. На внутренней стороне крышки было выгравировано ее имя «Мария», его имя и дата. Некоторое время она сидела, глядя на портсигар, как вдруг услышала в коридоре шаги костюмерши.

Она поспешно положила портсигар в вечернюю сумочку и затолкала ее в ящик стола. Когда костюмерша вошла в комнату, Мария, склонившись над присланными Папой розами, читала его карточку: «Удачи, моя дорогая».

— Ну, — сказала костюмерша, — как вы себя чувствуете, дорогая?

Мария притворилась, будто вздрогнула, и оглянулась с наигранным удивлением.

— Кто, я? — спросила она. — О, я чувствую себя прекрасно. Все будет хорошо.

Она слегка наклонилась к зеркалу и стала смазывать лицо кремом.

Да, шло к тому, что все будет действительно хорошо.

Глава 11

Найэл вошел в театр и остановился в фойе. Конечно, было еще слишком рано. До поднятия занавеса оставался целый час. Швейцар спросил, что он здесь делает, и потребовал показать билет. Билета у Найэла не было. Все

билеты остались у Папы. Завязался разговор, и ему пришлось назвать свое имя, что он сделал с явной неохотой, поскольку такое признание казалось ему бахвальством. Все мгновенно изменилось. Швейцар заговорил о Папе — он был давним его поклонником. Стал говорить о Маме.

— С ней никто не мог сравниться. Такой легкий шаг. Казалось невероятным, как она движется. Все говорили о русском балете... совсем непохоже на нее. Это, видите ли, дело подхода. Вся штука в подходе.

От Папы и Мамы швейцар перешел к актерам, занятым в главных ролях спектакля. Найэл молчал, позволяя ему нести всякий вздор. На противоположной стене висела фотография Марии. С нее смотрела женщина, ничем не походившая на ту, что заходила помолиться в церковь Св. Мартина-в-Полях, которая, сидя в такси, искала у него поддержки. Девушка с фотографии улыбалась обольстительной улыбкой, ее голова была откинута назад, ресницы казались неестественно длинными.

— Вы здесь, конечно, затем, чтобы посмотреть на свою сестру, — сказал швейцар. — Наверное, гордитесь ею, так ведь?

— Она мне не сестра. И даже не родственница, — неожиданно сказал Найэл.

Его собеседник уставился на него во все глаза.

— Ну, сводная сестра, если угодно, — сказал Найэл. — У нас все смешано. Это довольно трудно объяснить.

Как хотелось ему, чтобы этот человек ушел, он не имел никакого желания продолжать с ним разговор. У подъезда остановилось такси. Из него вышла очень пожилая дама с веером из страусовых перьев в руке. Швейцар поспешил ей навстречу. Зрители начинали прибывать...

По мере того как стрелка часов двигалась по циферблату и фойе заполнялось возбужденными, оживленно переговаривающимися зрителями, Найэл все явственнее чувствовал приближение приступа клаустрофобии. Вокруг него шумела и бурлила толпа, и ему хотелось слиться со стеной, у которой он стоял. Слава Богу, никто не знает, кто он такой, и ему ни с кем не надо разговаривать, но чувство подавленности от этого не уменьшалось. В нем закипала жгучая неприязнь ко всем этим мужчинам и женщинам, которые, проходя мимо него, направлялись в партер. Они напоминали ему зрителей в цирке Древнего Рима. Все они хорошо пообедали и теперь пришли посмотреть, как львы растерзают Марию. Их глаза — сама алчность, руки — смертоносные когти. Все они жаждут одного — крови и только крови.

В фойе становилось все жарче, воротничок Найэла впивался в шею, но руки и ноги были холодны, как лед, все его существо пронизывал холод.

Какой ужас, если он потеряет сознание, какой кошмар, если у него подкосятся ноги и он услышит, как девушка, продающая программки, скажет: «Прошу вас, помогите. Молодому джентльмену плохо».

Без десяти восемь... Мария сказала, что занавес поднимается в четверть девятого, а ее выход в восемь тридцать пять. Он вынул носовой платок и отер лоб. Боже милостивый! Вон та пара во все глаза смотрит на него. Он их знает? Это друзья Папы? Или они просто думают, что бедный мальчик, который прислонился к стене, вот-вот умрет?

У входа в фойе стоял фотограф со вспышкой. Всякий раз, когда он нажимал на спуск, разговоры становились громче, слышался сдержанный смех. Вдруг Найэл увидел, что сквозь толпу к нему протискиваются Папа и Селия в белой меховой шубке. Кто-то сказал: «Это Делейни», и, как всегда в таких случаях, все стали оборачиваться, чтобы посмотреть на Папу, а Папа улыбался, кивал и махал рукой. Он никогда не выглядел смущенным. Никогда не возражал и, возвышаясь надо всеми, всегда имел величественный вид. Селия схватила Найэла за руку. В ее больших, пристально смотревших на него глазах светилась тревога.

— С тобой все в порядке? — спросила она. — У тебя такой вид, будто тебя тошнит.

Подошел Папа и положил руку ему на плечо.

— Встряхнись, — сказал он. — Пойдемте в зал. Что за сброд... Привет, как поживаешь?

Папа то и дело оборачивался на приветствия то одного, то другого знакомого, а тем временем фотоаппарат все щелкал и щелкал на фоне нестройного гула голосов и шарканья ног.

— Иди с Папой без меня, — сказал Найэл Селии. — Бесполезно. Я не могу на это смотреть.

Селия в нерешительности взглянула на него.

— Ты должен пойти, — сказала она. — Подумай о Марии. Ты должен пойти.

— Нет, — сказал Найэл. — Я выйду на улицу.

Он пробрался через толпу, вышел на улицу и пошел по Хеймаркету в сторону Пиккадилли. На нем были туфли на тонкой подошве, вскоре они промокли, но он не обращал на это внимания. Весь вечер он будет ходить и ходить... ходить взад-вперед по улицам... и все оттого, что ему нестерпимо, невыносимо больно смотреть на агонию Марии на арене этого... этого цирка.

— У меня нет силы воли, — сказал он себе. — Это всегда будет моей бедой. У меня совсем нет воли.

Он немного постоял на Пиккадилли, глядя на сверкающие огни, на полог темного неба над головой, на снег — мягкие белые хлопья вновь кружились в воздухе и падали на мокрый тротуар. Я это помню, подумал он, это уже было однажды... Ребенком он стоял на Place de la Concorde,[30] держа за руку Труды... и снег падал... и такси, громко гудя, сворачивали направо, налево — одни направлялись прямо к мосту через Сену, другие к Rue Royale.[31] Ледяная вода изливалась из ртов бронзовых женских фигур фонтана.

— Вернись, — крикнула Труды Марии. — Вернись.

А Мария чуть было стремглав не бросилась через Place de la Concorde. Она оглянулась и громко рассмеялась. Она была без шапки, и снег засыпал ее волосы...

Но сейчас он на Пиккадилли, и по стенам «Лондон павильон» бежит нескончаемая вереница догоняющих друг друга огней. На голове Эроса небольшая снежная шапка. Так же идет снег. И вдруг она зазвучала в голове, в ушах, во всем существе Найэла. Мелодия. Она не была связана ни с Парижем, ни с Лондоном. Не имела отношения ни к огням, ни к Place de la Concorde, ни к Пиккадилли. Просто возникла никем и ничем не рожденная — эхо, отзвук подсознательного.

Если бы под рукой был рояль, я мог бы записать ее, подумал Найэл, но его нет. Все закрыто. Не могу же я ворваться в гостиницу «Пиккадилли» или куда-нибудь еще и попросить, нельзя ли мне воспользоваться их роялем.

Он снова принялся бродить по улицам; он все больше замерзал, а мелодия с каждой минутой все громче и настойчивее звучала в его ушах. Его барабанные перепонки лопались от мелодии. Он совсем забыл про Марию. Уже не думал о Марии. И лишь вновь оказавшись на Хеймаркете, перед зданием театра, вспомнил о спектакле. Он посмотрел на часы. Спектакль шел уже два часа. Люди стояли в фойе и курили, наверное, начался второй антракт. В душе Найэла вновь проснулись дурные предчувствия. Если он войдет и встанет рядом с курящими, то, возможно, услышит, как они говорят про Марию что-нибудь ужасное. Необоримая сила повлекла его к театру. На едва гнущихся ногах Найэл подошел к дверям. Он увидел швейцара, который стоял у входа, и, не желая, чтобы его заметили, повернулся к нему спиной. Но было поздно. Швейцар узнал его и пошел к нему навстречу.

— Вас искал ваш отец, — сказал швейцар. — Везде искал. Сейчас он ушел в зал. Начинается третий акт.

— Как идет спектакль? — спросил Найэл, и зубы у него стучали.

— Превосходно, — ответил швейцар. — Публика сидит затаив дыхание. Почему бы вам не пойти к отцу?

— Нет, нет, — сказал Найэл. — Мне и здесь хорошо.

Он снова вышел на улицу, затылком чувствуя, что швейцар наблюдает за ним. Он бродил вокруг театра до без пяти минут одиннадцать, то есть до того времени, когда по его подсчетам до окончания спектакля оставалось пять минут. Он подошел к боковому подъезду и остановился. Двери были распахнуты, и издалека, из зала до него долетел звук аплодисментов. Характер этого звука он никогда не мог определить точно. Аплодисменты всегда казались ему одинаковыми везде, в любом театре — неумолчный, раскалывающий тишину звук, похожий на рев разъяренного зверя. Сколько он помнил себя, они всегда звучали одинаково. Когда-то для Папы и Мама. Теперь, благодарение Богу, для Марии. Неужели, спрашивал он себя, всегда, всю жизнь какая-то часть его существа будет прислушиваться к аплодисментам, а сам он, сознавая свою причастность к ним, чувствуя, что они относятся и к нему, будет, как сейчас, стоять где-то вдалеке... на улице?

Аплодисменты смолкли. Наверное, кто-то подошел к рампе произнести речь, затем публика снова зааплодировала, и, наконец, оркестр заиграл «Боже, храни короля». Найэл подождал еще немного. И вот на лестнице послышался топот ног, зазвучали голоса, смех, и темный людской поток устремился на улицу.

— Боже мой, опять снег. Мы не найдем такси, — сказал кто-то и тут же натолкнулся на Найэла; какая-то женщина задела его за плечо; машины ровным потоком подъезжали к подъезду; люди торопливо бросались к ним, и Найэл ни разу не услышал, чтобы хоть один из них произнес имя Марии.

— Да, знаю, — прозвучало рядом с ним, — именно так я и думал...

И снова голоса, снова смех. Найэл пошел к центральному входу. Там в ожидании машин стояла целая толпа. Двое мужчин и женщина остановились на самом краю тротуара.

— По-моему, в ней есть своеобразное очарование, но красивой я бы ее не назвала, — сказала женщина. — Посмотрите, это не наша машина? Подождем, пока она подъедет ближе. Я не хочу портить туфли.

Глупая телка, подумал Найэл. Не о Марии ли она говорит? Ей бы крупно повезло, обладай она хоть одной сотой внешности Марии.

Они сели в машину. Они уехали. Если бы Мария умирала у себя в уборной, они бы и глазом не моргнули.

В следующее такси сели двое мужчин. Они были среднего возраста и выглядели очень усталыми и утомленными. Ни один из них не проронил ни слова. Возможно, это были критики.

— Не кажется ли вам, что он заметно постарел? — сказал кто-то.

Интересно, о ком они, подумал Найэл. Впрочем, не важно, во всяком случае не о Марии.

Потоки зрителей покидали театр, как крысы тонущий корабль. И тут его схватила за руку Селия.

— Наконец-то, — сказала она. — Где ты был? Мы решили, что ты нашел такси и уехал домой. Идем скорее.

Папа уже пошел.

— Куда? Зачем?

— Как куда? К Марии. В уборную.

— Что случилось? С ней все в порядке?

— Что случилось? Ты что, ничего не видел?

— Нет.

— Ах, это было замечательно. У Марии огромный успех. Я знала, что так и будет. Папу просто не узнать.

Идем.

От радостного волнения Селия вся покраснелась. Она потянула Найэла за рукав. И он пошел следом за ней в уборную Марии. Но там оказалось слишком много народа.

Везде одно и то же. Слишком много народа.

— Пожалуй, я не пойду, — сказал Найэл, — я спущусь и подожду в машине.

— Не порти нам вечер, — сказала Селия. — Уже не о чем беспокоиться. Все в порядке, и Мария так счастлива.

Мария стояла в дверях, там же стояли смеющийся Папа и несколько посетителей. Найэл не знал ни одного из них, да и не хотел ни знать их, ни разговаривать с ними. Единственное, чего он хотел, так это убедиться, что с Марией все в порядке. На ней было нелепое рваное платье — ах да, вспомнил он, так надо по ходу пьесы, — и она улыбалась мужчине, который разговаривал с Папой. Найэл узнал его. Мужчина тоже смеялся. Все смеялись. Все были очень довольны. Папа отвернулся поговорить с кем-то еще, а его недавний собеседник и Мария взглянули друг на друга и рассмеялись. То был смех двоих людей, которых объединяет общая тайна. Людей, стоящих на пороге приключения. Приключение только начинается. Найэл знал это выражение на лице Марии, знал этот взгляд. Прежде он никогда не видел, чтобы Мария так смотрела на кого-нибудь, но он понимал, в чем здесь дело, понимал, что означает этот взгляд и почему она счастлива.

И такой она будет всегда, подумал Найэл, я не могу ее остановить. В ней все переплелось: жизнь, игра, сцена... Мне остается стоять в стороне и молча наблюдать.

Он опустил взгляд на ее руку и увидел кольцо. Разговаривая, она крутила его на пальце. Она не сняла его. Никогда не снимет, в этом он был уверен. Она хочет сохранить кольцо при себе и владеть им, как хочет сохранить при себе его, Найэла, и владеть им. Мы оба молоды, думал Найэл, и впереди у нас, возможно, многие годы, но она всегда будет носить это кольцо, и мы всегда будем вместе. Этот человек умрет и забудется, но мы будем вместе. А этот вечер надо всего-навсего пережить, вытерпеть. Но будут другие дни, другие вечера... Ах, если бы найти рояль, сесть и сыграть мелодию, которая родилась у него на заснеженных улицах, стало бы легче. Но впереди банкет в отеле «Грин-Парк», толпы гостей, утомительная процедура принужденной вежливости и танцев. Банкет перейдет в разудалое застолье, как все Папины банкеты. Папа будет петь, и никто не отправится спать раньше четырех утра. А в девять он, Найэл, сядет в поезд, чтобы вернуться в школу, где у него также не будет времени сыграть свою мелодию.

Неожиданно Мария очутилась рядом с ним и коснулась его руки.

— Все позади, — сказала она. — Ах, Найэл, все позади.

Мужчина, с которым она разговаривала, ушел, но она все еще вертела кольцо на пальце.

— Позади только пролог, — сказал Найэл, — первый акт лишь начинается.

Мария сразу поняла, что он имеет в виду, и отвела взгляд.

— Не надо ничего говорить, — сказала она.

По коридору шли еще несколько человек, они окружили Марию; она смеялась, разговаривала то с одним, то с другим, а Найэл ждал, прислонясь к стене и жалея о том, что не может уйти отсюда, разыскать рояль и забыть обо всем, кроме своей мелодии.

За ужин в «Грин-Парке» село человек двадцать пять. Все были оживлены и веселы, стол был отменный, и официанты не успевали откупоривать все новые и новые бутылки шампанского.

Совсем как на свадьбе, подумал Найэл, еще немного, и Папа встанет, чтобы провозгласить тост за здоровье

новобрачной. А новобрачной будет Мария.

Мария сидела в дальнем конце стола. Раза два за время ужина она бросила на Найэла взгляд и помахала ему рукой, но думала она не о нем. Пару раз он танцевал с Селией, но больше ни с кем. Марию он не стал приглашать. Оркестр слишком гремел. Человек, игравший на саксофоне, очевидно, считал себя изобретательным и оригинальным, но не отличался ни изобретательностью, ни оригинальностью. Малого за роялем не было слышно. Саксофон все время заглушал его. Сам вид рояля служил для Найэла дополнительным раздражителем. Ему очень хотелось выставить всех из зала и самому сесть за него.

— Ты выглядишь ужасно сердитым. В чем дело?

Справа от него сидела новая гостья, которую раньше он не видел. Она-то с ним и заговорила. Ее лицо казалось знакомым: дружелюбные карие глаза, довольно большой рот и волосы с квадратной челкой.

— Папа послал меня поговорить с тобой, — сказала она. — Ты меня не помнишь. Я Фрида.

Она жила в Париже и давно знала Папу и Маму; она была забавной, веселой и очень доброй. Много лет назад, вспомнил Найэл, она водила их всех смотреть Concours Hippique.[32] Как все меняется с возрастом. Оказывается, что Папины друзья, которые когда-то казались такими старыми, высокими и недоступными, такие же люди, как и вы.

— Вот уже лет десять, как я никого из вас не видела, — сказала Фрида. — Ты был таким забавным малышом, очень стеснительным и застенчивым. Сегодня я сидела в первом ряду. Мария была очень хороша. Она превратилась в совершенно очаровательное существо, как, впрочем, и все вы. Теперь я кажусь себе очень старой.

Она погасила сигарету и тут же закурила другую. Найэл и это помнил. Фрида постоянно курила, и у нее был длинный янтарный мундштук. Она была милой, ласковой и очень высокой.

— Ты никогда не любил банкеты, ведь так? — сказала Фрида. — Я тебя не виню, хотя сама очень люблю встречаться с друзьями. Ты стал очень похож на свою мать. Тебе говорили об этом?

— Нет, — ответил Найэл. — Похож на Маму... Как странно...

— Надо же, ты меня удивляешь.

Мария уже встала из-за стола и танцевала с тем мужчиной. Но Найэл не видел их среди других пар. И вдруг он почувствовал, что Фрида, которая в те далекие годы была так добра к нему на Concours Hippique, — его друг и союзник. Он вспомнил, как в тот день она купила ему пачку миндального печенья, а когда ему захотелось в туалет, он не постеснялся сказать ей об этом. Она отнеслась к его сообщению как к самому обычному делу. Даже странно, как долго помнишь подобные вещи — годы и годы.

— Больше всего на свете я люблю музыку, но играть не умею, — сказал он, — играть по-настоящему, как мне бы хотелось. И не ту чепуху, какую сейчас исполняет оркестр. Но только такие ритмы и приходят мне в голову. А это ужасно. Просто ужасно.

— Почему ужасно? — спросила Фрида.

— Потому что это не то, чего я хочу, — ответил Найэл. — У меня в голове масса звуков, но они никак не выходят наружу. Вернее, выходят, но складываются только в глупые танцевальные мелодии.

— По-моему, это не имеет значения, — сказала Фрида, — была бы мелодия хороша.

— Но это такая ерунда, — сказал Найэл, — кому охота сочинять танцевальные мелодии?

— Многие пожертвовали бы глазом за такое умение, — возразила Фрида.

— Ну и пусть, — сказал Найэл. — Могут взять мои.

Фрида продолжала курить через длинный мундштук, и ее глаза смотрели доброжелательно. Найэл чувствовал, что она понимает.

— По правде говоря, меня весь вечер сводит с ума одна мелодия. Мне нужен рояль, но где его взять, ведь банкет закончится только ночью. Не могу же я выставить вон того малого в оркестре.

Найэл рассмеялся. Какое смешное признание. Но Фрида, казалось, вовсе не сочла его признание смешным. Напротив, приняла как нечто вполне естественное, как в свое время его желание пойти в уборную или то, как будучи еще совсем маленьким мальчиком, он съел целую пачку миндального печенья.

— Когда эта мелодия пришла к тебе в голову? — спросила она.

— Я бродил по Пиккадилли, — ответил Найэл. — Слишком переживал за Марию, чтобы смотреть спектакль. И вдруг она пришла — мелодия: ну, знаете... снег, фонари, рекламные огни. Я вспомнил Париж, фонтан на Place de la Concorde. Не то чтобы они подсказали мелодию... Не знаю, не могу объяснить.

Некоторое время Фрида молчала. Официант поставил перед ней креманку с мороженым, но она жестом отказалась. Найэл пожалел о ее поспешности. Он бы сам съел мороженое.

— Ты помнишь, как танцевала твоя мать? — неожиданно спросила Фрида.

— Да, конечно, — ответил Найэл.

— Помнишь танец нищей девушки под снегом? Огни в окнах дома. Ее следы на снегу, и руки движутся в такт падающим снежинкам.

Найэл смотрел прямо перед собой. Казалось, в его голове что-то щелкнуло. Нищенка под снегом...

— Она пыталась дотянуться руками до света в окне, — медленно проговорил он. — Пыталась дотянуться до света, но была слишком слаба, слишком устала, а снег все падал и падал. Я совсем забыл этот танец. Мама очень редко исполняла его. Кажется, я видел его только один раз в жизни.

Фрида закурила следующую сигарету и вставила ее в длинный мундштук.

— Тебе только казалось, что ты забыл. На самом деле это не так, — сказала она. — Дело в том, что музыку для танца нищей девушки написал твой отец. Это единственная вещь, которую он сочинил.

— Мой отец?

— Да. Думаю, именно поэтому твоя мать так редко исполняла ее. Это очень запутанная история. Никто толком не знает, что произошло. Твоя мать никогда не рассказывала об этом даже друзьям. Но суть не в том. А в том, что ты композитор, хоть и не сознаешь этого. Мне безразлично, что рождается в твоей голове — польки или детские песенки. Я бы хотела услышать твою мелодию, услышать, как ты играешь ее на рояле.

— Почему вам это интересно? Почему вас это волнует?

— Я была большим другом твоей матери и очень привязана к твоему отцу. В конце концов, я и сама неплохо играю.

Она повернулась к Найэлу и рассмеялась. Он почувствовал, что под воротничком у него становится горячо. Какой ужас. Он совсем забыл. Ну конечно же, она играла на рояле и пела в кабаре; возможно, и до сих пор поет. Ему следовало бы знать. А он помнил только Concours Hippique и пачку миндального печенья.

— Мне жаль, — сказал он, — мне ужасно жаль.

— Чего? Единственное, о чем я жалею, так это о том, что завтра тебе надо возвращаться в школу и я не услышу твою мелодию. Ты не можешь зайти ко мне домой утром перед отъездом? Фоли-стрит, дом номер семнадцать.

— Мой поезд отходит в девять часов.

— А я через два дня уезжаю в Париж. Ну что ж, ничего не поделаешь. Когда закончишь школу, мы что-нибудь придумаем. Расскажи мне обо всем. Старушка Труда еще жива?

С ней было так легко разговаривать, легче чем с кем бы то ни было, и Найэл пожалел, когда она встала и попрощалась с ним.

На противоположном конце стола все громко смеялись и шумели. Папа постепенно пьянел.

Когда Папа пьянел, то становился очень веселым. Но это длилось не более часа, затем веселье оборачивалось слезами. Сейчас он переживал пик веселья. Он запел шутливо-деланным голосом, каким всегда пел, когда подражал сладеньким баритонам, поющим в балладном стиле. Обычно по ходу пения он сам сочинял слова и они всегда поразительно точно пародировали тексты, столь любимые такими исполнителями.

Постепенно он становился все менее разборчивым в словах и впадал в вульгарность, отчего сидевшие рядом с ним буквально покатывались со смеху. Он и сам всегда смеялся, что было по-своему трогательно и усиливало комический эффект.

Сейчас он сидел в конце стола, откинувшись на спинку стула, и, одной рукой обнимая за плечи какую-то женщину — Найэл не имел ни малейшего представления, кого именно, — пел, сотрясаясь от смеха. В зале не могли не заметить, что происходит за их столом. Ухмыляющиеся официанты остановились, чтобы посмотреть на Папу, сидевшие за соседними столиками подняли глаза и обернулись. Оркестр надрывался пуще прежнего, танцующие продолжали танцевать, но на них уже никто не обращал внимания.

Но вот Папа перестал дурачиться и запел своим настоящим голосом. Запел он «Очи черные», запел по-русски. Начал он очень мягко, очень медленно, звуки лились откуда-то из глубины; кто-то за соседним столиком сказал: «Тихо», оркестр дрогнул и смолк, танцующие остановились. Все посторонние звуки замерли, дирижер поднял руку, дал знак пианисту, и тот осторожно подыграл аккомпанемент, затем, следуя за Папой, заиграл ведущую тему. Папа сидел совершенно неподвижно, его массивная голова была откинута, рука по-прежнему обнимала плечи сидевшей рядом с ним женщины. Из его груди лились тихие, надрывающие сердце звуки — то был его истинный голос, глубокий и нежный, такой глубокий, что ничто в мире не могло с ним сравниться, такой нежный и искренний, что переворачивал душу, сдавливал горло, и всем, кто его слышал, хотелось отвернуться и заплакать.

«Очи черные» запеты певцами всех стран мира, заиграны тысячами танцевальных ансамблей и третьеразрядных оркестров, но когда их пел Папа, у всех было такое чувство, что нет и не было песни равной этой. Что это единственная песня, которая когда-либо была написана.

Когда Папа кончил петь, все плакали. Он тоже плакал. Он действительно был очень пьян. И вот оркестр снова заиграл «Очи черные», но в ускоренном ритме, более удобном для танца. Папа танцевал вместе со всеми, начав с того, что кого-то толкнул с такой силой, что тот едва не упал. Он понятия не имел, кого толкает, но, ничуть не смущаясь, продолжал налетать на тех, кто оказывался рядом, и при этом громко хохотал. Найэл услышал, как кто-то сказал: «Делейни совсем опьянел».

Селия не сводила с Папы глаз. У нее было встревоженное лицо. Найэл знал, что вечер не доставляет ей никакой радости. Марии нигде не было видно. Найэл оглядывался по сторонам, но так и не увидел ее. Он вышел посмотреть, нет ли ее в гостиной отеля, но там ее тоже не оказалось.

Многие из приглашенных на банкет уже разъехались. Мужчина, который не отходил от Марии, исчез. Может быть, он отвез ее домой... Найэл вдруг почувствовал, что тоже не хочет оставаться. Его тошнило от банкета, он вызывал у него отвращение. Все ему до смерти надоело. Кто-нибудь позаботится, чтобы Папа и Селия добрались до дому. Сам он не останется здесь ни на минуту. Банкет может затянуться еще на несколько часов, и Папа будет все больше и больше пьянеть. Найэл взял пальто, вышел из отеля и побрел по улице. Автобусы и метро уже не ходили. Может быть, взять такси? В кармане у него оставалось ровно два шиллинга. Хватит только на полпути. Улицы были безлюдными, белыми от снега, тихими. Было поздно, около двух часов ночи. В начале Бонд-стрит он нашел такси, и, когда водитель спросил адрес, он не назвал дом на Сент-Джонз Вуд, а сказал:

— Фоли-стрит, семнадцать.

Он понимал, что в эту минуту хочет лишь одного — забыть о банкете и сыграть свою мелодию для доброй и ласковой Фриды, которая когда-то, много лет тому назад подарила ему пачку миндального печенья.

Если бы я выпил шампанского, сказал он себе, то, наверное, опьянел бы, как Папа, но я не выпил ни капли. Я ненавижу шампанское. Я совсем не хочу спать, вот и все. Сна ни в одном глазу.

До Фоли-стрит у него не хватило денег, то есть не хватало на чаевые. Поэтому он проехал на такси лишь часть пути, а остальную прошагал пешком.

Наверное, она спит и не услышит звонок, подумал Найэл.

Он не увидел ни одного огня, хотя, возможно, окна были закрыты ставнями. Только после четвертого звонка он услышал шаги на лестнице, и кто-то загремел цепочкой и засовом. Дверь открылась, и он увидел Фриду. Она была в красном халате причудливого покроя и с лоскутным одеялом на плечах. Она все так же курила.

— Привет, — сказала Фрида. — А я думала, это полицейский. Ты пришел сыграть мне свою мелодию? Молодец. Входи.

Она не рассердилась и даже не удивилась. Так непривычно, но зато какое облегчение. Даже Папа, человек не совсем обычный, поднял бы страшный шум, вздумай кто-нибудь позвонить в его дом в два часа ночи.

— Есть хочешь? — спросила Фрида, первой поднимаясь по лестнице.

— Да, — сказал Найэл. — Откровенно говоря, хочу. Как вы догадались?

— Мальчики постоянно хотят есть, — ответила она.

Она зажгла свет в голой, неприбранной гостиной.

В комнате были несколько разрозненных предметов дорогой мебели, несколько хороших картин, но все это пребывало в полнейшем беспорядке. Повсюду была разбросана одежда, на полу валялся пустой поднос. Зато в комнате стоял рояль — единственное, что имело значение для Найэла.

— Вот, возьми, — сказала Фрида.

Она протянула ему кусок хлеба с маслом и двумя или тремя сардинками. С ее плеч все еще свисало лоскутное одеяло. Найэл рассмеялся.

— В чем дело? — спросила Фрида.

— У вас такой смешной вид, — ответил Найэл.

— У меня всегда такой вид, — сказала она. — Продолжай, ешь свой бутерброд с сардинами.

Бутерброд был очень вкусный. Найэл съел его и сделал другой. Фрида не дала себе труда ухаживать за ним. Она слонялась по комнате, приводя ее в еще больший беспорядок.

— Я упаковываюсь, — сказала она. — И если все разложу на полу, то пойму, на каком я свете. Тебе не нужна рубашка?

Из груды всякой всячины она вытащила клетчатую рубашку и бросила ее Найэлу.

— Эту рабочую рубашку я купила на Сардинии, но она мне слишком мала. Что значит иметь высокий рост.
— Осторожно, — сказал Найэл, — вы стоите на шляпе.

Фрида передвинула свои босые ноги, наклонилась и подняла шляпу. Это было огромное соломенное сооружение в форме колеса от телеги с двумя развевающимися лентами.

— Театральная вечеринка в саду лет пять назад, — сказала она. — Играли в кольца. Я стояла за прилавком, а кольца набрасывали на мою шляпу. Как ты думаешь, Марии она понравится?

— Она не носит шляп.

— Тогда я заберу ее в Париж. Если ее перевернуть, она вполне сойдет под блюдо для фруктов, апельсинов и всего прочего, — и Фрида бросила шляпу на груды одежды.

— Мне нечего предложить тебе попить, — сказала она. — Разве что можно приготовить чай. Хочешь чаю?

— Нет, благодарю вас. Я бы выпил воды.

— Вода в спальне, в кувшине. На кухне сломался кран.

Осторожно выбирая дорогу среди разбросанной по полу одежды, Найэл пошел в спальню. На умывальнике стоял полный кувшин воды; вода была холодной. Стакана нигде не оказалось, и Найэл попил прямо из кувшина.

— Иди сюда и сыграй свою мелодию, — позвала Фрида из гостиной.

Он вернулся в гостиную и увидел, что она стоит на коленях посреди комнаты и разглядывает пелерину из серебристой лисы.

— Мошь поела, — сказала она, — но не думаю, что кто-нибудь это заметит, если не подойдет совсем близко. Я ее у кого-то одолжила, да так и не вернула. Интересно, у кого.

Она поднялась с колен, села на корточки и задумалась, почесывая голову мундштуком, куря и одновременно жуя бутерброд. Найэл сел к роялю и начал играть. Он совсем не волновался: уж слишком много ему пришлось смеяться.

Рояль был превосходный. Он выполнял все, чего хотел от него Найэл, который знал, что, даже если бы он извлекал из инструмента самые ужасающие звуки, Фрида не стала бы возражать. Едва коснувшись клавиш, он забыл, что Фрида рядом с ним в комнате. Он думал о своей мелодии, и она лилась из-под его пальцев так, как надо. Да... именно это он и имел в виду. Ах, как волнующе, как весело. Ничто не имеет значения, кроме этого безумного поиска нужной ноты... Нашел. Еще, попробуй еще. Закрой глаза и прислушайся к ее звучанию. Но ты должен ощущать его и в ногах, и в кончиках пальцев, и под ложечкой. Вот оно, то, что надо. Он сыграл мелодию до конца, она получилась в танцевальном ритме; его старый прием игры в такт, но одним роялем здесь не обойтись. Нужен саксофон, нужен барабан.

— Вы понимаете, что я имею в виду? — спросил он, поворачиваясь на табурете. — Понимаете?

Фрида давно перестала складывать вещи. Она сидела на корточках, не шевелясь.

— Продолжай, — сказала она. — Не останавливайся. Сыграй еще раз.

Найэл снова заиграл, и на этот раз все получилось проще и лучше. Рояль был дьявольски хорош, лучше любого инструмента, к которому он когда-либо прикасался. Фрида поднялась с пола, подошла к Найэлу и остановилась рядом с ним. Она напела мелодию глубоким грудным голосом, затем насвистела ее, снова напела.

— А теперь сыграй что-нибудь еще, — попросила она. — Что ты еще сочинил? Любое, не важно что.

Найэл помнил куски и обрывки мелодий, которые время от времени приходили ему в голову, но ни одна из них не звучала в нем так явственно и отчетливо, как та, что родилась в тот вечер.

— Беда в том, — сказал он, — что я не могу их записать. Не знаю, как это делается.

— Ничего страшного, — сказала Фрида. — Это я могу устроить.

Найэл перестал играть и устался на нее.

— Правда, можете? — спросил он. — Но стоят ли они того, чтобы из-за них беспокоиться? То есть я хочу сказать, что они интересны только мне. Я сочиняю их для собственного удовольствия.

Фрида улыбнулась. Протянула руку и потрепала его по голове.

— В таком случае это время прошло, — сказала она. — Потому что отныне ты будешь проводить свою жизнь, доставляя удовольствие другим. Какой номер телефона у Папы?

— Зачем он вам?

— Просто я хочу поговорить с ним.

— Он еще на банкете, а если и дома, то уже спит. Когда я уходил, он был ужасно пьян.

— К утру он протрезвеет. Послушай, тебе придется вернуться в школу поездом, который отправляется позднее того, на котором ты собирался ехать.

— Почему?

— Потому, что перед тем, как уехать, ты должен записать свою мелодию. Если мы не сумеем сделать это вдвоем, то я знаю массу людей, которые сделают это лучше нас. Сейчас слишком поздно. Четверть четвертого. Такси ты уже не поймаешь. Можешь уснуть здесь на диване. Я свалю на тебя всю одежду. И возьми мое одеяло. А в восемь утра мы позвоним Папе.

— Он еще будет спать. И очень рассердится.

— Тогда в половине девятого. В девять. В десять. Послушай, ты растешь, и тебе необходим сон. Придвинь диван ближе к камину, и ты не замерзнешь. Хочешь еще сардин?

— Да, спасибо.

— Тогда ешь, пока я готовлю тебе постель.

Он доел хлеб, масло, сардины, а Фрида тем временем приготовила для него диван, положив на него шерстяные одеяла, пикейные одеяла и целый ворох одежды. Все это выглядело страшно неудобно, но Найэл не хотел говорить ей. Это могло бы ее обидеть, а ведь она такая милая, такая смешная и добрая.

— Ну вот. — Фрида отошла от дивана и, склонив голову набок, осмотрела свою работу.

— Ты уснешь, как младенец в своей колыбели. Тебе нужна пижама? Однажды кто-то оставил у меня пижаму.

Она сходила в спальню и вернулась с заштопанной во многих местах пижамой.

— Не знаю, чья она, — сказала Фрида, — но здесь она уже много лет. Не совсем чистая. А теперь, малыш, спи на несколько часов забудь про свою мелодию. Утром я приготовлю тебе кашу на завтрак.

Она потрепала Найэла по щеке, поцеловала и ушла из гостиной к себе в комнату. Через закрытую дверь он слышал, как она напевает его мелодию.

Он разделся, натянул пижаму, забрался под ворох одежды и, вытянувшись на диване, уперся ногами в подлокотник. Он согнул ноги, вздохнул и выключил лампу. Пружины, выступавшие в середине дивана, царапали спину, но он не обращал на это внимания. Куда хуже было то, что он не мог заснуть. Никогда в жизни не испытывал он такой бессонницы. Сочиненная им мелодия непрерывно звучала у него в ушах и никак не хотела уходить. Как мило, что Фрида обещала записать ее, но он не представлял себе, как это можно сделать, если утром ему надо возвращаться в школу. Школа... О Боже! Что за пустая трата времени. Пустая трата сил. Он ничему там не научился. Заканчивая последний семестр, по знаниям он не ушел дальше первого. В школе до него никому нет дела, им совершенно безразлично — жив он или умер. Интересно, подумал он, Папа и Селия уже вернулись домой? А Мария? Если Мария и вернулась, то вряд ли станет интересоваться, где он. Ей и без того есть о чем думать. Впереди ее ожидает столько дней и недель, и все они сулят радость и веселье. Недели веселья и приключений для Марии. Недели тоски и унылого однообразия для него.

Найэл повернулся на бок и натянул на уши лоскутное одеяло. Оно пахло чем-то неопределенным, похожим на смолу. Наверное, Фрида душится такими духами. Запах имеет большое значение. Если вам нравится, как от кого-то пахнет, значит, вам нравится и сам человек. Так говорил Папа, а Папа всегда прав.

Огонь в камине угас, и, несмотря на ворох одежды, на диване было холодно, холодно и уныло. Единственное, что в нем было приятного, так это лоскутное одеяло, пахнувшее смолой. Если бы Найэлу удалось забыть обо всем, кроме этого запаха смолы, он бы уснул. Тогда бы его ничто не тревожило. Тогда бы он согрелся. С каждой минутой ему становилось все холоднее, комната погружалась все в большую темноту, в ней становилось все неприветливее, все мрачнее. Словно в гробнице. Словно его погребли в гробнице и низкие своды навсегда сомкнулись над ним. Он скинул с себя ворох одежды, все, кроме лоскутного одеяла, которое прижимал к лицу, отчего запах смолы казался сильнее, чем прежде, нежный, ласкающий.

Найэл встал с дивана и ошупью пошел по темной комнате к двери. Он открыл дверь и остановился на пороге. Он слышал, как Фрида шевельнулась в темноте, повернулась на кровати и спросила:

— В чем дело? Тебе не спится?

Найэл не знал, что ответить. Не знал, почему поднялся с дивана, подошел к двери и открыл ее. Если он скажет, что ему не уснуть, она встанет и даст ему аспирина. Он терпеть не мог аспирин. Принимать его совершенно бесполезно.

— Ни в чем, — сказал он. — Просто... просто там очень одиноко.

Какое-то время она молчала. Казалось, она лежит во тьме и думает. Свет она не зажгла.

Затем она сказала:

— Тогда иди сюда. Я о тебе позабочусь.

И в голосе ее было столько глубины, доброты и отзывчивости... как в тот давний день, когда она подарила ему пачку миндального печенья.

Папа был очень пьян. Теперь, около трех часов ночи, большинство приглашенных разъехались, и за столом оставалось лишь несколько оловянных женщин и усталых мужчин. Папа уже не был забавен. Он достиг стадии слез. Внешне он совсем не изменился, не коверкал слов, не падал. Он просто плакал. Лево́й рукой он обнимал за плечи Селию, право́й какую-то незнакомую женщину, которой очень хотелось домой.

— Все они ушли и бросили меня, — говорил он, — все, кроме вот этого ребенка. Мария вылетела из гнезда, Найэл вылетел из гнезда, а этот ребенок остался. Она украшение семьи. Я всегда это говорил, говорил еще тогда, когда она трехлетней малышкой бродила по дому, засунув в рот палец, как младенец Самуил. Она украшение семьи.

На лице женщины справа от Папы застыла скука. Она очень хотела домой, но ей никак не удавалось поймать взгляд мужа. Если то был ее муж. Селия не знала. Никто не знал.

— У Марии все в порядке, — сказал Папа. — Она поднимется на самую вершину, в ней достаточно моей крови, чтобы подняться на самую вершину. Вы видели, что произошло сегодня? У Марии все в порядке. Но ей ни до кого нет дела, кроме себя. — По его щекам текли слезы. Он даже не пытался смахнуть их. Он упивался утешительной роскошью горя. — Взгляните на этого мальчика, — продолжал он, — взгляните на Найэла. Он не моя плоть и кровь, но я его вырастил. Чего бы он ни достиг в будущем, все это будет благодаря мне. Он мой приемный сын. И я считаю его своим. Я знаю каждую его мысль. Взгляните на него. Взгляните на этого мальчика. Придет время, и он кое-кого удивит. Но меня ему не удивить. И где же он? Ушел и бросил меня. Ушел, как и Мария. Остался только этот ребенок. Украшение семьи.

Он достал носовой платок и высморкался. Селия видела, как соседка Папы делает отчаянные знаки сидящему напротив мужчине. Она отвела взгляд. Ей было невыносимо тяжело думать, что они могут догадаться, что она заметила жесты этой женщины. Официанты устали и даже не старались скрыть, что им все давно надоело. К столу подошел метрдотель и положил на тарелку перед Папой аккуратно сложенный счет.

— Что это? — спросил Папа. — Кто-то хочет взять у меня автограф? У кого есть карандаш? Есть у кого-нибудь карандаш?

Официант кашлянул. Он старался не смотреть на Селию.

— Это счет, Папа, — шепнула Селия. — Официант хочет, чтобы ты оплатил счет.

Молодой официант, стоявший рядом с метрдотелем, хихикнул. То была агония.

— Право, нам надо идти, — сказала женщина и, встав из-за стола, отодвинула стул. — Прекрасный вечер. Мы получили огромное удовольствие.

Мужчина, сидевший напротив, наконец-то понял. Он тоже встал. Селия догадывалась, что, поскольку Папа пьян, они боятся, как бы им не пришлось разбираться со счетом. Чего доброго, так и будет — поэтому надо срочно уходить.

— Мы все уходим, — сказал Папа. — Оставаться никто не желает. Скоро во всем этом чертовом мире никого не останется. Пока у тебя есть наличные, они тут как тут, но где они, когда ты разорен? Мне придется подписать это. Я не могу заплатить наличными. Придется подписать.

— Все в порядке, сэр, — любезным тоном сказал метрдотель.

— Грандиозный вечер, — сказал Папа. — Грандиозный. Благодарю вас. Благодарю всех. Чудесный ужин. Чудесное обслуживание. Благодарю.

Он поднялся со стула и величавой походкой медленно направился к двери.

— Очаровательный малый, — сказал он Селии. — Просто очаровательный. — Он грациозно поклонился паре, вместе с ним вышедшей из зала. — Благодарю вас, что пришли, — сказал он, — мы должны снова встретиться в самое ближайшее время. Это был чудесный вечер.

Мужчина и женщина с удивлением посмотрели на Папу. Они не были из числа его гостей. Селия прошла мимо них; ее голова была высоко поднята, щеки пылали. С шубкой в руках она остановилась в дверях и стала ждать Папу. В гардеробе он провел целую вечность, и Селия подумала, что он никогда не придет. Наконец он появился в пальто, накинутом на плечи наподобие накидки, и в своей оперной шляпе, сдвинутой набок.

— Куда мы идем? — спросил он. — Дают еще один банкет? Мы все встречаемся где-нибудь еще?

Селия заметила, что швейцар старается скрыть улыбку.

— Нет, Папа, — сказала она. — Уже очень поздно. Мы едем домой.

— Как скажешь, дорогая. Как скажешь.

Они вышли на улицу; машина стояла на противоположной стороне. Держа Папу под руку, Селия перевела его через улицу. Кругом лежал снег. Зачем Папа отпустил шофера? Он всегда отпускал его. Нелепая совесть не позволяла Папе допоздна задерживать шофера, и он отправлял его домой спать. Папа стал шарить в карманах в поисках ключа, но не мог его найти.

— «Я должен встать и в Иннисфри идти», — начал он и далее без единой ошибки прочел все стихотворение, а произнес последние слова, вынул из кармана ключ. — Садись, моя дорогая, — сказал Папа. — Твои маленькие ножки совсем замерзли.

Селия села на переднее сиденье, и он опустился рядом.

— Холодная ручонка, — вполголоса пропел Папа и нажал на стартер. Никакого результата. Он снова и снова нажимал на стартер.

— Он промерз, — сказала Селия. — Все из-за снега.

Казалось, Папа не слышал и продолжал петь отрывки из «Богемы».

— Надо завести снаружи, — сказала Селия.

— «Я должен встать и в Иннисфри идти», — сказал Папа.

Очень медленно, очень осторожно он вышел из машины и остановился по щиколотки в снегу. Пальто соскользнуло с его плеч.

— Папа, надень пальто, — попросила Селия. — Очень холодно. Ты простудишься.

Он помахал ей рукой. Затем подошел к капоту машины и склонился над ним. Так он простоял довольно долго. Заводной ключ не поворачивался, издавая странные, безнадежные звуки. Наконец Папа подошел к дверце и через окно посмотрел на Селию.

— Моя дорогая, нам надо купить новую машину, — сказал он. — Похоже, эта уже никуда не годится.

— Садись и еще раз попробуй стартер, — сказала Селия. — Ничего страшного, просто мотор промерз.

Вдалеке она увидела полисмена. Он стоял к ним спиной, но в любую минуту мог направиться в их сторону. Он подойдет, заметит, что Папа пьян, а значит, не может управлять машиной, и сделает что-нибудь ужасное — например, заберет Папу на Вайн-стрит, и сообщение об этом появится в утренних газетах.

— Папа, сядь в машину, — настаивала Селия. — Скорее сядь в машину.

Он снова взгромоздился рядом с ней и нажал на стартер, но безрезультатно.

Были у меня славные друзья

В детские года, в школьные года.

Все умерли теперь, и нет знакомых у меня, —

продекламировал Папа. Потом сжался калачиком на сиденье и приготовился заснуть.

Селия заплакала. Но вскоре она услышала шаги по тротуару. Она опустила стекло и увидела молодого человека, который проходил мимо.

— Будьте добры, — попросила она, — не могли бы вы подойти на минуту?

Молодой человек остановился, повернулся и подошел к дверце машины.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— У нас не заводится машина, — ответила Селия. — А мой отец не совсем здоров.

Молодой человек посмотрел на Папу, сгорбившегося на переднем сиденье.

— Понятно, — бодро сказал он, — все ясно. И чего же вы от меня хотите? Заняться машиной или вашим отцом?

Селия закусила губу. Она почувствовала, что на глаза ей снова наворачиваются слезы.

— Не знаю, — ответила она. — Сделайте то, что считаете нужным...

— Сперва займись машиной, — сказал молодой человек.

Он подошел к капоту, наклонился над ним, как недавно Папа, и через несколько секунд мотор завелся.

Страхивая с рук снег, молодой человек вернулся к дверце.

— Вот и все, — сказал он. — А теперь, если не возражаете, пересядьте на заднее сиденье, а я передвину вашего отца туда, где сейчас сидите вы, и отвезу вас домой. Жаль его будить. Сон пойдет ему на пользу.

— Вы очень любезны, — сказала Селия. — Даже не знаю, как вас благодарить.

— Не стоит благодарности, — весело возразил молодой человек. — Днем мне приходится заниматься тем же. Я студент-медик. Работаю в больнице Святого Фомы.

Пока молодой человек занимался Папой, Селия пристально смотрела в окно. Происходившее на переднем сиденье слишком походило на связывание крыльев индюку. Простуде явно не хватало достоинства. Впрочем, если он студент-медик...

— Вот мы и устроились, — сказал молодой человек. — А теперь скажите мне ваш адрес.

Селия назвала адрес, и он повел машину к их дому.

— И часто такое случается? — спросил он.

— Ах нет, — поспешно ответила Селия. — Просто сегодня мы были на банкете.

— Понятно, — сказал молодой человек.

Селия боялась, что он спросит ее имя, ведь это могло бы повлечь за собой роковые последствия — он узнал бы, кто она, что Папа это Папа, и рассказал бы своим друзьям в больнице Святого Фомы, что недурно провел время, доставляя в стельку пьяного Делейни в его дом на Сент-Джонз Вуд в половине четвертого ночи. Однако он больше не задавал вопросов. Он был очень сдержан. Когда подъехали к дому и молодой человек остановил машину, Папа проснулся. Он выпрямился на сиденье и огляделся:

Ночь тушит свечи: радостное утро

На цыпочки встает на горных кручах.[33]

— Согласен, сэр, — сказал молодой человек. — Но каким образом вы намерены проложить курс к дому?

— Ваше лицо приятно, но мне незнакомо, — заметил Папа. — Мы раньше встречались?

— Нет, сэр, — ответил молодой человек. — Я студент-медик и работаю в больнице Святого Фомы.

— Ах! Мясник, — сказал Папа. — Знаю я вашего брата.

— Он очень помог нам, — начала Селия.

— Мясники, все как один мясники, — твердо объявил Папа. — Только и думают о ноже. Это больница Святого Фомы?

— Нет, сэр. Я только что привез вас домой.

— Весьма похвально, — сказал Папа. — У меня нет ни малейшего желания быть изрезанным на куски в больнице. Вы можете мне выйти из машины?

Студент-медик помог Папе подняться на крыльцо. Селия шла за ними, неся пальто и шляпу, которые Папа уронил в снег. Минутная заминка, пока Папа искал ключ, затем:

— Вы останетесь у нас? — спросил он. — Я забыл.

— Нет, сэр. Я должен вернуться. Благодарю вас.

— Заберите машину, друг мой, заберите машину себе. Я совершенно не разбираюсь, как работает эта чертова штука. Берите ее, она ваша. — Он медленно вошел в холл и включил свет. — Где Труда? Скажи Труде, чтобы она приготовила мне чай.

— Труда в больнице, Папа, — сказала Селия. — Я сама приготовлю тебе чай.

— В больнице? Ах да, конечно. — Он снова повернулся к студенту-медику: — Не исключено, что вы случайно встретитесь с верной Трудой, занимаясь своей резней. Она в одном из ваших моргов, — сказал он. — Славное преданное существо, провела с нами годы и годы. Будьте с ней помягче.

— Да, сэр.

— Вечно нож, — пробормотал Папа. — Только и думают о ноже. Мясники, все их племя таково.

Папа побрел в столовую и с отсутствующим видом огляделся по сторонам. Студент-медик взял Селию за руку.

— Послушайте, — сказал он, — что еще я могу для вас сделать? Вам нельзя оставаться с ним одной. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам.

— Не беспокойтесь, — сказала Селия. — Наверху мой брат. Я могу разбудить его. Все в порядке. Правда.

— Мне бы не хотелось оставлять вас, — сказал он. — Вы так молоды.

— Мне шестнадцать лет, — сказала Селия. — Я всегда ухаживаю за Папой. Я привыкла. Прошу вас. Не беспокойтесь обо мне.

— Это неправильно, — сказал он. — Совсем неправильно. Вот что я сделаю. Утром я позвоню вам. И вы

должны обещать, что скажете мне, если я могу быть вам чем-нибудь полезен.

— Я вам очень благодарна.

— Я позвоню около половины одиннадцатого. А сейчас поставлю машину в гараж.

— Как вы доберетесь до дому?

— Предоставьте это мне. Я прекрасно доберусь. До свидания.

Селия закрыла за ним дверь. Она слышала звук заведенного мотора, лязгнули двери гаража, машина въехала в него, двери захлопнулись. И больше ничего. Должно быть, он ушел. Внезапно она почувствовала себя одинокой и беспомощной. Она вошла в столовую. Папа все еще стоял посреди комнаты.

— Папа, поднимись наверх и ляг, — сказала она.

Папа нахмурился. Покачал головой.

— Вот и ты собираешься отвернуться от меня, — сказал он. — И ты собираешься бросить меня. Строишь планы бегства с этим мясником из больницы Святого Фомы.

— Нет, Папа, он ушел. Не говори глупостей. Пойдем, уже поздно, и тебе пора спать.

— «Острей зубов змеиных неблагодарность детища», [34] — сказал Папа. — Ты стараешься обмануть меня, моя дорогая.

Селия побежала наверх привести Найэла. Но его комната была пуста, и все в ней оставалось в том же виде, как перед его уходом в театр. Найэл не вернулся... Селия растерялась и от страха не знала, что делать. Она пошла по коридору к комнате Марии. Может быть, Марии тоже нет. Никого нет. Она отворила дверь в комнату Марии и зажгла свет. Нет, Мария вернулась. Она лежала на кровати и крепко спала. На туалетном столике была оставлена записка с надписью: «Селии». Она взяла ее и прочла: «Когда вернешься, не буди меня. Я для всех умерла. Скажи Эдит, чтобы утром ко мне не входила. Да еще скажи всем, чтобы не шумели». На столике лежала еще одна записка. «Найэлу» значилось на ней. После некоторого колебания Селия взяла ее и тоже прочла. Она была гораздо короче: «Дуться вовсе не обязательно».

Селия посмотрела на спящую Марию. Та лежала, положив голову на ладони, — привычка, сохранившаяся с детства, с тех пор, когда они вдвоем жили в одной комнате. Она старшая, подумала Селия, она старше Найэла, старше меня, но по какой-то непонятной причине всегда будет казаться младшей из нас троих. На пальце Марии поблескивало подаренное Найэлом кольцо. Голубой камень оставил слабый след на щеке. Но блестело не только кольцо: из-под подушки Марии высовывался какой-то предмет. Селия наклонилась получше рассмотреть его и увидела золотой портсигар. Мария глубоко вздохнула и пошевелилась во сне. Селия на цыпочках вышла из комнаты и осторожно затворила за собой дверь.

Она спустилась вниз к Папе.

— Пожалуйста, ложись спать, — сказала она. — Папа, пожалуйста, прошу тебя, иди спать.

Она взяла его за руку, и он позволил отвести себя наверх. Оказавшись в своей комнате, он грузно опустился на кровать и заплакал.

— Вы все хотите бросить меня, — сказал он, один за другим. Вы все разъедетесь и бросите меня.

— Я никогда тебя не брошу, — успокаивала его Селия. — Обещаю тебе. Папа, пожалуйста, разденься и ляг.

Он стал возиться со шнурками вечерних туфель.

— Я так несчастен, — сказал он, — так ужасно несчастен, дорогая.

— Знаю, — сказала Селия, — но утром все будет в порядке.

Она опустила рядом с ним на колени и расшнуровала ему туфли. Помогла снять смокинг, жилет, воротничок, галстук и рубашку. Дальнейшее было выше ее сил. Он повалился на кровать и лежал, покачивая головой из стороны в сторону. Селия укрыла его одеялом.

— Все живо в памяти, но горе позабыто... Да, горе позабыто... Горе позабыто...

— Да, Папа. А теперь спи.

— Ты так добра ко мне, дорогая, так добра.

Он не выпускал ее руку, а она не хотела отнимать ее, опасаясь, что он снова заплачет. Так она и осталась стоять на коленях перед кроватью. Через мгновение Папа заснул, и его дыхание стало таким же глубоким, как у Марии. Оба они спали. Ничто их не волновало, ничто не заботило. Селия попробовала выдернуть руку, но Папа крепко сжимал ее. Так и не высвободив своей руки, она припала к полу, прислонилась головой к кровати и закрыла глаза — она слишком устала... Я никогда не убегу, подумала она, никогда, никогда не убегу... Чтобы хоть немного утешиться, Селия мысленно представила себе картину, изображающую бессмертие. Ее населяли сказочные существа с крыльями на ногах с золотистыми волосами; их царство находилось ни на Земле, ни на Небе. Они были облачены в радужные блестящие одежды, и над их головой никогда не заходило солнце.

Когда-нибудь я нарисую все это для детей, сказала сама себе Селия, когда-нибудь я нарисую это так, как мне видится, и только дети поймут меня... Папа спал, не выпуская ее руки; было холодно, и тьма окутывала ее непроницаемой пеленой.

Разбудил ее телефон. Она вся окоченела, руки и ноги не слушались. Сперва она не могла пошевелиться. Телефон не умолкал. Наконец Селия сумела дотянуться до столика у кровати. Часы показывали половину девятого. Значит, она все-таки заснула. Она проспала три часа.

— Кто это? — шепотом спросила Селия.

Ответил женский голос:

— Могу я поговорить с мистером Делейни?

— Он спит, — так же шепотом сказала Селия. — Это его дочь.

— Селия или Мария?

— Селия.

Последовала пауза, и на противоположном конце провода послышался приглушенный разговор. И вдруг к своему удивлению Селия услышала чистый мальчишеский голос Найэла.

— Алло, — сказал он. — Это Найэл. Надеюсь, Папа не очень обо мне беспокоился?

— Нет, — ответила Селия. — Он ни о ком не беспокоился.

— Хорошо, — сказал Найэл. — Полагаю, он еще не пришел в себя?

— Нет.

— Ладно. Тогда нам придется позвонить позже.

— Сейчас половина девятого, Найэл. Как твой поезд?

— Я не еду. Я не собираюсь возвращаться в школу. Я остаюсь здесь, с Фридой.

— С кем?

— С Фридой. Ты ее помнишь. Вчера она была на банкете.

— Ах. Ах да. Что значит — остаешься с ней?

— То и значит. Я не вернусь в школу и не приду домой. Через два дня мы уезжаем в Париж. Я позвоню позже. — И он повесил трубку.

Селия не выпускала трубку из руки, пока девушка с коммутатора не спросила: «Номер, пожалуйста». Только тогда она нажала на рычаг. Боже мой, о чем говорил Найэл? Наверное, это шутка. Фрида действительно была на банкете — высокая, приятная женщина с безумным видом, знакомая Папы и Мамы. Но зачем так шутить в половине девятого утра? Папа крепко спал. Теперь Селия могла спокойно оставить его. Она так устала и замерзла, что едва держалась на ногах. Она услышала, как Эдит внизу раздвигает портьеры, и спустилась предупредить, чтобы та не заходила к Марии. Затем поднялась к себе в комнату переодеться. Из зеркала на нее смотрело измученное, пожелтевшее лицо, платье сильно измялось. Как ужасно выглядят утром люди в вечерних платьях.

Что Найэл имел в виду, говоря, что едет в Париж? Она слишком устала для того, чтобы разгадывать загадки, слишком устала, чтобы беспокоиться. Хорошо бы провести день в постели, но Труды нет, значит, это невозможно. Она понадобится Папе, понадобится Марии. К тому же... обещал позвонить студент-медик. Она приняла ванну, позавтракала и, одевшись, снова пошла по коридору в Папину комнату.

Он уже проснулся и, сидя на кровати в халате, ел вареное яйцо. Выглядел он бодрым и подтянутым, словно проспал не пять, а двенадцать часов.

— Привет, моя дорогая, — сказал он. — Мне приснилось несколько совершенно поразительных снов. И во всех них какой-то малый из больницы старался вспороть мне живот кухонным ножом.

Селия села на край кровати.

— Должно быть, я выпил слишком много шампанского, — сказал Папа.

Зазвонил телефон.

— Займись им, дорогая, — попросил Папа, продолжая выбирать ложкой яйцо из скорлупы и макать кусочки тоста в желток.

— Звонит эта особа... Фрида, — сказала Селия, протягивая ему трубку. — Она уже звонила, когда ты спал. Она хочет поговорить с тобой.

Селия и сама не смогла бы объяснить, почему она соскользнула с кровати, подошла к двери, открыла ее и вышла в коридор. Она чувствовала беспокойство и непонятную неловкость. Оставив Папу разговаривать, она пошла посмотреть, не проснулась ли Мария.

Мария сидела на кровати, вокруг нее были разбросаны газеты.

— Ну, наконец-то, — сказала она, — я думала, ты никогда не придешь. Все хорошие. А в «Дейли Мейл» так просто отличная. Большая заметка и целиком обо мне. В «Телеграф» еще одна и тоже обо мне. Только одна рецензия не слишком доброжелательная, но и то главным образом по поводу пьесы, так что не важно. Взгляни, ты должна их прочесть. Садись. Что говорит Папа? Папа их видел? Папа доволен?

— Папа только что проснулся, — сказала Селия. — Он разговаривает по телефону.

— С кем? О чем, о спектакле?

— Нет. С этой женщиной, Фридой. Знаешь, та, которая жила в Париже. Кажется, Найэл сейчас у нее. Я ничего не понимаю.

— Как может Найэл быть у нее? Что ты имеешь в виду? Он, наверное, давно уехал. Его поезд отходит в девять часов.

— Нет, — сказала Селия, — нет. Он еще в Лондоне.

В коридоре загрели раскаты Папиного голоса.

— Мне надо идти, — сказала Селия. — Папа зовет меня.

С сильно бьющимся сердцем она побежала по коридору. Папа еще разговаривал по телефону.

— Проклятие, — кричал он. — Ему только восемнадцать. Повторяю, я не позволю совращать мальчика. В жизни не слышал ничего более чудовищного. Да, конечно, он умен, конечно, способен. Все это я твержу его чертовым учителям уже не один год. Никто меня не слушает. Но если мальчик умен и талантлив, это еще не значит, что я сдам его тебе на руки, чтобы ты совратила его... Париж? Нет, клянусь Богом, нет! Мальчик восемнадцати лет! Что значит голодает? Я никогда не морил его голодом. Он ест все, что захочет. Боже мой, подумать только, что не кто-нибудь, а ты, один из моих ближайших друзей! И такой удар в спину! Да, да, это изнасилование, совращение и... удар в спину!..

Пылая гневом, он все говорил и говорил, а Селия тем временем стояла на пороге. Наконец он с грохотом бросил трубку.

— Что я тебе говорил? — сказал Папа. — Вот кровь его отца и дала о себе знать. Гнилая французская кровь его отца. Мальчик восемнадцати лет уходит из дома и спит с одной из моих самых старых приятельниц.

Селия в волнении смотрела на него. Она не знала, что сделать, что сказать.

— Я добьюсь, чтобы эту женщину выдворили из Англии, — сказал Папа. — Я не позволю. Ее выдворят из Англии.

— Найэл сказал, что она уезжает в Париж, — заметила Селия, — и он едет с ней.

— В нем говорит его гнилая кровь, — сказал Папа. — Я так и знал. Всегда предвидел что-нибудь подобное. И ведь не кто-нибудь, а Фрида. Пусть это послужит тебе урюком, моя дорогая. Никогда не доверяй ни мужчинам, ни женщинам с карими глазами. Они обязательно подведут. Чудовищно, такого нельзя простить. В «Гаррике» об этом обязательно узнают. Я всем расскажу. Я расскажу всему свету...

В комнату вошла Мария; она зевала и держала руку над головой.

— Вокруг чего такой шум? В чем дело? — спросила она.

— В чем дело? — завопил Папа. — Лучше спроси, в ком. В Найэле. В моем приемном сыне. Совращен моей старинной приятельницей. Господи! До чего я дожил. А ты? — И он обвиняющим жестом указал на Марию. — Ты когда пришла? Когда вернулась домой?

— Раньше тебя, — ответила Мария. — В половине первого я уже спала.

— Кто тебя привез?

— Один знакомый из театра.

— Он целовал тебя?

— Папа, я, право, не понимаю...

— Ха! Ты не понимаешь. Мою дочь привозят среди ночи и сваливают в доме, как мешок угля, а моего приемного сына совращают. Прекрасная ночь, скажу я вам. А тут еще один обивает пороги, притворяясь, будто работает в больнице Святого Фомы. Прекрасная ночь для всей семьи Делейни. Ну, что скажете?

Сказать никто ничего не мог. Все и без того было сказано...

— Вот газеты, — сказала Мария. — Не хочешь почитать, что пишут о спектакле?

Папа протянул руку и, не говоря ни слова, взял газеты. Он скрылся с ними в ванной и с шумом захлопнул дверь. Мария пожала плечами.

— Если он и дальше будет так вести себя, — сказала она. — Это просто нелепо... Ты ужасно выглядишь. В чем дело?

— Я почти не спала, — сказала Селия.

— Какой номер телефона? — спросила Мария. — Придется мне самой позвонить и выяснить, в чем тут дело.
— Чей номер?

— Фриды, конечно. Я должна поговорить с Найэлом.

Она спустилась вниз и закрылась в малой гостиной, где был еще один телефон. Там она пробыла довольно долго и вышла бледной и раздраженной.

— Это правда, — сказала она. — Найэл не вернется в школу. Со школой покончено. Он собирается жить с Фридой в Париже.

— Но... она присмотрит за ним? — спросила Селия. — С ним все будет в порядке?

— Конечно, будет, не говори глупостей, — сказала Мария. — И с ним будет его музыка. А это все, что его интересует, — его музыка.

На какое-то мгновение Селии показалось, что Мария вот-вот расплчется. Мария, которая презирала малейшее проявление слабости и ни разу не уронила ни единой слезы. У нее был растерянный, испуганный вид человека, неожиданно обнаружившего, что он всеми покинут. Но вот снова зазвонил телефон. Селия пошла в малую гостиную снять трубку. Когда она вернулась, Мария все еще стояла на нижней ступени лестницы.

— Это тебя, — сказала Селия. — Сама знаешь кто.

— Он сам или его секретарь?

— Он сам.

Мария снова вошла в малую гостиную и плотно закрыла за собой дверь.

Селия стала медленно подниматься по лестнице. У нее болела голова, но ей не хотелось ложиться в постель. Если она ляжет, то пропустит звонок студента-медика. Когда она свернула в коридор, Папа с газетами в руках выходил из ванной.

— А знаешь, они действительно очень хороши, — сказал он Селии. — Положительно хороши. Все, кроме той, что написал этот ничтожный простофиля из «Дейли». Интересно, кто бы это мог быть. Я позвоню редактору. Его уволят. Послушай-ка одну заметку из «Мейл». Она озаглавлена «Еще один триумф Делейни. Его добивается второе поколение».

Широко улыбаясь, Папа начал вслух читать заметку. Про Найэла он уже забыл.

Селия вернулась в свою комнату, села и стала ждать. Телефон звонил все утро. Но не ей. Непрерывно звонили самые разные люди, чтобы поздравить Марию. Когда в половине первого позвонила Фрида, Папа по-прежнему не стеснялся в выражениях, хоть и не в такой степени, как в половине одиннадцатого. Разумеется, он никогда не простит ей, но, что правда, то правда, в школе мальчик действительно попусту тратит время, и если у него и впрямь такой мелодический дар, как настаивает Фрида, то ему и в самом деле лучше поехать в Париж и заняться изучением нотной грамоты. Но мальчик восемнадцати лет...

— Возможно, вчера вечером он и был мальчиком, — возразила Фрида, — но, уверяю вас, сегодня утром он уже мужчина.

Чудовищно. Постыдно. Но какова история для «Гаррика». На ленч в свой клуб Папа отправился в состоянии радостного негодования.

И пока Найэл сидел на полу в гостиной Фриды на Фоли-стрит и ломаной вилкой ел омлет, пока Мария сидела в «Савое» за столиком рядом с окном, выходившим на Набережную, и ела устриц а-ля Балтимор, Селия сидела совсем одна в столовой на Сент-Джонз Вуд, ела чернослив со сливками и ждала, не зазвонит ли телефон. Но он так и не зазвонил. Студент-медик все-таки не узнал Папу. А спросить ее имя просто забыл.

Глава 13

А были ли мы счастливы в молодости? Возможно, это только иллюзии? Возможно, и тогда время текло так же, как сейчас, когда каждый из нас троих приближается к пятому десятку; разве что немного медленнее.

Просыпаться утром было легче, с этим мы согласны. Ведь сон был крепок. Не те судорожные урывки между часами бессонницы, как теперь. Пятнадцать лет назад каждый из нас мог лечь спать в три часа утра и, чем бы ни занимался до этого, как усталый щенок, свалиться на подушки. Сон приходил сразу, глубокий, приносящий забвение, мертвый сон. У каждого из нас была своя излюбленная поза. Мария лежала на боку — одна рука под щекой, другая закинута за голову. Селия засыпала на спине — руки вытянуты по швам, но край пухового одеяла натянут под самый подбородок. Найэл всегда спал, как младенец во чреве матери. Он лежал на правом боку,

скрещенные на груди руки касаются плеч, спина выгнута, колени подтянуты к середине туловища.

Говорят, что во сне обнажается наша скрытая сущность, потаенные мысли и желания ясно отражаются на наших лицах и в наших позах; но никто кроме ночной тьмы их не читает.

Мы и сегодня не изменяем своим позам, но мы мечемся, ворочаемся; и порой проходят часы, прежде чем мы забываемся сном; и, когда просыпаемся в тиши медленно занимающегося рассвета, вместе с нами просыпаются птицы. И машины на улицах города ревут голодным воем уже в семь, уже в половине седьмого утра. А бывало, пробьет десять, даже одиннадцать утра, прежде чем мы страхнем с себя сон, зевнем, потянемся, и новый радостный день откроется перед нами подобно чистым страницам дневника, белым, манящим, ждущим, когда их заполнят.

Для Марии это был весенний Лондон...

С приходом первых апрельских дней что-то неуловимое проникает в воздух, касается вашей щеки, отзывается во всем вашем теле, и тело оживает. Окна широко распахнуты. В Сент-Джонз Вуд весело щебечут птицы, а на голой ветке невысокого, закопченного дерева сидит черный дрозд. Немного дальше по дороге, в саду перед небольшим домом вот-вот зацветет миндаль — бутоны уже набухли и налились жизнью.

В такой день вода в ванной бежит свежо и свободно, с громким плеском льется из кранов, и, пока она журчит под ногами, вы поете, поете так искренне и чисто, что голос ваш заглушает шум водного потока. Как странно, думала Мария, густо намыливаясь, если принимаешь ванну вечером, то живот такой круглый и надутый, а утром плоский и твердый, как доска.

Приятно быть плоской. Приятно быть твердой. Приятно иметь такую фигуру, а не как у некоторых — с большими жирными ягодицами, которые при ходьбе трутся друг о друга, и с могучей грудью, которую приходится чем-то подпирать, чтобы она держалась на месте. Хорошо иметь кожу, которой ничего не надо, кроме крема и пудры, и волосы, по которым достаточно пройтись гребнем два раза в день, и они не растреплются. У нее было новое зеленое платье с кушаком на золотой пряжке. Была и золотая брошь, которую подарил ей ОН. Брошь она надевала, только выходя из дома, — Папа мог увидеть и спросить, кто ее ей подарил. Труда однажды увидела брошь на туалетном столике.

— На деньги, что тебе платит твое начальство, такую не купишь, — заметила она. — Учти, я не задаю вопросов, а просто говорю, что есть на самом деле.

— Это премия, — сказала Мария. — То, что дают, когда ты бываешь умной девочкой.

— Хм. Если ты проживешь жизнь, как начала, то ко времени ухода со сцены у тебя будет целый ящик таких премий.

Ах, Труда всегда была сварливой, безмозглой старухой, ей ничем не угодишь. Ворчит даже в прекрасный апрельский день: весна, видите ли, вредна для ее ноги. Весна вредна не для ноги Труды. Весна вредна для ее души, потому что Труда старая...

Шляпу надевать? Нет, шляпу она надевать не станет. Даже когда она надевает шляпу, он просит ее снять.

Что же солгать сегодня? Вчера был утренний спектакль, и лгать не пришлось. Но на четверг надо что-нибудь придумать. С четвергами сложнее всего. Всегда есть покупки, но не станешь же целый день ходить по магазинам. Кино. Кино с подругой. Но что, если назовешь картину, которую не видела, а Папа видел и попросит рассказать о ней? В том-то и заключается главная сложность жизни в семье. Вскрытие трупа прошедшего дня. А что ты делала в половине четвертого, если ленч закончился в половине третьего, а сеанс в кино начался только в пять? Своя квартира — это было бы великолепно. Но она слишком дорого стоит. И все же...

— Клянусь Богом, ты выглядишь, как ответ на чью-то молитву, — сказал Папа, когда она зашла к нему пожелать доброго утра. — Никакой надежды на то, что для разнообразия ты пригласишь своего старого отца на ленч?

Ну вот, началось.

— Извини, Папа. У меня очень загруженный день. Все утро — покупки. Потом ленч с Джуди. Я обещала ей еще несколько недель назад, потом мы, может быть, пойдем в кино. Хотя не знаю — это зависит от Джуди. Домой вернусь не раньше половины седьмого.

— Я слишком мало тебя вижу, дорогая, — сказал Папа. — Мы живем в одном доме, ты спишь в нем, вот, кажется, и все. Иногда я спрашиваю себя — да и спишь ли ты здесь.

— Ах, не говори глупостей.

— Хорошо. Хорошо. Иди и развлекайся.

И Мария вышла из комнаты и, напевая, дабы показать, что у нее чистая совесть, сбежала по лестнице, прежде

чем Папа успел еще о чем-то спросить ее. Она предприняла безуспешную попытку выскользнуть из дома, прежде чем Селия выйдет из малой гостиной. У Селии было озабоченное лицо, во рту она держала карандаш. Она занималась Папиными письмами.

— Ты очень элегантна, — сказала она Марии. — Мне нравится такой зеленый цвет. Платье, наверное, страшно дорогое?

— Ужасно. Но я еще не заплатила. И не заплачу, пока мне не пришлют письмо, где будет написано: «Мадам, мы желаем обратить Ваше внимание...»

— Пожалуй, нет никакой надежды на то, что ты съездишь с Папой на ленч в Лондон?

— Никакой. А что такое?

— Да нет, ничего. Просто сегодня он, кажется, не склонен ехать в «Гаррик» и совсем свободен. Какой прекрасный день.

— С ним можешь съездить ты.

— Да... Но мне так хотелось заняться рисунком. Помнишь, я тебе показывала — заблудившийся ребенок стоит у ворот...

— Тебе лучше отложить его на два дня. Нельзя заканчивать рисунок за один присест.

— Не знаю... Раз я что-то начала, то не люблю отрываться. Я люблю работать над рисунком, пока не закончу его.

— Ну, сегодня я не могу с ним поехать. У меня весь день занят.

Селия посмотрела на Марию. Она знала. Она не задавала вопросов.

— Да, понятно, — сказала она. — Что ж, желаю приятно провести время.

Все с тем же озабоченным выражением лица Селия вернулась в малую гостиную. Мария открыла входную дверь в ту самую минуту, когда Труда поднималась с цокольного этажа.

— Ты вернешься к ленчу?

— Нет, не вернусь.

— Хм. К обеду?

— Да, к обеду вернусь.

— В таком случае не опаздывай. Мы обедаем в четверть седьмого, специально для тебя, из-за спектакля, так что будь любезна, приходи вовремя.

— Хорошо, Труда. Не ворчи.

— На тебе новое платье. Красивое.

— Рада, что тебе у меня хоть что-то нравится. До свиданья.

Мария быстро спустилась по ступенькам крыльца и побежала по дороге; и теплый ветер дул ей в лицо, и мальчишка-рассыльный, что-то насвистывая и улыбаясь, катил на велосипеде. Она скорчила ему мину и оглянулась через плечо: какое блаженство быть вдали от дома, вдали от семьи, вдали от всего... и идти в Риджент-парк, усыпанный крокусами, желтыми, белыми, розово-лиловыми; его машина ждет, он сидит за рулем... Машина припаркована в обычном месте, между Святым Дунстаном и Зоологическим садом. Верх машины поднят, на заднем сиденье множество пледов, корзина со всем необходимым для пикника, и по пути за город они поют, поют оба во весь голос. Нет и не было на свете ничего веселее, чем делать то — и вам это прекрасно известно, — чего делать не следует. Известно это и тому, кто сидит рядом с вами, но... и весеннее утро сияет вокруг, и ветер развеивает волосы. И все это тем более волнует и возбуждает оттого, что он, этот некто старше ее, он похож на Папу, и прохожие всегда провожают его долгими, любопытными взглядами. И вот вместо того, чтобы присутствовать на собрании, на завтраке или выдавать призы студентам, он везет ее за город, сидит здесь, в машине, рядом с ней. Оттого она и была так счастлива, оттого и пела. Все происходящее так напоминало детскую игру в индейцев, в которую она играла с Найэлом и Селией, всегда беря себе роль индейского вождя и расхаживая со скальпом на поясе. Она и до сих пор играла в индейцев... Он говорил ей о театре, о своих планах.

— Когда мы отыграем эту пьесу, — говорил он, — то поставим то-то и то-то. Вы сыграете роль девушки, вы просто созданы для нее.

— Я? А я не слишком молода для этой роли? Я имею в виду последний акт, когда она возвращается постаревшей...

— Нет, — сказал он. — Вы можете это сыграть. Вы сможете сыграть что угодно, если я покажу вам, как это делать.

Он говорит, что я могу сыграть все, подумала Мария, он говорит, что я могу сыграть все, а ведь мне только

двадцать один год.

Машина набрала скорость и, обгоняя другие машины, помчалась по гладкой прямой дороге за город; нежный, теплый апрельский ветер доносил аромат раkitника, но Мария обращала на него так же мало внимания, как на летящую из-под колес пыль.

Под теплым солнцем бутерброды с яйцом и холодный цыпленок казались особенно вкусными, а виноград отливал нежным золотисто-восковым цветом. Даже джин с вермутом, который пили прямо из горлышка серебряной фляжки, имел более приятный вкус, чем когда его пьешь из старинного бокала; кроме того, он булькал в горле, вы задыхались, и вам приходилось одалживать носовой платок. И это тоже было весело. На воздухе все веселее. Пойдет дождь, ну и пусть — в машине есть пледы и зонты.

Дик сказал: коль льет снаружи,
Будем прыгать мы по лужам... (*)

Эти строчки пришли ей на память, когда она лежала в поросшей травой ложбинке и вдруг пошел дождь. Она затряслась от беззвучного смеха — ведь это так смешно.

— Над чем вы смеетесь? В чем дело? — спросил он.

Что на это ответить? Мужчины так обидчивы и ранимы. Они не понимают, что смех неудержимым потоком нападает на вас часто, слишком часто; что вы вдруг ни с того ни с сего подумали о чем-то совершенно нелепом. Например, о том, что у него длинные уши, как у фарфорового кролика, который стоит у вас на камине, а разве можно быть серьезной, когда вспомнишь такое? Или что в голове у вас вдруг мелькнуло: «Проклятье, не забыть бы о визите к дантисту в пятницу утром». Или в ту самую минуту, когда он крайне сосредоточен, а вы лениво переводите взгляд с предмета на предмет и замечаете прямо над своей головой усыпанную почками ветку, вам приходит на ум, что неплохо бы взять ее домой, поставить в воду и наблюдать, как почки превращаются в листья. Впрочем, не всегда. Иногда вы не думаете ни о земном, ни о небесном, а лишь о том, что важен только данный миг, что землетрясение может разверзнуть землю и поглотить вас, а вы этого даже не заметите.

Что есть более покойного и сладостно-дремотного, чем закат солнечного весеннего дня? Возвращение в Лондон. Проходящие мимо машины. Ни мыслей, ни чувств, полное молчание. Вы сидите в нескольких пледях — чем не кочан капусты? Затем зевок, рывок в реальность, и нарастающий шум уличного движения окончательно возвращает вас в окружающий мир.

Время зажигать огни; витрины в магазинах предместий ярко освещены, люди, толкая друг друга, идут по тротуарам. Женщины с продуктовыми корзинами, женщины с ручными тележками, огромные грохочущие автобусы, скрежещущие трамваи и человек на одной ноге, протягивающий поднос с фиалками: «Свежие фиалки. Прекрасный букет свежих фиалок». Но фиалки покрыты пылью — они целый день пролежали на подносе. На вершине Хампстед-Хит народ еще не разошелся с пруда. Мальчики с палками, девочки без пальто зовут лающих собак. Маленькая парусная лодка, брошенная хозяином, покачивается на середине пруда.

На склоне холма усталые, раздраженные люди бредут к станции метро, а внизу подобно огромному заднику на пустой сцене лежит Лондон.

Машина остановилась в раз и навсегда установленном месте на Финчли-роуд.

— До скорого, — сказал он, касаясь пальцами ее лица.

Машина набрала скорость и умчалась, а Мария услышала, как часы на углу пробили половину седьмого. Она успела вовремя и не опоздает к обеду.

Как хорошо, подумала Мария, что после занятий любовью не остается следов. Лицо не зеленеет, волосы не обвисают. А ведь Бог вполне мог сделать, чтобы так и было. И тогда конец. Никакой надежды. Папа узнал бы. Что ж, во всяком случае, здесь Бог на ее стороне.

Папа уже вернулся. Ворота гаража закрыты. Если бы его не было дома, ворота были бы открыты. Войдя в холл, Мария увидела Эдит, которая несла в столовую поднос с бокалами и столовым серебром. В запасе еще пять минут. Быстро в ванную, быстро привести лицо в порядок. Потом неизбежный удар гонга.

— Ну, моя дорогая? Как прошел день?

Селия была союзником. Она всегда приходила ей на выручку, принимаясь рассказывать про то, чем они сами занимались — она и Папа.

— Ах, Мария, ты бы так смеялась. Мы видели презабавного маленького старичка... Папа, расскажи Марии

про маленького старичка.

И Папа, радуясь возможности поговорить и погрузиться в прошедший день, забыл про Марию. Наспех съеденный обед, который мог бы быть весьма напряженным, прошел быстро и благополучно, без прямых вопросов, без прямых ответов.

— Господи! Половина восьмого, я лечу.

Поцелуй в лоб Папе, улыбка и кивок Селии, крик Эдит, узнать, не пришло ли такси. Только Труда, бросив взгляд на туфли Марии, нарушила безмятежность дня:

— Была за городом, ведь так? У тебя грязь на каблуках. Как не стыдно так измять пальто.

— Грязь — пустяки, пальто отгладится. И будь любезна, скажи этой глупой девчонке, чтобы она поставила у моей кровати термос, но горячий, а не чуть теплый. Доброй ночи, Труда.

В театре: «Добрый вечер» — привратнику, «Добрый вечер, мисс» — и по коридору в уборную, бросив быстрый взгляд на его закрытую дверь. Да, он уже здесь; за дверью слышен его голос. Забыта недавняя апатия; теперь Мария возбуждена, бодра и готова к предстоящему вечеру. А как заманчиво будет при всех сказать ему: «Привет, какой замечательный день», словно они только что встретились, а не расстались два часа назад. Будем притворяться, будем играть. Постоянно притворство, постоянно игра. А как забавно время от времени намекать, что она знает его гораздо лучше, чем остальные; словно ненароком обронить при случае: «Ах да, он сказал, что у нас будет дополнительный утренний спектакль». — «Когда? Когда он вам об этом сказал?» — «Ах, не помню. Два дня назад за ленчем». И молчание. Выразительное молчание. И несомненная враждебность. Марии было все равно. Что ей до их враждебности?

Стук в дверь.

— Сегодня зал битком. В амфитеатре стоят, — прозвучал чей-то голос. — В первом ряду мой приятель.

— Правда? — сказала Мария. — Надеюсь, он доволен.

Кого интересуется приятель этой недотепы?

Через полчаса она, Мария, ждала в кулисах. Слышала его голос — он стоял у декорации, изображавшей окна, спиной к публике и строил ей мины; он только что произнес смешную реплику, и, пока она ожидала своего выхода, до нее докатились теплые, дружелюбные волны смеха. Атмосфера теплоты и дружелюбия царила в зале, на сцене, и Мария перед самым своим выходом тоже построила ему мину. И так они снова кого-то дурачили. Не важно кого — Папу или Трудю, его тоскливую жену или назойливого секретаря, труппу или публику... Они показали бы «нос» всему свету, самой жизни: ведь стояла весна, цвел апрель, а Марии шел только двадцать второй год, и ей было все нипочем.

Для Найэла это был Париж в разгаре лета...

Квартира помещалась в довольно грязном квартале в стороне от авеню Нейи, но комнаты были просторными с балконами за высокими окнами, и, если становилось слишком жарко, можно было закрыть ставни. За домом был небольшой двор, где жила консьержка; в темном, мрачном дворе постоянно что-то проветривалось, бродили кошки, отправляя свои потребности, но запах чеснока был сильнее кошачьего запаха, запах табака «Sarogal», который курил прикованный к постели муж консьержки, убивал все прочие запахи.

Квартира находилась на шестом этаже, окна выходили на улицу и парижские крыши. Справа от них вдали виднелись верхушки деревьев Булонского леса и рю де Нейи, поднимавшаяся к площади Звезды. Гостиная была почти пустой, но уютной. Фрида выбросила из нее громоздкую мебель и купила разрозненные предметы из нескольких гарнитуров, которые время от времени пополняли убранство ее апартаментов: старинный нормандский шкаф для посуды, стоявший в углу, раздвижной стол с открывающейся крышкой и, конечно, картины, коврики, ковровые дорожки. Но главным украшением гостиной был рояль — кабинетный «Стейнвей». Для Найэла это была единственная вещь, заслуживающая внимания, поскольку, будь комната обставлена хоть бамбуковой мебелью, он бы ничего не имел против.

В спальне, которая тоже выходила на улицу, стояли кровать Фриды, большая и удобная, и маленький жесткий диван, купленный специально для Найэла: Фрида не могла постоянно держать его в своей кровати, говоря, что это мешает ей заснуть.

— Но я не лягаюсь, — возражал Найэл. — Я лежу тихо и не шевелюсь.

— Знаю, ягненок, но я все равно чувствую, что ты рядом. У меня всегда была отдельная кровать, и я не хочу менять своих привычек.

Найэл окрестил свой диван Санчо Пансой. Маленький диван рядом с большой кроватью напоминал ему иллюстрации Гюстава Доре к «Дон Кихоту» — маленький белый пони рядом с высоким конем. Найэл

просыпался утром на Санчо Пансе и бросал взгляд на кровать Фриды, проверить, спит она или нет; но под простынями никогда не вырисовывались округлости лежащей фигуры. Фрида уже встала. Она всегда рано вставала. Некоторое время Найэл лежал на диване и через раскрытое окно смотрел на голубое небо, прислушиваясь к ни с чем не сравнимым парижским звукам, которые с самого раннего детства вошли в его плоть и кровь.

День обещал быть знойным. Воздух уже дышал белым августовским жаром. Розы, купленные вчера Фридой, увяли и поникли головками. Женщина из квартиры этажом ниже выбивала на балконе ковер. Найэл слышал равномерные глухие удары. Потом она позвала своего маленького сына, который играл на улице; голос ее звучал резко и звонко.

— Vite, vite, Marcel, quand je t'appelle.[35]

— Oui, maman, je viens,[36] — ответил Марсель, хорошенький мальчуган в черном костюмчике и берете, съехавшем набок.

Найэл вытянул ноги. Он вырос еще на дюйм, и его ноги свисали с дивана.

— Фрида! — позвал он. — Фрида, я проснулся.

Фрида почти тут же вошла в комнату с подносом в руках. Хотя она и встала некоторое время назад, но еще не оделась. На ней все еще был халат. От завтрака шел приятный аромат. Круассаны, две свежие булочки, витые кусочки очень желтого масла, баночка меда и кофейник, над которым вилась струйка пара. А еще целая плитка шоколада «Таблерон» и три леденца на палочках, все разного цвета. Прежде чем приняться за завтрак, Найэл съел все леденцы и полплитки шоколада. Фрида сидела на краю кровати и смотрела на него, а он сидел на Санчо Пансе и держал поднос на коленях.

— Не знаю, что с тобой делать, — сказала она. — Покончив со съестным, ты примешься за мебель.

— Мне надо нарастить мышцы, — сказал Найэл. — Ты сама так сказала Бог весть когда. Я слишком тощий для своего возраста и роста.

— Когда-то сказала, но теперь уже не говорю. — Она наклонилась и поцеловала его в голову. — Давай, давай, ленивец, доедай свой завтрак и ступай под душ. Ты должен позаниматься за роялем до того, как снова получишь есть.

— Я не хочу заниматься. Для занятий слишком жарко. Я позанимаюсь вечером, на холодке.

Мягкий круассан с медом так и таял во рту.

— Ничего подобного, — сказала Фрида. — Ты сядешь заниматься утром. И если будешь хорошим мальчиком, мы пообедаем где-нибудь в городе, а когда спадет дневной жар, пойдем прогуляться.

Дневной жар... Без сомнения, ни в одном городе мира мостовые не дышат таким жаром. Балконная решетка обжигала пальцы. На Найэле были только рабочие брюки с нагрудничком, но и в такой одежде он обливался потом, едва сделав несколько шагов из спальни на балкон.

Он мог бы простоять здесь весь день, глядя вниз, на улицу. Плоское, беспощадное солнце его не беспокоило, равно как и белое марево, легкой пеленой окутавшее Эйфелеву башню; он стоял на балконе, и звуки, запахи Парижа проникали ему в уши, в ноздри, терялись в голове и вновь появлялись, преобразенные в мелодии. Марсель, маленький мальчик из соседней квартиры, опять спустился на улицу и пускал на тротуаре волчка, который то и дело падал в сточную канаву. По мощеной мостовой громыхла телега с углем — силы небесные, кому нужен уголь в августе? — возчик выкрикивал: «Эй, эй», на лошадиной сбруе гремели колокольчики. В соседнем доме кто-то настойчиво звал: «Жермен! Жермен!», на балкон вышла женщина и вынесла проветриваться целую грудку постельных принадлежностей. Где-то пел кенар. Телега с углем проехала в сторону рю де Нейи, откуда доносился шум транспорта: звонки трамваев, гудки такси. Вниз по улице брел старик-старьевщик; он шарил палкой в сточной канаве и тонким, высоким, срывающимся голосом выкрикивал свои всегдашние слова. На кухне Фрида разговаривала с приходящей кухаркой, которая только что вернулась с рынка с целой сумкой всякой снеди.

На ленч будет свежий сыр gru?ge, редис, огромная миска салата, а может быть, и foie de veau,[37] поджаренная в масле с веточкой чеснока. Дверь из кухни открылась, и по коридору поплыл запах сигарет «Честерфилд», которые курила Фрида. Она прошла через комнату и остановилась на балконе рядом с Найэлом.

— Я что-то пока не слышала рояля, — сказала она.

— Надсмотрщик, — сказал Найэл, — вот ты кто. Проклятый, напыщенный надсмотрщик.

Он боднул Фриду головой, вдыхая смолистый запах, и укусил за мочку уха.

— Ты здесь для того, чтобы работать, — сказала она. — Если ты не будешь работать, я отправлю тебя домой. Сегодня же пойду и куплю билет.

Это была их дежурная шутка. Когда Найэл особенно ленился, Фрида говорила, что позвонит в Бюро Кука и закажет билет на экспресс до Кале.

— Ты не посмеешь, — сказал Найэл. — Не посмеешь.

Он повернул ее к себе, чтобы видеть ее лицо, положил руки ей на плечи и потерся щекой о ее волосы.

— Тебе больше не запугать меня, — сказал он. — Скоро я стану с тебя ростом. Давай померимся, поставь свои ноги к моим.

— Не наступай мне на пальцы, — сказала Фрида. — У меня мозоль на мизинце. Что значит носить тесные туфли в такую жару. — Она оттолкнула Найэла, вытянула руки и закрыла ставни. — Так или иначе, но надо, чтобы в комнате было прохладнее.

— Закрывать ставни — значит обманывать себя, — сказал Найэл. — Так делали, когда мы были детьми.

— Либо закрыть ставни, либо мне придется весь день просидеть в ванне, подставив живот под холодную струю, — сказала Фрида. — Не мешай, Найэл. Сегодня слишком жарко.

— Слишком жарко никогда не бывает, — возразил Найэл.

Фрида потащила его к роялю.

— Давай, давай, малыш, делай, что тебе говорят, — сказала она.

Он протянул руку к плитке таблеронского шоколада на крышке рояля, разломил ее пополам, чтобы за каждой щекой было по куску, рассмеялся и стал играть.

— Надсмотрщик, — крикнул он через плечо, — противный надсмотрщик.

Стоило Фриде выйти из комнаты, как Найэл тут же забыл о ней, и все его мысли сосредоточились на том, чего он хочет от рояля. Фрида постоянно бранила его за лень. Он ленив. Он хочет, чтобы рояль сам работал за него, а не наоборот. Фрида не уставала повторять, что ничего не дается без труда и усилий. Папа тоже это говорил. Все это говорили. Но если все выходит так легко и просто, какой смысл доводить себя до изнеможения?

— Да, знаю, первая песня тебе удалась, — сказала Фрида, — но на этом нельзя успокаиваться. К тому же ты должен запомнить, что жизнь песни, имеющей успех, коротка. В лучшем случае месяца два. Ты должен работать, должен добиться большего.

— Я не честолюбив, — возразил Найэл, — хотя нет, если бы это была настоящая музыка, я был бы даже очень честолюбив. Но ведь я занимаюсь сущим вздором.

И через час, через два она появлялась совершенно неожиданно, из ниоткуда — песня, которую было невозможно не запеть, песня, которая творила что-то несусветное с вашими ногами и руками. Как просто, как чертовски просто. Но это не работа. Это крик старьевщика, который шарит палкой в сточных канавах; сердитый голос угольщика, который говорит «эй, эй» и натягивает позвякивающие вожжи, когда его лошадь спотыкается о камни мостовой.

Песня билась о потолок, отражалась от стен. Выпускать ее на волю — это забава... это игра... Но записывать ее Найэл не хотел. Не хотел утруждать себя и корпеть над записью. Почему бы не пригласить кого-нибудь другого и не заплатить ему за часть работы? Так или иначе, но, после того как он сочинил песню, сыграл и спел ее себе и Фриде раз пятьдесят — такова была его система, — она ему надоедала, надоедала до тошноты, и он больше не хотел ее слышать. Для него песня закончена. Пилюля принята, она оказала свое действие, и значит, о ней можно забыть. Конец. Что дальше? Все, что угодно? Нет. Просто облокотиться на решетку балкона, подставить спину солнцу и думать о foie de veau, которую подадут на ленч.

— Сегодня я больше не могу работать, — сказал он в половине второго, доедая последнюю редиску. — Нельзя так обращаться с животными, кроме всего прочего, наступила сиеста. Во время сиесты в Париже никто не работает.

— Ты очень хорошо потрудился, — сказала Фрида, — и я тебя отпускаю на день. Но сыграй мне еще раз, всего один раз. Я больше не старая учительница, которая старается натаскать ученика. Я хочу послушать твою песню из чисто сентиментальных чувств, ведь я люблю ее и люблю тебя.

Найэл снова пошел к роялю и сыграл для Фриды, а та сидела за столом, роняя пепел сигареты «Честерфилд» в тарелку, где совсем недавно лежали редис и кусок сыра gruyère, и, закрыв глаза, подпевала своим хриплым голосом, как всегда немного фальшивя, что, в сущности, не имело значения. Играя, Найэл смотрел на Фриду и вдруг подумал о Марии, о том, как слушала бы его песню Мария: она бы не сидела, застыв на стуле, не курила бы сигарету над остатками ленча, но, улыбаясь, стояла бы в центре комнаты. И вот Мария передергивает плечами, поднимает руки и говорит: «Я хочу станцевать ее. Что проку просто стоять и слушать. Я хочу танцевать».

Для того-то и написана эта песня, потому она и получилась такой, такой родилась у него в голове. Не для того, чтобы ее пели, не для того, чтобы звучать отдаленным эхом в хриплом голосе Фриды или кого-то другого, но для того, чтобы ее танцевали два человека, слившись в едином движении, как он и Мария, где-нибудь в старой дальней комнате на последнем этаже никому не ведомого дома... не в ресторане, не в театре. Найэл перестал играть и закрыл крышку рояля.

— На сегодня хватит, — сказал он. — На центральной станции отключили газ. Пойдем спать.

— Можешь поспать два часа, — сказала Фрида. — После чего тебе придется надеть рубашку и брюки, но только не рваные. В пять часов мы выпиваем с друзьями.

В том-то и беда, что у Фриды слишком много знакомых. Всегда приходилось сидеть в кафе за столиком и разговаривать с уймой людей. Большинство из них были французы. А Найэл так же ленился заниматься французским, как ленился записывать на бумагу рождающиеся в его голове звуки. Фрида одинаково свободно владела обоими языками, она могла часами тараторить, обсуждая музыку, песни, театр, картины, все, что придет в голову, а ее друзья, сидя тесным кружком, смеялись, разговаривали, пили бокал за бокалом и рассказывали бесконечные истории ни о чем. Французы слишком много говорили. Все они были остряками, все *raconteurs*.^[38] Слишком многие фразы начинались с: «*Je m'en souviens...*» и: «*?a me fait penser...*»^[39] И не было им ни конца ни края. Найэл молчал, полускрыв глаза, откинувшись на стуле, пил пиво со льдом, время от времени бросал на Фриду хмурые взгляды, дергал головой и глубоко вздыхал, но она не обращала на его знаки ни малейшего внимания. Она продолжала разговаривать, зажав в зубах мундштук и посыпая стол пеплом; затем кто-нибудь произносил нечто такое, что присутствующим казалось особенно смешным, все собравшиеся откидывали головы, стулья скребли по полу, смех звучал еще громче, разговоры лились более оживленно.

Когда Найэл сидел недалеко от Фриды, он иногда давал ей пинка под столом — та приходила в себя, улыбалась ему и, обращаясь к своим друзьям, говорила: «*Niall s'ennuie*».^[40] И все оборачивались к нему и тоже улыбались, словно он был двухлетним ребенком.

Они называли его «*L'enfant*»^[41] или даже — «*L'enfant g?t?*»,^[42] а иногда, и это было хуже всего, — «*Le petit Niall*».^[43]

Наконец они поднялись из-за стола и ушли; когда исчез последний из них, у Найэла вырвался громкий вздох облегчения...

— Зачем ты их приглашаешь?

— Я люблю поговорить. Люблю своих друзей, — ответила Фрида. — Кроме того, у человека, который пришел сегодня с Раулем, большие связи в музыкальном мире не только Парижа, но и в Америке. Он может очень помочь тебе.

— Да будь у него связи хоть в самом аду, мне наплевать, — сказал Найэл. — Он страшный зануда. И мне не нужна ничья помощь.

— Выпей еще пива.

— Я больше не хочу пива.

— Чего же ты хочешь?

Чего он хочет? Найэл посмотрел на Фриду и задумался. Она прикурила следующую сигарету от окурка предыдущей и вставила ее в мундштук. Зачем она так много курит? Зачем позволяет парикмахеру делать эту дурацкую желтую прядку в своих волосах? С каждым разом она становится все более желтой, засушенной и очень ее портит. Из-за нее волосы Фриды стали похожи на сено.

Стоило такому сравнению мелькнуть в его голове, как Найэл почувствовал раскаяние. Что за ужасная мысль. Как могла она прийти ему в голову? Фрида — прелесть. Она так добра к нему, так ласкова. Он любит Фриду. Повинуясь внезапному порыву, Найэл через стол дотянулся до руки Фриды и поцеловал ее.

— Чего я хочу? Конечно же, всегда быть только с тобой, и чтобы рядом никого не было.

Фрида скорчила гримасу; Найэл рассердился, окликнул гарсона и попросил принести счет.

— В таком случае пойдем, — сказала Фрида. — Прогуляемся перед обедом.

Она взяла его под руку, и они с явным удовольствием пошли по бульвару, разглядывая прохожих. Даже теперь, когда солнце скрылось на западе и в многочисленных кафе стали зажигаться первые огни, было не меньше тридцати градусов. Все шли без пиджаков. Без шляп. Подлинные добропорядочные парижане разъехались в отпуска, и вечерняя толпа состояла в основном из лавочников, вышедших подышать воздухом менее удушливым, чем тот, которым они дышали весь день; были в ней и сельские жители, и выходцы из южных стран. Все они прогуливались лениво, вяло, с улыбкой на губах, у всех были блестящие от пота лица, влажная одежда прилипала к телу, а волны знойного воздуха, разлитого над бульваром, ударяли в лицо. Небо

подернулось желтоватой дымкой, и вскоре янтарное зарево, идущее с запада, запылало над городом, играя на крышах домов, мостах и шпилях.

Внезапно везде зажглись огни, и небо из янтарного превратилось в багряное; но зной не спадал. Через мосты с шумом проносились такси, переполненные разгоряченными, вспотевшими взрослыми и усталыми после дневной прогулки бледными детьми. Такси гудели, визжали тормозами, резко сворачивали; регулировщик яростно свистел и размахивал жезлом. Совсем как Салливан в те далекие годы, когда он стоял перед оркестром с дирижерской палочкой в руке. Вот-вот зажгутся огни. Огни театральной рампы. Занавес поднимется, и Мама в медленном танце поплывет по сцене.

— Дальше я идти не могу, лапочка, — сказала Фрида. — У меня болят ноги.

На ее утомленном лице появились морщинки усталости, и она тяжело опиралась на руку Найэла.

— Пожалуйста, — взмолился Найэл, — еще совсем немного. Вечер принес с собой новые звуки, а огни превратили их в мелодию. Послушай, Фрида, послушай.

Они стояли около моста; огни сверкающими золотыми кольцами отражались в Сене, вдали нескончаемая золотая река поднималась к Елисейским полям и к площади Звезды. Мимо них направо, налево, прямо тек все увеличивающийся поток машин, посылавших в лица людей волны теплого воздуха, нежные, как взмахи веера. Найэл явственно слышал звуки, звуки, похожие на биение пульса; они рождались из визга машин, из манящих огней, раскаленных тротуаров, темнеющего неба.

— Я хочу еще погулять, — сказал он. — Я мог бы гулять до бесконечности.

— Ты молодой. Можешь гулять и один.

Но тщетно, очарование не здесь, не рядом. Оно там, за Елисейскими полями, но, если подняться на вершину холма, к площади Звезды, оно снова исчезнет, улетит к могучим благоухающим деревьям в самом сердце Булонского леса, затаится в густых ветвях, в мягкой траве. Его нельзя коснуться руками. Оно вечно ускользает от нас.

— Хорошо, — сказал Найэл. — Я возьму такси.

Теперь они вновь ничем не отличались от прочих людей, снующих по тротуару. Над улицами — гудки машин, крики прохожих, свистки регулировщика. Они сами нарушили очарование. Сами позволили очарованию исчезнуть.

— О чем ты думаешь? — спросила Фрида.

— Ни о чем, — ответил Найэл. Он уселся рядом с шофером и высунул голову в окно; ветер дул ему в лицо — теплый, возбуждающий чувства ветер, а перед глазами подобно развевающейся ленте то исчезала, то вновь появлялась длинная вереница огней.

Фрида откинулась на спинку заднего сиденья, скинула туфли и зевнула.

— Единственное, чего я хочу, — сказала она, — так это опустить ноги в прохладную ванну.

Найэл не ответил. Он грыз ногти и, наблюдая за тем, как мерцающие парижские огни подмигивают ему и склоняются перед ним в реверансе, не без легкой грусти размышлял, не является ли заявление Фриды деликатным намеком на то, что ночь ему предстоит провести на проклятом Санчо Пансе.

Для Селии было все едино: лето так лето, весна так весна. Независимо от времени года устоявшийся уклад жизни не менялся. Рано поутру, в половине девятого, — чай. Она не хотела беспокоить прислугу и сама заваривала его на спиртовой плитке.

Каждое утро ее будил резкий, безликий звонок будильника, она протягивала руку и прятала его под пуховое одеяло. Затем позволяла себе еще минут пять понежиться в постели. Пять минут, не больше. И подъем — приготовить чай, принять ванну, отнести Папе утренние газеты, узнать, в каком он настроении и каковы его желания на день. Ставший ритуальным вопрос:

— Хорошо спалось, Папа?

— Прекрасно, моя дорогая, прекрасно. — По его тону она безошибочно определяла, что сулит ей череда выстроившихся впереди часов — покой или обреченность. — Снова вернулась старая боль под сердцем. Пожалуй, надо вызвать Плейдона.

Селия поняла, на каком она свете. Поняла, что Папа проведет день дома, скорее всего в постели, и едва ли у нее останется надежда посетить Художественную школу.

— Неужели тебе было так плохо?

— Так плохо, что в три часа ночи мне показалось, что я умираю. Вот как мне было плохо, дорогая.

Селия тут же позвонила Плейдону. Да, заверили ее, Плейдон зайдет при первой возможности. У него срочный

вызов, потом, в половине одиннадцатого, он непременно будет у мистера Делейни.

— Все в порядке, Папа. Он придет. А теперь, что я могу для тебя сделать?

— Письмо, дорогая. Надо ответить на него. От старого бедняги Маркуса Геста, который живет на Майорке. Целую вечность ничего от него не получал. — Папа потянулся за своими очками. — Прочти, что он пишет, дорогая, прочти, что он пишет.

Селия взяла письмо — шесть страниц, исписанных мелким, неразборчивым почерком. Она почти ни слова не поняла в бесконечных упоминаниях о людях и местах, про которые она никогда не слышала. Но Папа был в восторге.

— Старый бедолага Маркус Гест, — без конца повторял он. — Кто бы мог подумать, что он до сих пор жив? И на Майорке. Говорят, на Майорке очень недурно. Нам надо проверить, надо проверить. Возможно, она будет полезна для моего голоса. Разузнай про Майорку, дорогая. Позвони кому-нибудь, кто может рассказать нам о Майорке.

Время до прихода врача они провели в обсуждении планов путешествия. Да, наверняка есть поезда, которые следуют через Францию. По пути они могли бы остановиться в Париже. Повидаться с Найэлом. Посмотреть, как у него дела. Возможно, уговорить Найэла поехать вместе с ними. А еще лучше не поездом. Пароходом. Есть множество судоходных линий, и все они проходят через Средиземное море. Разумеется, лучше всего отправиться пароходом. Ах, вот и Плейдон.

— Плейдон, мы отправляемся на Майорку.

— Превосходно, — сказал доктор Плейдон. — Путешествие пойдет вам на пользу. Ну а теперь послушаем вашу грудь.

Появляется стетоскоп, расстегивается пижама, вдохи, выдохи, стетоскоп убирается.

— Да, — сказал доктор Плейдон. — Возможно, есть слабые шумы. Не более того. Не о чем беспокоиться. Но сегодня вам нужен покой. Много читаете?

Прощай, Художественная школа. Сегодня занятия на пленэре. Но ничего. Не важно.

Селия проводила врача до дверей и на минуту задержалась с ним в коридоре.

— Похоже, небольшое скопление газов, — сказал доктор Плейдон. — Легкие шумы в области сердца. Но он крупный мужчина, и это причиняет ему неудобства. Ему нужен покой и диета.

Вниз — на кухню. Новая кухарка, которая служит у них всего шесть недель и не слишком ладит с Трудой.

— Раз мистеру Делейни нездоровится, то, по-моему, лучше всего будет что-то рыбное, — сказала кухарка. — Паровая рыба с отварным картофелем.

Через кухню с простынями в руках прошла Труда.

— Мистер Делейни не очень-то жалуется рыбу, — отрезала она.

Кухарка поджала губы. Она не ответила. Дождалась, когда Труда вышла из кухни, и заговорила.

— Извините, мисс Селия, — сказала она, — но я действительно делаю все, что могу. Знаю, я у вас не так давно, но стоит мне только рот раскрыть, как Труда готова укусить меня. Я не привыкла, чтобы со мной обращались подобным образом.

— Я знаю, — мягко ответила Селия, — но, видите ли, она уже не так молода и очень давно живет с нами. Она так вольно разговаривает только потому, что очень к нам привязана. Она знает все наши привычки.

— Станный у вас дом, — сказала кухарка. — Мне никогда не приходилось служить там, где обед подавали бы в четверть седьмого. Совершенно необычно.

— Я понимаю, для вас это, должно быть, обременительно. Но, видите ли, моя сестра работает в театре...

— Я думаю, мисс Селия, что вам и в самом деле лучше подыскать кого-нибудь другого. Того, кто больше соответствовал бы вашим привычкам.

— О, пожалуйста, не говорите так... — И так далее, и так далее, пытаясь умиловить кухарку и краешком глаза посматривая на дверь в буфетную, где от слова до слова их разговор слышит Андре, который не упустит удовольствия передать его Труде. Раз, другой звучит настойчивый звонок Папы. Селия бросается наверх.

— Дорогая, ты знаешь альбомы с фотографиями, сложенные в малой гостиной?

— Да, Папа.

— Я хочу снова пересмотреть их. И вложить уйму забавных моментальных снимков, которые мы сделали в Южной Африке и перепутали с теми, что были сняты в Австралии. Ты мне поможешь, дорогая?

— Конечно, помогу.

— У тебя нет каких-нибудь других дел?

— Нет... о нет...

Вниз, в малую гостиную, наверх с тяжелыми альбомами и снова вниз поискать забытые снимки. Они лежали под грудой книг в глубине шкафа. Разобрав их до половины, она вспомнила, что не дала окончательных распоряжений относительно ленча. Назад в кухню, но на сей раз проявить твердость и распорядиться приготовить цыпленка.

— Мисс Селия, на цыпленка уже нет времени.

— У нас есть что-нибудь еще?

— Кусок говядины, которую подавали на ленч вчера.

— Нарезьте его, а сверху положите яйцо-пашот.

Селия снова поднялась к Папе. Он уже встал и, облачившись в халат, расхаживал по комнате.

— Ты не приготовишь мне чаю, дорогая? — попросил он. — Его заваривают внизу. Но они не умеют делать это так, как ты.

Вдоль по коридору — в спальню, чтобы приготовить чай, и, когда Селия, опустившись на колени, склонилась над чайником, вошла Труда. У нее были покрасневшие глаза. Она плакала.

— Легко заметить, когда становишься ненужной, — сказала она.

Селия вскочила на ноги и обняла Труду:

— Что ты имеешь в виду? Не говори так.

— Уйти от вас — все равно что разбить себе сердце, — сказала Труда. — Но, видно, придется уйти, если будет продолжаться, как сейчас. Что бы я ни сделала, теперь все не так. С тех пор как я вернулась из больницы, во всех вас чувствуется холодок, а теперь, когда здесь нет моего мальчика... — По ее щекам текли слезы.

— Труда, ты не должна так говорить, я не разрешаю тебе, — сказала Селия.

И так далее, и так далее до тех пор, пока старуха не смягчилась и не пошла пришивать ленты к новому пеньюару Марии.

Мария? Где Мария? Несколько брошенных на ходу слов, взмах руки, стук входной двери; Мария ушла...

— Ты составишь мне компанию за ленчем, дорогая?

— Да, Папа, если хочешь.

— Ты ведь не бросишь меня здесь в полном одиночестве?

Подносы. Несколько подносов. Как странно: когда садишься за стол наверху, требуется столько подносов... Андре терпеть не мог носить столик с подносами. Повторялась старая история. Он камердинер мистера Делейни. Костюмер мистера Делейни. Но носильщиком подносов он никогда не был.

— Ешь фарш, Папа.

— Он холодный, холодный, как лед.

— Это потому, что из кухни досюда довольно большое расстояние. Я пошлю фарш вниз, подогреть.

— Нет, дорогая, не утруждай себя. Я не голоден.

Он отодвинул от себя поднос. Пошевелил ногами под одеялом. Вокруг так много всего разбросано. Эти тяжелые альбомы.

— Убери их, дорогая, убери их.

Сложить альбомы стопкой на пол. Поправить постель.

— В комнате не слишком жарко? По-моему, очень жарко.

— Нет, не думаю. Это оттого, что ты лежишь в кровати.

— Открой окно. У меня удушье. Я вот-вот задохнусь.

Селия распахнула окно, и в комнату ворвалась струя холодного воздуха. Селия вздрогнула и подошла к камину.

— Да, так лучше. Пожалуй, я немного подремлю. Минут пять. Просто немного подремлю. Ты не уйдешь?

— Нет, Папа.

— Потом, дорогая, мы сыграем в bezique. А позже тебе надо будет заняться ответом на письмо старого бедняги Магнуса Геста.

Тихая, холодная комната. Ровное, тяжелое дыхание. Стопка альбомов на полу, из-под нее выглядывает чистый лист бумаги. Ни с того ни с сего чистый лист бумаги. Селия вытащила его и положила на один из альбомов. Нашупала в кармане карандаш. На сегодня о Художественной школе нечего и думать, на завтра, видимо, тоже, но, если есть бумага и карандаш, не все потеряно — вы не совсем одиноки. Через открытое окно с игровой площадки муниципальной школы до нее долетали детские голоса. В это время дети всегда высыпали из школы; они кричали, звали друг друга, скакали на одной ноге, бегали наперегонки. Селия надеялась, что они не разбудят Папу. Он все еще спал. Очки сползли на кончик носа. Школьники продолжали шуметь, громко звать

товарищей, и голоса их походили на звуки, летящие из иного, нездешнего мира. Но лица, которые карандаш Селии набрасывал на бумаге, были лицами земных детей. И она была счастлива. Ей было хорошо.

Глава 14

Найэл ждал Марию в конце платформы на Gare du Nord.[44] Он стоял за барьером. Поезд остановился, но он не сдвинулся с места. Началась толкотня, встречающие и носильщики теснили друг друга, воздух гудел от приветствий и разговоров. Мимо Найэла за барьер устремился поток чужих, незнакомых людей. Тараторящие французы со своими говорливыми женами, английские туристы и все те худосочные личности с сигарами во рту, которые не принадлежат ни к одной национальности и вечно путешествуют в поездах, из конца в конец пересекающих континент.

Найэла охватило невыносимое волнение, сердце было готово вырваться из груди. А если Мария не придет, если ему придется возвращаться одному... Но, нет, она здесь. На ней свободного покроя пальто, и в руках она держит шляпу. На расстоянии ярдов двадцати он мог видеть ее улыбающиеся глаза. И хотя у нее было только два чемодана, шла она в сопровождении троих носильщиков. И вот она рядом с ним. Она подставляет лицо для поцелуя.

— Ты опять вырос, — сказала Мария. — Так нечестно. Вместо того чтобы выглядеть моложе меня, ты выглядишь старше.

Она вынула платок и стерла со щеки Найэла следы губной помады.

— У меня только сорокафранковая бумажка, — сказала она. — Придется тебе расплатиться с носильщиками.

Он был готов к такому обороту. Знал, что так и будет. Когда они проходили барьер, люди оборачивались, чтобы взглянуть на Марию, и она улыбалась им. Она помахала рукой тучному, засаленному машинисту, который улыбался ей, стоя на ступеньке паровоза и вытирая руки тряпкой.

— Он мне нравится, — сказала Мария. — Я всех их люблю.

— Да, но не здесь, — сказал Найэл. — Не на платформе.

Его волнение прошло, но сердце продолжало усиленно биться... полное восторга и радости, готовое выскочить из груди. Он рассчитался с носильщиками, щедро дав им на чай из денег Фриды, подозвал такси и отпустил их. Шофер многозначительно взглянул на Марию и уголком рта что-то сказал Найэлу.

— Я совсем забыла французский. Что он сказал? — спросила Мария.

— Если бы ты и помнила французский, — ответил Найэл, — то все равно ничего бы не поняла.

— Он сказал грубость?

— Нет, комплимент.

— Тебе или мне?

— Нам обоим. Он человек разумный. И не лишен проницательности.

Такси отъехало от вокзала и, свернув за угол, резко бросило Марию на руки Найэлу.

Он крепко прижал ее к себе и поцеловал в волосы.

— Ты всегда пахнешь одинаково, — сказал он. — Горчицей.

— Почему горчицей?

— Не знаю. Это не запах. Просто твоя кожа.

Мария взяла его за кисть и сравнила ее со своей.

— Она тоже выросла. Стала чище. И ты перестал грызть ногти. Фрида отучила?

— Никто меня не отучал. Просто у меня пропало желание их грызть.

— Значит, ты счастлив. Люди грызут ногти, только если они несчастны. Ты счастлив?

— Сейчас счастлив. — И Найэл вместо своих ногтей прикусил кончики пальцев Марии.

Мария молчала в его объятиях и смеялась.

— Кто твои друзья? — спросил Найэл.

— У меня их много. По именам не помню.

— А кто в данный момент номер один?

— Первого номера нет. Иначе меня бы не было в Париже.

— Я так и думал, — сказал Найэл.

— Знаешь, что я собираюсь сделать?

— Ты мне писала.

— Я хочу сыграть во всех пьесах Барри. Он мне очень удастся.

— Кто это говорит?

— Барри.

Такси снова резко свернуло, Мария поудобнее устроилась в объятиях Найэла и положила ноги ему на колени.

— Дело в том, — сказала она, — что меня все считают бесплотной, большеглазой и болезненной. Интересно, почему.

— Наверное, тебе не случалось лежать с ними так, как ты лежишь сейчас, — предположил Найэл.

— Еще как случалось, — возразила Мария, — время от времени. Беда в том, что я слишком быстро ото всех убегаю. Мне надоедает.

— Надоедает то, что они говорят? Или то, что делают?

— Делают. Что они говорят, я никогда не слушаю.

Найэл закурил сигарету. Непростая задача в его скрюченной позе.

— Это как музыка, — сказал он. — В конце концов, в октаве всего восемь нот.

— Вспомни Элгара,[45] — сказала Мария. — Его «Вариации „Загадка“». А Рахманинов, что он вытворяет с Паганини.[46]

— Ты слишком высоко берешь, — сказал Найэл. — Должно быть, твои приятели чувствуют себя приниженными.

— Пока мне не приходилось выслушивать их жалоб, — сказала Мария. — А куда мы едем?

— В твою гостиницу.

— Я думала, что остановлюсь у вас с Фридой.

— Невозможно. У нас только одна спальня.

— Понятно, — сказала Мария. — Какое убожество.

Она оттолкнула его и стала пудрить нос.

— Почему ты не поехала в турне? — спросил Найэл.

— Жена, — ответила Мария. — Что за радость. К тому же его зубы.

— А что с его зубами?

— В конце концов, они его подвели. Ему пришлось вставить протез, и прошлую неделю он провел в частной лечебнице. Я послала несколько лилий.

— Почему не венок?

— Я подумывала о венке.

— Значит, finito?[47]

— Finito.

Он поднял ее руку за запястье и посмотрел на стрелки часов с браслетом.

— Ну, ты всегда такова, — сказал Найэл. — И нет здесь ничего бесплотного. Он подарил их в знак прощания?

— Нет, — ответила Мария. — Он подарил их в знак благодарности за загадочные вариации.

Когда такси свернуло на Елисейские поля, Мария быстро выпрямилась, подалась вперед и посмотрела в окно:

— Ах, Найэл, это мы — это ты и я.

Двое детей ждали, чтобы перейти улицу. На мальчике были надеты блуза и берет; девочка была немного постарше и нетерпеливо дергала его за руку, волосы разметались у нее по лицу.

— Ты и я, — повторила Мария. — Мы убежали от Труды. И как я не понимала этого раньше? Лондон для нас не дом. Никогда не будет домом.

— Потому я и приехал в Париж, — сказал Найэл. Мария отвернулась от окна и взглянула на него.

Ее глаза были темны и лишены выражения, как глаза слепого.

— Да, — сказала она. — Но ты приехал не с тем, с кем надо.

Такси круто свернуло вправо и резко остановилось перед гостиницей Марии.

В меблированных комнатах дома, что неподалеку от авеню Нейи, Фрида принимала Папу и Селию. После отдыха на итальянских озерах они возвращались в Англию проездом через Париж. Майорка Папу не привлекла, и он отказался от намерения посетить ее. Зато его воображением внезапно овладели прозрачные воды и высящиеся вдали горы, на которые ему нет надобности взбираться. В долинах черномордые коровы с колокольчиками на шее...

— Но шел дождь, Фрида, шел дождь, — сказал Папа. — С набухшего от влаги неба лились слезы всего мира.

— Чем же вы занимались? — спросила Фрида.

— Играли в bezique, — ответил Папа.

Селия ощутила на себе сочувственный взгляд Фриды и отвела глаза. В квартире Фриды она испытывала странные чувства. Сама не зная почему, она подумала, что это оттого, что квартира очень мала. Всего одна спальня, и халат Найэла висит на двери.

Она попробовала представить Фриду кем-то вроде Труды, кто так же присматривает за Найэлом. Но ничего не вышло. Должно быть, это предрассудки, говорила она себе, если я не возражаю против того, что позволяет себе Мария, то почему должна возражать, когда так поступает Найэл?

Квартира была очень неопрятной. Повсюду валялись исписанные нотами листы бумаги, открытые книги, в углах — наспех снятая обувь. Возможно, все дело в обуви... Папа, который некогда так гневался на Фриду, теперь казался совершенно спокойным. Он полулежал в кресле и, ковыряя золотой зубочисткой в дупле зуба, обсуждал с Фридой ее планы.

— Займись им, — сказал он, помахивая рукой, — покажи ему мир. Пусть повыступает во всех европейских столицах, как его мать до него, и закончит Америкой. Я даю свое разрешение.

Селия смотрела, как Фрида роняет на пол пепел. На столе стояла пепельница, но она ею не пользовалась. Вместо пепла в пепельнице лежал пучок аспарагуса с обкусанными кончиками.

— Найэл не хочет путешествовать, — сказал Фрида. — У него нет честолюбия.

— Нет честолюбия? Не желает путешествовать? Что же он любит?

— Он любит поесть.

Селия подумала, что ответ Фриды объясняет и кончики аспарагуса, и коробки из-под шоколада. Когда вернемся домой, надо не забыть рассказать Туде.

— А чем он любит заниматься? — спросил Папа, проявляя явное любопытство.

Но Фрида только пожала плечами. И вставила в мундштук новую сигарету.

— Он читает, — сказала она, — и спит. Он спит часами.

— Но весь этот успех? Этот ?clat?[48] — сказал Папа. — Он не вскружил ему голову, не избаловал?

— Не думаю, чтобы он догадывался обо всем этом, — ответила Фрида.

— Совсем как его мать, — сказал Папа. — Ей было все равно.

— Но она не щадила себя, — возразила Фрида. — Она работала. Одному Богу известно, как она работала. У нее были упорство и тяга к работе. У Найэла нет ни того, ни другого. Ему просто все равно.

Папа покачал головой и свистнул.

— Это плохо, — сказал он. — Все дело в его французской крови.

Селия вспомнила голубую венку на руке Найэла и подумала, французская она или нет. Затем посмотрела на свои собственные руки, широкие и квадратные, как у Папы. Вены на них видны не были.

— Мария труженица, — сказал Папа. — Но Мария девушка. И ни капли лени. На следующей неделе у нее снова начинаются репетиции. Вся в отца. Слава Богу, в Марии нет ничего французского.

Селию очень занимал вопрос, а нет ли во Фриде чего-нибудь французского. Она владеет двумя языками, а живет во Франции. Иногда Папа бывает таким бестактным.

— Интересно, приехала она или нет, — сказала Селия, желая сменить тему разговора. — Поезд должен был прибыть час назад.

— Найэл сказал, что отвезет ее прямо в гостиницу, — заметила Фрида. — Я предлагаю вам поехать и посмотреть, там она или нет. Найэл может приехать с минуты на минуту, чтобы переодеться.

Все же очень похоже на Туду, решила Селия. Фрида знает, когда Найэл придет переодеться. Интересно, она ему стирает, считает его рубашки? Вот-вот она назовет его «мой мальчик».

В гостиницу Папа и Селия отправились на такси.

— Интересно, как у них идут дела, — в голосе Папы звучало любопытство. — Я имею в виду этот странный союз... Найэл и забавная старушка Фрида. Завтра я должен пригласить ее на ленч и все выяснить.

— Ах, Папа, не надо! — ужаснулась Селия.

— А почему бы и нет, дорогая?

— Подумай, в какое неловкое положение ты поставишь Найэла, — ответила Селия.

— Не вижу ничего неловкого, — сказал Папа. — Такие вещи очень важны с медицинской точки зрения. Я смотрю на Фриду, как смотрел бы на преподавателя Оксфорда, Кембриджа или Гейдельберга. Она знает свое дело.

И он принялся вспоминать годы знакомства с Фридой, дойдя до тысяча девятьсот двенадцатого, тысяча

девятьсот девятого.

Когда они прибыли в гостиницу, портье сообщил им, что мисс Делейни приехала, распаковала вещи и ушла, не сказав куда. Ушла полчаса назад. Джентльмен тоже ушел. Наверху в номере люкс — Папа путешествовал лишь в тех случаях, когда ему удавалось снять номер люкс, — они обнаружили полнейший беспорядок. Все кровати измяты, и на них — вещи Марии. Полотенца раскиданы, тальк просыпан.

— Отвратительно, — сказал Папа. — Совсем как австрийская горничная.

Селия стала лихорадочно приводить комнату в порядок. Мария уже не была вся в отца.

— Они к тому же и пили, — сказал Папа, обследуя стакан для полоскания рта. — Судя по запаху, коньяк. Никогда не подозревал, что моя дочь пьет.

— Она не пьет, — возразила Селия, поправляя Папину постель. — Только оранжад. Иногда после премьеры выпьет шампанского.

— Тогда это, должно быть, Найэл, — сказал Папа. — Некто (и кто, как не Найэл) наливал коньяк в мой стакан для полоскания. Я покажу Фриде. Фрида несет ответственность.

И он до краев налил себе коньяка в свой стакан для полоскания.

— Выйди, пока я переоденусь, дорогая, — сказал Папа. — Если Мария намерена превратить наш номер в публичный дом, то она ответит за это, когда вернется. Я положу конец ее выступлениям в роли Мэри Роз. Впрочем, я пошлю Барри телеграмму.

Он стал искать в шкафу свой вечерний костюм, швыряя на пол все, что попадалось под руку.

Селия пошла к себе переодеться. К подушке была приколота записка: «Увидимся в кабаре. Мы обедаем в городе». Ящик туалетного столика Селии был выдвинут, из него исчезла ее вечерняя сумочка. Наверное, Мария забыла привезти свою и поэтому взяла сумочку Селии. Заодно она взяла и серьги. Новые, те, что Папа купил Селии в Милане. Селия начала переодеваться с тяжелым сердцем. Она чувствовала, что вечер не сулит ничего хорошего...

Найэл и Мария сидели бок о бок на речном трамвайчике, который плыл к Сен-Клу. Париж, прекрасная призрачная дымка, остался позади. Они сидели на верхней палубе и ели вишни, бросая косточки на головы пассажиров. Поверх вечернего платья Мария накинула пиджак Найэла из верблюжьей шерсти. Платье было зеленого цвета, и яшмовые серьги Селии безупречно подходили к нему.

— Дело в том, — сказала Мария, — что мы никогда не должны расставаться.

— Мы никогда и не расставались, — сказал Найэл.

— А сейчас? — спросила Мария. — Ты в Париже, я в Лондоне. Это ужасно. Для меня это невыносимо. Именно поэтому я так несчастна.

— Разве ты несчастна?

— Очень.

Она выплюнула вишневую косточку на лысину пожилого француза. Тот посмотрел наверх, готовый разразиться проклятиями, но, увидев Марию, улыбнулся и поклонился ей. Затем он огляделся в поисках лестницы на верхнюю палубу.

— Я так одинока, — сказала Мария. — Меня никто не смешит.

— Через несколько недель тебе будет не до смеха, — заметил Найэл. — У тебя начнутся репетиции.

Пароходик, пытаясь плыть по извилистой реке, обрамленной погруженными в тень деревьями. На набережные опустились сумерки. В воздухе витали шумы и запахи Парижа.

— Давай уедем, — сказал Найэл. — Вот так, все бросим и уедем.

— И куда же мы могли бы уехать?

— Мы могли бы уехать в Мексику.

Они держали друг друга за руки и смотрели поверх реки на деревья.

— Шляпы с остроконечными тульями... — сказала Мария. — Не думаю, что мне нравятся мексиканские шляпы.

— Тебе и не нужна шляпа. Только туфли из особой кожи с запахом.

— Ни ты, ни я не умеем ездить верхом, — сказала Мария. — А в Мексике обязательно надо уметь ездить верхом. Мулы. И все вокруг стреляют.

Она смяла бумажный пакетик из-под вишни и бросила его в реку.

— Дело в том, — сказала она, — что я вовсе не уверена, хочу я уехать или нет.

— Дело в том, — сказал Найэл, — что я предпочел бы жить на маяке.

— Почему на маяке?

— Ну, на мельнице. В хмелесушилке. Или на барже.

Мария вздохнула и прислонилась к плечу Найэла.

— Надо смотреть фактам в лицо: мы никогда не будем вместе, — сказал Найэл.

— Мы могли бы быть вместе... иногда, — сказала Мария, — время от времени. До Сен-Клу еще далеко?

— Не знаю. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Так, любопытно. Мы должны успеть... кабаре, Фрида, твои песни.

Найэл рассмеялся и обнял Марию.

— Видишь ли, — сказал он, — для тебя побег — своего рода игра, представление. А Сен-Клу — все равно что Мексика, только ближе.

— Мы могли бы сделать из этого символ... — сказала Мария. — Нечто такое, к чему мы всегда стремимся и чего никогда не обретаем. Нечто такое, что всегда остается вне пределов досягаемости. Кажется, есть одно стихотворение, которое начинается словами: «О Господи — Монреаль!» Мы можем сказать: «О Господи — Сен-Клу!»

Повеяло холодом. Мария застегнула пиджак на все пуговицы.

— Вот что мы можем сделать, — сказала она. — Мы можем получить лучшее от обоих миров, вернувшись в Париж через Булонский лес на такси. Такси может ехать медленно... специально. Скорее всего шофер проявит тактичность.

— Во Франции шоферы никогда не оглядываются на заднее сиденье. Они слишком хорошо обучены...

— ...как бы то ни было, — словно продолжая прерванную фразу, проговорил Найэл, когда такси выезжало из Булонского леса, — я бы предпочел поехать в Мексику.

— Нищим выбирать не приходится, — сказала Мария. — И все же...

— Что все же?..

— Я все еще пахну горчицей?

А в Париже Папа, Фрида и Селия обедали в напряженной, натянутой атмосфере. Папа был раздражен и сердит. Он взял на себя труд навестить пасынка, а его пасынок и пальцем не пошевелил, чтобы увидеться с ним. Он оплатил проезд дочери из Лондона и ее проживание в гостинице, а она шляется по улицам, как венская проститутка.

Все это было громко высказано Фриде за обедом.

— Я умываю руки во всем, что касается этих двоих, — сказал он. — Найэл просто-напросто избалованный сводник. Мария — потаскуха. В обоих течет дурная кровь. Оба плохо кончат. Слава Богу, у меня есть вот этот ребенок. Благодарение Богу за Селию.

Фрида только улыбалась и сигарета за сигаретой курила свой «Честерфилд». Возможно, она и в самом деле похожа на наставника, подумала Селия, на снисходительного, отзывчивого наставника.

— Они скоро появятся, — сказала Фрида. — Я и сама была молодой... в Париже. Когда-то.

Долгий обед закончился. Но впереди был ужин и кабаре. Папа молча оплатил счет, и они так же молча отбыли на машине в то место, которое Папа предпочел назвать *bo?te de nuit*. [49]

— Все они одинаковые, эти заведения, — с мрачным видом сказал он. — Убежища порока. Совсем не то, что в мое время. Как низко вы пали, моя дорогая Фрида. Досадно низко. — Он пожал плечами и покачал головой.

По словам Папы, Селия ожидала, что *boite de nuit* будет помещаться в чем-то вроде подвала, погребенного глубоко под землей. С бледными, зловещего вида посетителями, танцующими прижавшись щека к щеке. Она очень удивилась, когда вошла в ресторан, похожий на Посольский клуб в Лондоне. Изысканно одетые женщины. Некоторые из них знали Папу. Он улыбался и раскланивался с ними. Фрида провела их к столику в углу зала. Вскоре к нему подошел молодой человек с осиной талией; щелкнув каблуками, он низко поклонился Селии и пригласил ее на танец. Она вспыхнула и взглянула на Папу. Наверное, он по метшей мере маркиз или даже принц из дома Бурбонов.

— Все в порядке, — сказала ей Фрида. — Это всего-навсего профи. С ним можно не разговаривать.

Разочарованная Селия встала и пошла танцевать. Все же это своего рода комплимент. И она как пушинка унеслась в руках молодого человека. Представление началось немного позднее. В нем принимали участие два исполнителя. Француз-рассказчик и Фрида. Француз был очень маленьким и очень толстым. Как только он появился, Папа начал смеяться и хлопать в ладоши. Папа был именно таким зрителем. Он от всего получал удовольствие. Селия не понимала ни слова, но не потому, что забыла французский язык, а потому, что рассказчик говорил на той его разновидности, которую она никогда не понимала. Наверное, он был до

крайности вульгарен, раз Папа беспрерывно смеялся. Он смеялся, пока по щекам у него не потекли слезы и он не стал задыхаться. Француз был в восторге, его выступление еще никогда не проходило с таким успехом. Затем настала очередь Фриды; она встала из-за столика и подошла к роялю. Селия почувствовала, что краснеет. Всегда испытываешь некоторую неловкость, когда кто-то из знакомых выступает совсем рядом, а не на сцене. Фрида оказалась весьма предусмотрительной. Сперва она исполнила несколько номеров, в которых кого-то имитировала, и, хотя Селия не знала, кого именно — все они были французы, — по дружным аплодисментам она поняла, что эти певцы пользуются любовью зрителей.

Но вот в зале приглушили свет, и Фрида стала петь песни Найэла.

Слова были написаны другими, но музыку, конечно, сочинил Найэл. Некоторые песни исполнялись на английском языке, некоторые на французском. У Фриды был низкий, хриловатый голос, иногда она фальшивила, на что никто не обращал внимания — столько в нем было тепла и выразительности. Песни, которые Селия слышала впервые, были хорошо известны людям, сидевшим за столиками. Они стали подпевать Фриде, сперва тихо, затем все громче и громче. Сердце Селии радостно билось, она испытывала гордость. Не за Фриду — она ее едва знала, а за Найэла — своего брата. Песни, написанные им, его достояние, как и рисунки, выполненные ею, принадлежат только ей. Незаметно для себя самой Селия стала подпевать вместе со всеми и, взглянув на Папу, увидела, что он тоже подхватил мелодию. В глазах у него стояли слезы, но на сей раз не шампанское было тому виной. То были слезы гордости за Найэла, его пасынка, в жилах которого текла дурная французская кровь...

В вестибюле Найэл ждал Марию — она пудрила нос в туалете. Он надеялся, что они опоздают, что к их приходу представление закончится, но они явились вовремя. Он слышал звуки рояля и голос Фриды. Она пела последний куплет песни, который всегда вызывал самый бурный восторг слушателей. Возможно, оно и к лучшему; он не мог сказать наверняка. В конце концов, не все ли равно? Мария вышла из туалета.

— Как я выгляжу? Все в порядке? — спросила она.

— На моей памяти ты выглядела и хуже, — ответил он. — Нам действительно надо войти?

— Конечно, — сказала она. — Постой, я слышу твою песню.

Они вошли в зал и остановились у входа, глядя на Фриду. Все собравшиеся пели вместе с ней; кое-кто отбивал такт ногой. Несколько голов повернулись в сторону Найэла и Марии. Мария услышала легкий шепот и едва слышный всплеск аплодисментов.

Она улыбнулась и бессознательно сделала шаг вперед — вторая натура: при звуке аплодисментов улыбаться и делать шаг вперед. Потом она заметила, что лица собравшихся обращены не к ней, а к Найэлу. Люди улыбались и показывали на Найэла. Фрида, смеясь, отвернулась от рояля и улыбалась ему; шепот публики стал более громким и настойчивым.

«Le petit Niall... Le petit Niall...» — крикнул кто-то, и Мария, на которую никто не обращал внимания, одиноко стоя у стены, видела, как Найэл с усталым, безразличным видом подошел к роялю и, слегка подтолкнув Фриду, сел на стул и начал играть. Все засмеялись и зааплодировали, а Фрида, облокотясь на рояль, запела под аккомпанемент Найэла.

Никем не замеченная Мария прошла между столиками в дальний угол, где сидели Папа с Селией, и шепотом принялась извиняться за опоздание.

— Шш... шш... — нетерпеливо прервал ее Папа. — Слушай Найэла.

Мария села и, сложив руки на коленях, стала вертеть кольцо, подаренное Найэлом. Единственная из всех присутствующих она не пела.

Немного позднее, когда программа закончилась и все ужинали за своими столиками, а Папа и Фрида попутно обсуждали различные профессиональные тонкости, Мария повернулась к Найэлу и сказала:

— Ты ужасно выглядел. Мне было просто стыдно. Во всем зале только ты не одет подобающим образом.

— А к чему мне так одеваться? — спросил Найэл. — Они не имели бы ничего против даже в том случае, если бы на мне был жилет и башмаки, подбитые гвоздями.

— Просто успех вскружил тебе голову, — сердито сказала Мария. — Я думала, что этого не произойдет, но, увы, произошло. В Лондоне ты бы провалился.

Официант предложил ей шампанского, но она покачала головой.

— Воды со льдом, пожалуйста, — сказала она.

— Теперь ты понимаешь, — сказал Найэл, — что я имел в виду, говоря о маяке или барже?

Мария не удостоила его ответом и повернулась к нему спиной.

— Я писала тебе про сына лорда Уиндэма? — спросила она Селию.

— Да, — ответила Селия. — Ты писала, что у него довольно привлекательная внешность.

— Действительно, привлекательная. Он очень увлечен мною. К тому же не женат.

Уголкем глаза Селия видела, что профессиональный танцор с осиной талией снова приближается к их столику. Готовая принять его приглашение, она отодвинула стул. Но профи даже не взглянул на нее. Он низко поклонился Марии.

Мария улыбнулась, встала из-за стола и, что-то быстро говоря по-французски, упорхнула вместе с ним. Впервые с тех пор, как закончилась программа, сидевшие за соседними столиками перестали смотреть на Найэла и устремили взоры на Марию.

Серьги ей очень к лицу, с грустью подумала Селия, гораздо больше, чем мне. Может быть, она захочет, чтобы я ей их отдала?

Сидевший рядом Папа взволнованно разговаривал с Фридой.

— Горжусь детьми? Конечно, я горжусь ими, — говорил он. — Умение показать товар лицом у них в крови. И мне безразлично, молочная то корова или жеребец — воспитание сказывается.

Мария в паре с профессионалом промелькнула перед их столиком. Она оглянулась через плечо и показала Найэлу язык.

Глава 15

Высокие напольные часы пробили шесть раз. Сверху, из ванной донесся шум льющейся воды. Должно быть, Чарльз промок во время прогулки и теперь принимал ванну. Было что-то зловещее в том, что он сразу поднялся наверх, не заглянув в гостиную. Это значило, что настроение его не изменилось. И мы все еще были паразитами.

— Перспектива ужина мне не слишком улыбается, — сказал Найэл. — Невеселое занятие сидеть за столом, когда никто словом не обмолвится. Кроме Полли, которая снова заведет свои вечные разговоры: «Ах, мамочка, я должна рассказать вам, что говорили детки, пока раздевались» — и пойдет, и пойдет.

— Ее рассказ нарушит молчание, — сказала Селия. — Пусть уж лучше говорит Полли, чем кто-нибудь из нас. К тому же Чарльз никогда не слушает. Он привык к ее разговорам, как к тиканью часов.

— Я бы не возражал, если бы дети говорили что-нибудь забавное, — сказал Найэл. — Но ведь такого не бывает. Хотя, возможно, они и говорят, но в пересказе Полли исчезнет весь юмор.

— Ты слишком суров к Полли, — заметила Селия. — Я действительно не знаю, что стало бы с этим домом без нее.

— Если бы только не приходилось сидеть с ней за одним столом, — сказал Найэл. — Это пробуждает во мне самые низменные инстинкты. Так и хочется поковырять в зубах и срыгнуть.

— Ты, во всяком случае, так и поступаешь. Относительно общего стола с Полли я согласна, но что предложить ей взамен? Поднос? Кто и куда его отнесет? Что на него положат? Ножку холодного цыпленка с нашего стола?

— В столовой она именно это и получает, — заметил Найэл.

— Да, — согласилась Мария. — Но она сама ее себе отрезает. Было бы гораздо более оскорбительно, если бы эту ножку отрезал кто-то другой и посылал ей на тарелке неизвестно куда, словно собачонке. Как бы то ни было, это началось во время войны, когда все ужинали в половине седьмого.

— Все, кроме меня, — сказал Найэл.

— Еще бы, — заметила Мария. — Как это похоже на тебя. Дежурить в качестве пожарного на крыше какого-нибудь склада, куда никто больше не поднимался.

— Это было очень опасно, — сказал Найэл. — Я совсем один стоял на крыше непонятной формы, а вокруг падали разные штуки. Никто никогда не поймет, что я проявлял чертовскую храбрость. Куда большую, чем Чарльз, который чем-то занимался в П. А. К. Н.[50] или где-то еще.

— Не в П. А. К. Н., — сказала Мария.

— Все они звучат одинаково, — сказал Найэл. — Люди так привыкли к униформе и цепочкам букв, что все глотали. Помню, как я сказал одной женщине, что работаю в Д. Е. Р. Б. М. О., и она поверила.

Селия встала и принялась поправлять подушки, собирать бумаги. Кроме нее никто бы этого не сделал. А Чарльз терпеть не мог беспорядок. В ее лондонской квартире не было ни пылинки, хотя, возможно, оттого, что она там хозяйка. А Фартингз принадлежал Чарльзу.

— Знаешь, Найэл, — сказала Селия, — по-моему, Чарльз недолюбливает тебя именно потому, что тебе недостает уважения к традициям.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал Найэл. — Я с огромным уважением отношусь к традициям.

— Да, — сказала Селия, — но к другим. Когда ты говоришь о традициях, то думаешь о том, как королева Елизавета, сидя на коне, произносит речь в Гринвиче, а потом размышляет, не послать ли за Эссексом или кем-то еще, кто был дорог ее сердцу в то время. Когда о традициях говорит Чарльз, он имеет в виду современный мир. Гражданственность, исполнение долга, борьбу добра со злом, то, на чем стоит наша страна.

— Как скучно, — сказал Найэл.

— Вот-вот, — сказала Селия. — Такое отношение и вызывает у Чарльза нескрываемое отвращение. Неудивительно, что он называет тебя паразитом.

— Но вовсе не поэтому, — возразила Мария, встав и посмотревшись в зеркало над камином. — Причина подобного отношения носит сугубо личный характер. Это глубоко затаившаяся зависть. Я всегда знала о ней, но делала вид, что не замечаю. Раз уж сегодня мы так разоткровенничались, признаем и это.

— Что признаем? — спросил Найэл.

— То, что Чарльз всегда ревновал к тебе, — сказала Мария.

Наступило долгое молчание. Прежде ни у одного из нас не хватало решимости высказать это вслух; во всяком случае, столь многословно.

— Не надо играть в правдивость, я терпеть этого не могу, — поспешно сказала Селия.

Мария всегда была так сдержанна. Если ее прорвало, всякое может случиться. Но дело сделано. Однако стоило ей об этом подумать, как она тут же задала себе вопрос: а что она имеет в виду? Какое дело и почему сделано? Все слишком запутано. Теперь можно всего ожидать.

— Когда это началось? — спросил Найэл.

— Что началось?

— Ревность.

Из-за канделябра на камине Мария достала губную помаду и стала красить губы.

— Ах, не знаю, — сказала она. — Думаю, очень давно. Возможно, когда я вернулась на сцену после рождения Кэролайн. Чарльз отнес мое возвращение на твой счет. Он считал, что ты имеешь на меня влияние.

— На тебя никто никогда не имел влияния, — сказал Найэл. — И я менее всех.

— Знаю, но он этого не понял.

— Он хоть раз что-нибудь сказал? — спросила Селия.

— Нет, просто я почувствовала. Между нами возникла странная напряженность.

— Но ему следовало знать, что это случится, — возразила Селия. — Я имею в виду твоё желание выступать на сцене. Не мог же он надеяться, что ты поселишься в деревне, как обыкновенная женщина.

— Думаю, что надеялся, — сказала Мария. — По-моему, он с самого начала неправильно понял мой характер. Я уже говорила вам, что виной тому мое исполнение роли Мэри Роз. Мэри Роз деревенская девушка. Постоянно прячется среди яблонь, а потом исчезает на острове. Она была призраком, и Чарльз полюбил призрак.

— А кого полюбила ты? — спросил Найэл.

— Раз я была Мэри Роз, то я полюбила Саймона, — ответила Мария. — Чарльз был воплощением всего того, что я видела в Саймоне. Спокойный, надежный, преданный. К тому же в то время рядом со мной никого не было. И все эти цветы...

— Чарльз не единственный, кто посылал тебе цветы, — сказала Селия. — Ты их от многих получала. Один богатый американец каждую неделю посылал тебе орхидеи. Как его звали?

— Хайрэм как-то-там-еще, — сказала Мария. — Однажды он нанял самолет, чтобы свозить меня в Ле-Туке. Меня стошнило прямо на его пиджак. Он очень мило к этому отнесся.

— Выходные прошли успешно? — спросил Найэл.

— Нет. Меня все время не оставляли мысли о пиджаке. Так трудно вычистить. А когда в воскресенье ночью мы летели обратно, пиджака с ним не было.

— Наверное, он подарил его официанту, — сказал Найэл. — Или лакею. Скорее всего лакею. Тот мог без лишних слов сбросить его с рук.

— Да, — сказала Селия, — и, будучи лакеем, наверняка знал, как его вычистить. Но как бы то ни было, два дня, проведенные с Хайрэмом в Ле-Туке, еще не объясняют, почему Мария вышла за Чарльза. Цветы и надежность тоже не причина. Ни при чем здесь и Саймон с Мэри Роз. Все это Мария могла иметь и не выходя замуж. Наверное, в Чарльзе было нечто такое, что побудило ее на два года бросить театр и уехать в деревню.

— Не раздражай девушку, — сказал Найэл. — Нам прекрасно известно, почему она это сделала. Не понимаю, отчего она так скрытничает.

Мария положила пудреницу в вазу, где она лежала с прошлого воскресенья.

— Я не скрытничаяю, — возразила она. — И если ты имеешь в виду, что я еще до свадьбы забеременела Кэролайн, то это неправда. Чарльз слишком достойный человек, чтобы позволить себе нечто подобное. Кэролайн родилась день в день через девять месяцев после свадьбы. Просто я была одной из светских невест. Замужество казалось мне таким романтическим. Словно с тебя снимают покрывало.

— Ты, конечно, чувствовала себя немного лицемеркой? — спросила Селия.

— Лицемеркой? — Возмущенная Мария отвернулась от зеркала. — Ничуть. Почему, черт возьми, я должна была чувствовать себя лицемеркой? До этого я никогда не была замужем.

— Да, но...

— Это был один из самых волнующих моментов в моей жизни. И то, о чем я говорила, и венчание в церкви Святой Маргариты, и как я шла через придел, опираясь на руку Папы, вся в белом с головы до пят. Правда, был и один неприятный эпизод. На мне были новые туфли. Не помню почему, но я купила их в страшной спешке, и на задниках у них была указана цена. Когда, преклонив колени для молитвы, я вдруг вспомнила про это, то даже благословения не услышала. В голове у меня стучала одна мысль: «О Господи! Мать Чарльза увидит цену на задниках моих туфель».

— А если бы и увидела, разве это так уж важно? — спросил Найэл.

— Да. Она бы узнала, где я их купила и что стоят они всего тридцать шиллингов. Я бы этого не перенесла.

— Сноб, — сказал Найэл.

— Нет, — возразила Селия. — Вовсе не сноб. Девушки страшно чувствительны к таким вещам. Я так до сих пор чувствительна, хотя, видит Бог, уже не так молода. Если я покупаю платье в «Харви Николз»,^[51] то всегда отрываю этикетки. Тогда могут подумать, что платье сшито по индивидуальному заказу у какого-нибудь знаменитого портного, а не куплено в магазине.

— Черт возьми, а кого это заботит?

— Нас. Нас, женщин. Довольно глупо, но для нас это предмет личной гордости. Однако Мария пока так и не сказала, почему она вышла замуж за Чарльза.

— Она хотела стать достойной миссис Чарльз Уиндэм, — сказал Найэл. — И если ты полагаешь, что была какая-нибудь иная причина, то ты никогда по-настоящему не знала Марию, хоть Папа и породил вас обеих.

Найэл закурил сигарету и бросил зажженную спичку на камин рядом с губной помадой Марии.

— Это правда? — спросила Селия. В ее голосе звучало сомнение. — Это и было истинной причиной? Я хочу сказать, это правда?

Глаза Марии затуманились, и в них появилось отсутствующее выражение, как всегда в тех редких случаях, когда она попадалась в ловушку.

У нее был смущенный вид маленькой девочки, которая напроказила и просит прощения.

— В конце концов, — сказала она, — Чарльз был очень красив. Он и сейчас красив, хоть и располнел.

— Забавно, — сказала Селия, — можно быть близкими родственниками, вместе вырасти и понятия не иметь ни о чем подобном. Чтобы ты вдруг захотела стать достойной... Это просто не вяжется с твоим характером.

— С характером Марии ничто никогда не вязалось, — сказал Найэл. — Вот почему Чарльзу было всегда так трудно с ней. Она хамелеон. Она меняется в зависимости от настроения. Поэтому ей и скучно никогда не бывает. Наверное, это очень забавно — каждый день быть кем-то другим. Ты и я, Селия, всегда будем тем, что мы есть, изо дня в день, до конца дней своих.

— Но... достойной, — упорствовала Селия, не слушая Найэла. — Я хочу сказать, что в сущности это не так уж и много. Будь он виконтом или графом, тогда иное дело.

— На бумаге это выглядит очень недурно, — задумчиво проговорила Мария. — Достойная миссис Чарльз Уиндэм. Я нередко выводила эту подпись на последней странице своей записной книжки. К тому же я не была знакома ни с одним графом или виконтом.

— Могла бы и подождать, — сказала Селия. — В твоём положении рано или поздно кто-нибудь обязательно подвернулся бы.

— Я не хотела ждать, — сказала Мария. — Я хотела выйти замуж за Чарльза Уиндэма.

Мария представила себе Чарльза... как он выглядел в те дни. Стройный, худощавый, без привычки

сутулиться, которую приобрел в последнее время, без намека на животик. Светлые, волнистые волосы. Без проседи. Кожа истинного англичанина, румяная, но по-юношески румяная. Кожа отличного наездника и ватерполиста. И непременно два раза в неделю в четвертом ряду партера подавшаяся вперед фигура — рука, облокотившаяся на колено, поддерживает голову... после спектакля стук в дверь уборной... ужин в городе. Полумрак машины. «Алвис». Красные сиденья, черный плед, которым она укрывает ноги, чтобы не замерзнуть.

В тот вечер, когда Чарльз впервые пригласил ее поужинать с ним, он сказал, что перед сном всегда читает «Смерть Артура» Мэлори.

— Почему бы не сделать по этой книге пьесу? — сказал он ей. — Почему бы какому-нибудь автору не написать историю любви Ланселота и Элейны? Вы могли бы сыграть Элейну?

— Да, — сказала она. — Я с удовольствием сыграла бы Элейну.

И пока он пересказывал ей истории из «Смерти Артура» — на это ушел почти весь ужин, — а она слушала и кивала, мысли ее были заняты свадьбой, на которой она присутствовала на прошлой неделе, но не в церкви Св. Маргариты, а в церкви Св. Георгия на Гановер-сквер... Мальчишки-хористы в белых одеяниях под белыми в оборках стихарями... церковь утопает в лилиях. С хоров несется «Голос, пронесшийся над Эдемом».

— Слишком далеко от нас рыцарский век, слишком давно ушел он в небытие, — сказал Чарльз. — Если бы война не уничтожила цвет моего поколения, мы бы его возродили. Теперь поздно. Нас осталось слишком мало.

Невеста в церкви Св. Георгия была в белом с серебром. Когда, откинув вуаль, она спускалась по ступеням паперти, все бросали конфетти. На приеме в Портленд-Плейс были длинные столы со свадебными подарками. Огромные серебряные чайники. Подносы. Абажуры. Новобрачные стояли в конце длинной гостиной и принимали гостей. Перед тем как отправиться в дорогу, новобрачная переделалась в синее платье и набросила на плечи черную лису. «Это тоже свадебный подарок», — сказал кто-то Марии. Новобрачная помахала из окна машины. На ней были новые белые перчатки до локтей. Мария представила себе, как горничная разглаживает их и вместе с замшевым ридикюлем, тоже подарком, подает новобрачной, подумала об оберточной бумаге на полу. Новобрачная улыбается, думая лишь о том, как бы поскорее уехать вместе с мужем...

— Беда в том, — сказал Чарльз, — что Ланселот всегда казался мне несколько посредственным. Как он флиртовал с Джиневрой. Без сомнения, она сама увлекла его и позволила... А вот Парсифаль, он был самым достойным в этой компании. Помните, тот малый, который нашел Святой Грааль?

Мария Делейни... Мария Уиндэм... Достопочтенная миссис Чарльз Уиндэм...

Двенадцать лет назад. Двенадцать лет — большой срок. И беда в том, что она, Мария, такая же посредственность, как Джиневра, а Чарльз по-прежнему остается Парсифалем и все так же стремится отыскать Святой Грааль. Сейчас Парсифаль наверху, в ванной, и пускает воду.

— Ума не приложу, — грустным голосом проговорила Мария, поворачивая кольцо Найэла. — Как я могла бы все изменить, если бы нам было дано вновь прожить эти годы. По крайней мере, я всегда была честна с Чарльзом. Во всем до мелочей.

— Каких мелочей? — спросил Найэл.

Мария не ответила. Да и что могла она ответить?

— Ты говоришь, я хамелеон, — наконец заговорила она. — Вероятно, ты прав. О себе трудно судить. Во всяком случае я никогда не пыталась изображать из себя достойную особу. Я хочу сказать, по-настоящему достойную, как Чарльз. Я изображала из себя кого угодно, но только не это. Я дурная, я безнравственная, лживая, я эгоистична, часто язвительна, порой недобра. Все это мне известно. Я не обманываюсь на свой счет и не приписываю себе ни единой, даже самой пустяковой добродетели. Разве это не говорит в мою пользу? Если я завтра умру, а Бог действительно существует, и я предстану пред ним и скажу: «Сэр» — или как там обращаются к Богу, «это я, Мария, самая ничтожная из земных тварей» — это будет честно. А ведь честность кое-чего стоит, не так ли?

— Как знать? — сказал Найэл. — Странная она штука. Ведь неизвестно, что Богу по душе, а что нет. Честность он может принять за бахвальство.

— В таком случае я погибла, — сказала Мария.

— Думаю, ты погибла в любом случае, — сказал Найэл.

— Я всегда надеюсь, — сказала Селия, — что любому могут проститься его грехи, ведь каждый, пусть очень давно, но сделал что-то хорошее и забыл об этом. Разве не сказано в Библии: «Всякий, кто даст ребенку чашу холодной воды во имя Мое, будет прощен».

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, — сказала Мария с некоторым сомнением, — но не слишком ли это

аллегорично? Каждый из нас должен дать людям что-нибудь заменяющее чаши с водой. Чаши — это всего-навсего обыкновенная вежливость. И если это все, что нам следует сделать во имя спасения, то к чему беспокоиться?

— Подумайте о недобрых делах, про которые мы забыли, — сказал Найэл. — Ведь именно за них нам предъявят счет. Иногда я просыпаюсь рано утром и холодею при мысли о том, что я, наверное, сделал, но не могу вспомнить.

— Наверное, тебя научил этому Папа, — сказала Селия. — У Папы была жуткая теория, которая сводилась к тому, что когда мы умираем, то идем в театр, садимся и смотрим, как перед нами вновь разворачивается вся наша жизнь. И ничего не пропущено. Ни одна отвратительная подробность. Мы должны увидеть все.

— Правда? — спросила Мария. — Как похоже на Папу.

— Наверное, это очень забавно, — сказал Найэл. — Некоторые эпизоды моей жизни я бы не прочь увидеть снова.

— Некоторые, — сказала Мария. — Но не все... Как ужасно, когда близится сцена, в которой показывается нечто постыдное, и некто знает, что через несколько минут увидит абсолютно... ну, да ладно.

— Все зависит от того, с кем был этот некто, — сказал Найэл. — В театр надо идти одному? Папа не сказал?

— Нет, не сказал, — ответила Селия. — Я думаю, одному. Хотя, возможно, в сопровождении нескольких святых и ангелов. Если там есть ангелы.

— Какая невыносимая скука для ангелов, — сказала Мария. — Хуже, чем быть театральным критиком. Просидеть чью-то бесконечно длинную жизнь с начала до конца.

— Я в этом не уверен, — сказал Найэл. — Не исключено, что подобное зрелище доставляет им удовольствие. Чего доброго, они даже предупреждают друг друга, когда ожидается что-нибудь особенное. «Послушай, старина, сегодня вечером мы увидим нечто потрясающее. В восемь пятнадцать Мария Делейни».

— Какой вздор, — сказала Мария. — Будто святые и ангелы похожи на стариков из провинциального клуба. Они выше того, о чем вы говорите.

— Значит, не стоит и возражать. Они не более чем ряд кукол.

Дверь открылась, и мы, все трое, приняли застенчивый вид, как делали в детстве, когда в комнату входили взрослые.

Это была Полли. Она просунула голову в полуоткрытую дверь — одна из ее привычек, которая приводила Найэла в ярость. В комнату она никогда не входила.

— Детки просто прелесть, — сказала она. — Сейчас они ужинают в своих кроватках. Хотят, чтобы вы поднялись к ним и пожелали спокойной ночи.

Мы понимали, что это выдумка. Дети прекрасно обошлись бы и без нас. Но Полли желала, чтобы мы их навестили. Увидели их аккуратно расчесанные блестящие волосы, красные и голубые ночные рубашки, которые она купила в «Даниел Нилз».[52]

— Хорошо, — сказала Мария. — Мы все равно поднимемся наверх переодеться.

— Я хотела помочь вам выкупать их, — сказала Селия, — но мы заговорились. Я не думала, что уже так поздно.

— Они спрашивали, почему вы не пришли, — сказала Полли. — Не следует надеяться, что тетя Селия будет постоянно бегать за вами, объяснила я. Тетенька Селия любит поговорить с мамочкой и с дядей Найэлом.

Просунутая в комнату голова исчезла. Дверь закрылась. Быстрые шаги застучали по лестнице.

— Хороша затрещина, — сказал Найэл. — В голосе целое море осуждения. Уверен, что она подслушивала под дверью.

— Я действительно чувствую себя виноватой, — призналась Селия. — Купать детей по выходным моя обязанность. У Полли так много работы.

— Не хотела бы я видеть Полли в партере нашего театра, ничего хуже нельзя и придумать, — заметила Мария. — То есть с тех пор, как умер тот, другой. На все, что бы я ни делала, она смотрит с нескрываемым осуждением. Так и слышу, как она вздыхает: «Ах, мамочка. И чем это мамочка занимается?»

— Посещение театра имело бы для нее образовательное значение, — сказал Найэл, — открыло бы новые горизонты.

— Не уверена, что она поняла бы хоть половину, — сказала Селия. — С таким же успехом человека, не различающего звуков, можно было бы привести на симфонию Брамса.

— Чепуха, — сказал Найэл. — Полли понравилась бы бутафорская мебель.

— Почему Брамса? — спросила Мария.

На лестнице снова слышались шаги. На сей раз более тяжелые. За дверью гостиной шаги помедлили, затем двинулись дальше, в столовую. Слышался хлопок — из бутылки вынули пробку. Чарльз переливал вино в графины.

— У него все еще плохое настроение, — сказала Мария. — Если бы все было в порядке, он зашел бы в гостиную.

— Не обязательно, — прошептал Найэл. — С вином у него связан целый ритуал, нужная температура и прочее. Надеюсь, у него еще осталось немного «Château Latour»?

— Не шепчи, — сказала Селия. — Словно мы в чем-то провинились. В конце концов ничего не произошло. Просто он ходил прогуляться.

Она торопливо обвела взглядом комнату. Да, все на местах. Найэл уронил пепел на пол. Она растерла его ногой по ковру.

— Идемте, надо переодеться, — сказала она. — Что мы жмемся здесь, словно преступники.

— Я чувствую себя совсем больным, — сказал Найэл. — Наверное, простудился. Мария, можно мне взять поднос к себе в комнату?

— Нет, — ответила Мария. — Если кто и будет ужинать наверху, так это я.

— Поднос вам не нужен, ни тому, ни другому, — сказала Селия. — Вы ведете себя, как маленькие дети. Мария, ты же привыкла улаживать домашние неурядицы, ты ведь не Найэл?

— Я ничего не привыкла улаживать, — сказала Мария. — Мой путь всегда был устлан розами.

— Значит, настало время пройти по терниям, — сказала Селия.

Она открыла дверь и прислушалась. В столовой было тихо. Затем слышался слабый булькающий звук жидкости, переливаемой из бутылки в хрустальный графин.

— Капитан Кук подмешивает яд в лекарство, — прошептал Найэл.

— Нет, это мой желудок, — так же шепотом ответила Мария. — На репетициях он себя всегда так ведет. В половине первого, когда я уже проголодалась.

— Этот звук напоминает мне те кошмарные дни, когда мы приехали в Колдхаммер погостить у родителей Чарльза, — сказала Селия. — Сразу после медового месяца Марии. Папа еще сказал лорду Уиндэму, что вино пахнет пробкой.

— Леди Уиндэм приняла Фриду за мою мать, — сказал Найэл. — Стихийное бедствие с начала до конца. Фрида не закрыла кран в ванной. Вода протекла вниз и испортила потолок.

— Ну конечно, теперь я вспомнила, — сказала Мария. — Вот когда все, должно быть, и началось.

— Что началось? — спросила Селия.

— Как что? То, что Чарльз стал ревновать к Найэлу, — ответила Мария.

Глава 16

Когда принимались за игру «Назовите троих или четверых, кого вы взяли бы с собой на необитаемый остров», никто не выбирал Делейни. Нас не выбирали даже поодиночке. Мы заработали — и нам кажется, не совсем справедливо — репутацию трудных гостей. Мы терпеть не можем останавливаться в чужих домах. Мы ненавидим усилия, необходимые для приспособления к новому укладу. Дома, которые не принадлежат ни одному из нас, или места, где мы не застолбили участок, такие как жилища врачей, приемные дантистов, комнаты для ожидания на вокзалах, мы отторгаем от себя, не вписываемся в них.

К тому же нам не везет. Мы садимся не на те поезда и опаздываем к обеду. Суфле безвозвратно погибает. Или сперва нанимаем машину и лишь потом спрашиваем шофера, может ли он отвезти нас за город. Все это влечет за собой лишние волнения. Ночью мы засиживаемся допоздна, по крайней мере Найэл, особенно когда под рукой есть коньяк, а по утрам лежим в постели до начала первого. Горничным, если таковые имеются, хотя в прежние времена обычно имелись, — с трудом удается попасть в наши комнаты.

Мы терпеть не можем делать то, чего ждут от нас наши хозяева. Мы испытываем отвращение от встреч с их друзьями. Круговые игры и карты нам омерзительны, разговоры тем паче. Единственный приемлемый способ проводить выходные не у себя дома — притвориться больным и весь день прятаться под одеялом или незаметно забраться в глубь сада. Мы не слишком щедры на чаевые. И всегда одеты не по случаю. Правда, куда лучше никогда не уезжать из дома, разве что когда вы влюблены. Тогда, говорил Найэл, игра стоит свеч, хотя бы ради

удовольствия прокрасться по коридору эдак часа в три утра.

В первый год замужества Мария вместе с Чарльзом довольно часто по нескольку дней гостила в загородных домах: она еще играла роль миссис Чарльз Уиндэм. Но удовольствия подобные визиты ей не доставляли. Разве что несколько первых спусков по лестнице в развевающемся вечернем платье. Мужчины всегда слишком надолго задерживались в столовой, и ей приходилось вести нескончаемые разговоры с женщинами, которые, не закрывая рта, засыпали ее вопросами о театре. Днем мужчины исчезали со своими ружьями, собаками и лошадьми, и, поскольку Мария не умела ни стрелять, ни ездить верхом, ни вообще что-нибудь делать, она вновь оставалась с женщинами. Для нее это был суший ад.

У Селии были другие сложности.

Считая ее более доброжелательной и отзывчивой, чем Найэл или Мария, каждый стремился поведать ей историю своей жизни. «Вы представить себе не можете, что он со мной сделал», и она оказывалась вовлеченной в чужие беды; искали ее совета, требовали ее помощи — все это походило на сеть, которая стягивалась вокруг нее и выбраться из которой не было никакой возможности.

В то время в Колдхаммере каждый из всех сил старался вести себя подобающим образом. Нас пригласили посетить Колдхаммер излишне поспешно и, возможно, не слишком искренне во время приема по случаю свадьбы Марии. Ухаживание, свадьба — все произошло так стремительно, что бедные Уиндэмы пребывали в полнейшем замешательстве и даже не успели разобраться, кто есть кто в семействе Делейни. Единственное, что запало в их идущие кругом головы, сводилось к тому, что их возлюбленный сын женится на очаровательной, бесплотной девушке, которая играет в возобновленном спектакле «Мэри Роз», и что она дочь того самого Делейни, чей красивый голос всегда вызывал слезы на глазах леди Уиндэм.

— В конце концов, этот человек — джентльмен, — сказал, наверное, лорд Уиндэм.

— И она так мила, — наверное, подхватила леди Уиндэм.

Леди Уиндэм была высока и величественна, как курица-аристократка, а ее приятные манеры отличались какой-то странной холодностью, словно ее с колыбели насильно заставляли быть учтивой. Мария объявила, что она особа покладистая и ничуть не страшная; но пред этим леди Уиндэм подарила ей бриллиантовый браслет и два меховых боа, и глаза у нее сияли как у Мэри Роз. Селия сочла леди Уиндэм грозной и значительной. На свадебном приеме она приперла Селию к стенке и заговорила о Тридцать девятой статье; и та в первый момент безумия решила, что эта статья имеет какое-то отношение к предметам, найденным в могиле Тутанхамона. И лишь позднее, спросив Марию, Селия открыла для себя, что коньком леди Уиндэм была реформа Молитвенника. Найэл настаивал на том, что леди Уиндэм извращенка и в потайном шкафу, о существовании которого известно ей одной, держит хлыст и шпоры.

Лорд Уиндэм был суетливым маленьким человечком, очень педантичным во всем, что имело отношение ко времени. Он постоянно вынимал часы на длинной толстой цепочке, смотрел на стрелку и затем, что-то бормоча себе под нос, сверял с ее показаниями остальные часы в доме. Он никогда не садился. Он пребывал в постоянном движении. Его день представлял собой сплошное длинное расписание, в котором была заполнена каждая секунда. Леди Уиндэм звала его «Доббином»,^[53] что абсолютно не соответствовало ни его внешности, ни характеру. Возможно, именно это обстоятельство и навело Найэла на мысль о хлысте и шпорах.

— Как только Чарльз и Мария вернутся из Шотландии, вы должны приехать в Колдхаммер, — сказала Папе леди Уиндэм в водовороте свадьбы.

А Мария, чье маленькое личико скрывал огромный букет лилий, добавила:

— Да, Папа, прошу тебя.

Взволнованная происходящим, она не понимала, что говорит, не отдавала себе отчета в том, что увидеть Папу в Колдхаммере все равно, что бродить по розовому саду епископа и неожиданно наткнуться на голого Иова.

Крепкий и энергичный, Папа легко сходиллся с королями и королевами (особенно теми, что пребывали в изгнании), итальянскими аристократами, французскими графинями и самыми богемными представителями того слоя общества, который получил название «лондонская интеллигенция»; но среди английских «джентри» — а Уиндэмы были типичными «джентри» — Папа был не на месте.

— О, конечно, мы приедем в Колдхаммер, — сказал Папа, возвышаясь над гостями, которые рядом с ним казались пигмеями. — Но я настаиваю, чтобы мне отвели спальню, где есть кровать с пологом. Вы можете предоставить мне такую? Я должен спать на кровати с пологом.

Он проплакал все венчание. Когда выходили из ризницы, Селии пришлось поддерживать его. Можно было подумать, что он присутствует на похоронах Марии. Но на приеме шампанское его оживило. Он горел любовью ко всем и каждому. Он целовался с совершенно незнакомыми людьми. Замечание о кровати с пологом было,

разумеется, шуткой, на него не стоило обращать внимание. Но леди Уиндэм отнеслась к нему со всей серьезностью.

— Кровать с пологом есть в покоях королевы Анны, — сказала она. — Но комнаты выходят на север, и под ними подъездная дорога. Вид на юг гораздо приятнее, особенно когда цветет *Prunus Floribunda*. [54]

Папа приложил палец к носу. Затем наклонился к уху леди Уиндэм.

— Придержите вашу *Prunus Floribunda* для других, — сказал он громким шепотом. — Когда я приеду с визитом в Колдхаммер, с меня хватит, если будет цвести моя хозяйка.

Слова Папы оставили леди Уиндэм совершенно равнодушной, и на ее невозмутимом челе ровно ничего не отразилось.

— Боюсь, что вы не садовод, — сказала она.

— Не садовод? — запротестовал Папа. — Цветы моя страсть. Все, что есть в Природе растущего, приводит меня в восторг. Когда мы были молоды, моя жена и я часто босиком бродили по лугам и пили росу с лепестков лютиков. В Колдхаммере я к этому вернусь. Селия будет бродить со мной. Мы будем бродить все вместе. Сколько из нас вы принимаете? Моего пасынка Найэла? Мою старую любовь Фриду?

Он сделал легкий жест рукой, которым в своей щедрости, казалось, обнял голов двенадцать.

— О, разумеется, — сказала леди Уиндэм. — Привозите кого желаете. Если понадобится, мы можем разместить человек восемнадцать...

В ее голосе прозвучало некоторое сомнение. Антипатия боролась с вежливостью. Когда взгляд леди Уиндэм остановился на Фриде, чья шляпа в этот момент выглядела еще более нелепо, Найэл понял, что она пытается определить, какие родственные узы их связывают. Значит, Фрида бывшая жена, а Найэл ее сын? Или все они незаконнорожденные? Впрочем, не важно. Не стоит об этом думать. Манеры прежде всего. Ведь Чарльз уже женился на Марии; она, во всяком случае, кажется такой приличной девушкой, такой неиспорченной.

— Мы будем рады видеть всю вашу семью, — сказала леди Уиндэм. — Не так ли, Доббин?

Лорд Уиндэм пробормотал что-то нечленораздельное и вытащил часы.

— Чем они занимаются? — спросил он. — Им пора переодеваться. Вот что хуже всего в таких делах. Сколько можно липнуть друг к другу? — Он взглянул на стенные часы. — Они не отстают?

Вот так Делейни и оказались в Колдхаммере. Это было большое, величественное здание; видимо, строить его начали еще до Тюдоров, да так и не довели до конца. Время от времени к нему пристраивали очередной флигель. К обрамленной колоннами парадной двери вела широкая каменная лестница. От окружающего парка дом был отделен рвом, который Уиндэмы называли Ха-Ха. С южной стороны здания, за террасой были устроены площадки для развлечений. Когда притупилась острота первых впечатлений, Мария нередко задавала себе вопрос: каким развлечениям можно на них предаваться? Слишком много извилистых дорожек, утрамбованных прилежными садовниками, расходилось в разные стороны; симметричные ограды из конусообразных тисов закрывали вид. Ничто не росло по воле природы, все было тщательно распланировано. По бокам террасы стояли каменные львы с зевами, разверстыми в несмолкающем реве. Даже небольшую рощицу, единственное место для прогулок в дождливую погоду, издали напоминавшую рисунки Рэгхэма, портил неуместный там пруд с лилиями, на берегу которого сидела, прижавшись к земле, свинцовая лягушка.

— Эта старая лягушка мое первое воспоминание в жизни, — сказал Чарльз, когда впервые привез Марию в Колдхаммер.

И Мария, делая вид, что восхищена скульптурой, тут же подумала, хоть и испытала при этом чувство вины, что лягушка обладает досадным и даже зловещим сходством с самим лордом Уиндэмом. Найэл, разумеется, тоже сразу обратил на это внимание.

— Старую одежду для деревни, — сказал Папа перед поездкой. — Старая одежда как раз то, что надо. Того, кто отправляется в деревню в лондонском костюме, следует исключить из его клуба.

— Только не старый свитер, он весь в заплатках из моих чулок, — запротестовала Селия. — И не пижаму с дырявыми брюками.

— Я буду спать один в огромной кровати с пологом, — сказал Папа. — Если, конечно, ее светлость не соблаговолит посетить меня. Как по-твоему, на это есть шансы?

— Один против ста, — ответила Селия. — Если не случится чего-нибудь вроде пожара. Только не этот галстук, Папа. Он слишком яркий.

— Мне обязательно нужен цвет, — сказал Папа. — Цвет — это все. Красный галстук отлично подойдет к твидовому пиджаку. Такое сочетание лишено официальности. К черту официальность.

У Папы было слишком много багажа. Целый чемодан лекарств, коричневое масло, настойка росноладанной

смолы, даже шприцы и резиновые трубки.

— Как знать, дорогая, — сказал Папа. — Я могу заболеть. Может быть, мне придется провести в Колдхаммере несколько месяцев, и около меня день и ночь будут сидеть две сиделки.

— Но, Папа! Ведь мы едем всего на одну ночь.

— Когда я собираюсь в дорогу, то собираюсь на всю вечность.

И он крикнул Андре, чтобы тот принес трость пальмового дерева, когда-то подаренную ему лордом-мэром, а также гавайские рубашки и соломенные сандалии на случай жаркой погоды. А еще том Шекспира и несокращенное издание «Декамерона» с иллюстрациями какого-то француза.

— Старик Уиндэму это, наверное, понравится. Я должен сделать подарок старику Уиндэму. Вчера в «Бампусе»[55] я заплатил за них пять фунтов.

Было решено нанять такси, поскольку в Папиной машине на всех не хватило бы места. Во всяком случае, с багажом.

Накануне поездки Папа совершил роковую ошибку — купил себе кепку. Он был убежден, что к твидовому костюму необходима именно кепка. Она была новой и выглядела таковой. Не только новой, но и на редкость вульгарной. В ней Папа походил на уличного торговца в Пасхальное воскресенье.

— Она куплена в «Скоттс», — заявил Папа, — и не может быть вульгарной.

Он водрузил кепку на голову и, заняв место рядом с шофером, положил на колени огромную карту, на которой, при отсутствии главных дорог, была отмечена каждая верховая тропа в непосредственной близости от Колдхаммера. На протяжении всех семидесяти миль пути Папа постоянно возражал против каждой дороги, каждого поворота, выбираемых шофером. Тот факт, что карта была издана в восемнадцатом веке, его нисколько не смущал.

Если Папа привез с собой слишком много вещей, с трудом уместившихся в нескольких чемоданах, то Фрида впала в противоположную крайность и приехала почти без ничего: с несколькими мелочами, завернутыми в бумажные пакеты, и с вечерним платьем, засунутым в некое подобие почтовой сумки, которую она носила перекинутой через плечо. Фрида и Найэл приехали в Лондон на свадьбу с намерением пробыть там два дня, а задержались на целых четыре недели, но ни тот ни другой так и не удосужились приобрести чемоданы.

Лишь перед самым отъездом в Колдхаммер в душе Найэла зародились дурные предчувствия.

Наряд Фриды не отличался излишним вкусом. На ней было длинное шелковое платье в полоску, которая еще больше подчеркивала ее рост, голову украшала огромная широкополая шляпа с перьями, купленная ею специально для свадьбы. Белые перчатки по локоть наводили на мысль, будто она отправляется на королевский бал под открытым воздухом.

— В чем дело? Что-нибудь не так? — спросила его Фрида.

— Не знаю, — ответил Найэл. — По-моему, шляпа.

Фрида сорвала шляпу с головы. Но посещение парикмахерской не пошло на пользу ее волосам. Мастер переложил краски, и волосы стали, мягко говоря, слишком яркими. Найэл промолчал, но Фрида все поняла.

— Да, знаю, — сказала она, — потому-то мне и приходится надевать эту чертову шляпу.

— А как быть вечером? — спросил Найэл.

— Тюль, — беззаботно ответила Фрида. — Я повяжу голову тюлем. И скажу леди Уиндэм, что это последняя парижская мода.

— Что бы ни случилось, — сказал Найэл, — нам нельзя подводить Марию. Мы должны помнить, что это ее день.

Он принялся грызть ногти. Он нервничал. Мысль о том, что он снова увидит Марию через месяц после свадьбы, причиняла ему боль. Жизнь в Париже, жизнь с Фридой, внезапный, неожиданный успех его грошовых песенок не имели для него никакого значения.

От недавно обретенных легкости и непринужденности не осталось и следа. Найэл Делейни, за которым в Париже бегали толпы поклонниц, Найэл Делейни, избалованный и обласканный многими, вновь превратился в пугливого мальчика с нервными руками.

— Мы должны помнить, — повторил он, — что какой бы пустой и лицемерной ни казалась нам вся эта затея с посещением Колдхаммера, она дьявольски важна для Марии.

— А кто говорит о лицемерии? — спросила Фрида. — Я испытываю глубочайшее уважение к английской сельской жизни. Перестань грызть ногти.

Она натянула перчатки чуть выше локтей и, размахивая сумкой, спустилась к ожидавшей их машине.

Нас просили прибыть к завтраку. Легкому завтраку, как было угодно выразиться леди Уиндэм. К легкому

завтраку в четверть второго пополудни. «Но приезжайте около половины первого, — писала она, — чтобы успеть как следует устроиться»-.

Но из-за Папиной карты двухвековой давности машина сразу за Гайд-Парк-Корнер свернула не в ту сторону. Где уж там как следует устроиться. Машина прибыла в Колдхаммер лишь в пять минут третьего. Селия была в отчаянии.

— Надо сделать вид, что мы уже позавтракали, — сказала она. — Они махнут на нас рукой. Теперь мы просто не можем просить, чтобы нам подали завтрак. До обеда Мария раздобудет для нас немного печенья.

— Ты, кажется, принимаешь меня за охотничью собаку? — спросил Папа, оборачиваясь с переднего сиденья и глядя на Селию через съехавшие на кончик носа очки. — Неужели, проделав весь этот путь, я удовольствуюсь каким-то печеньем? Колдхаммер один из самых достойных домов Англии. Я намерен поесть, моя дорогая, поесть от души. Ах! Что я вам говорил... — Он подался вперед и, когда машина неожиданно вылетела на какую-то узкую дорогу, подтолкнул шофера локтем. — Это одна из верховых дорожек. Она четко отмечена на моей карте.

Чрезвычайно взволнованный, он угрожающе взмахнул картой в воздухе. Фрида открыла глаза и зевнула.

— Мы почти на месте? — спросила она. — Какой здесь ароматный воздух. Надо непременно спросить, чтобы леди Уиндэм позволила нам спать на лужайке. Интересно, найдутся ли у них складные кровати?

Найэл промолчал. Его тошнило. В машине на заднем сиденье его всегда тошнило. Этот злосчастный недостаток среди прочих так и не прошел с годами. Вскоре машина остановилась перед коваными чугунными воротами. Их обрамляли две колонны, на которых высились грифоны на задних лапах.

— Должно быть, это то, что нам надо, — сказал Папа, снова сверяясь с картой кучера восемнадцатого века. — Селия, дорогая, взгляни на грифонов. Может быть, они исторические. Надо спросить старика Уиндэма. Водитель, дайте гудок.

Водитель дал гудок. За семьдесят миль пути он постарел на несколько лет. Из сторожки выбежала женщина и распахнула ворота. Машина рванулась в них, и Папа поклонился женщине в открытое окно.

— Прелестный штрих, — сказал он. — Всю жизнь с Уиндэмами. Качала Чарльза на коленях. Надо выяснить ее имя. Всегда полезно знать, как кого зовут.

Подъездная аллея вилась через парк к дому, который невыразительной, бесстрастной массой виднелся вдаль.

— Адамс,[56] — тут же объяснил Папа. — Дорические колонны.

— Может быть, вы имеете в виду Кента?[57] — спросила Фрида.

— Кент и Адамс, — великодушно согласился Папа.

Машина сделала полукруг и остановилась перед серым фасадом. Мария и Чарльз, держась за руки, стояли на ступенях лестницы. Повсюду было великое множество собак самых разнообразных пород.

Мария выдернула руку из руки Чарльза и побежала вниз по лестнице открыть дверцу машины. В конце концов, родственные чувства оказались настолько сильны, что ей не удалось выдержать позу, позаимствованную в одном из светских журналов. Почти два часа простояла она на лестнице в окружении бесчисленных собак.

— Вы страшно опоздали. Что случилось? — спросила она.

Голос Марии звучал высоко и неестественно, и по выражению ее лица — кто-кто, а он знал его слишком хорошо — Найэл догадался, что она взволнована не меньше его. Только Папа сохранял невозмутимость.

— Моя дорогая, — сказал он, — моя красавица. — И под яростный лай собак шагнул из машины, рассыпая на подъездную дорогу пледы, подушки, трости и тома Шекспира.

Чарльз со спокойной твердостью человека, привыкшего иметь дело с дисциплинированными людьми, стал объяснять шоферу, который находился на грани нервного срыва, как лучше подъехать к гаражу, расположенному на конюшенном дворе.

— Оставьте все в машине, — сказала Мария по-прежнему неестественно высоким голосом. — Воган этим займется. Воган знает, куда все отнести.

Воганом был лакей, который навытяжку стоял за Марией.

— Какое разочарование, — сказала Фрида громче, чем следовало. — Я надеялась, что на слугах будут пудренные парики. Но все равно, выглядит он превосходно.

Она стала выходить из машины, но зацепилась каблуком за отставший кусок резины на подножке и во весь рост растянулась у самых ног лакея, широко раскинув руки, как при прыжках в воду ласточкой.

— Очень эффектно, — сказал Папа. — Повторите.

Воган и Чарльз помогли Фриде подняться. С разбитой губой и порванными чулками, но широко улыбаясь, она

заверила их обоих, что упасть при входе в незнакомый дом значит принести удачу его хозяевам.

— Но у вас идет кровь из губы, — сказал Папа с пробудившимся интересом. — Где наша сумка с лекарствами?

Он повернулся к багажнику и принялся раздвигать чемоданы.

— Полагаю, ничего серьезного, — сказал Чарльз, предлагая свой носовой платок с галантностью, достойной самого Рейли. — Всего лишь царапина в уголке рта.

— Но, мой дорогой, у нее может случиться столбняк, — запротестовал Папа. — Нельзя так беспечно относиться к царапинам. В Сиднее я слышал про одного человека, у которого через сутки случился столбняк. Он умер в страшных муках, изогнувшись дугой. — И он стал лихорадочно выбрасывать багаж на подъездную дорогу. Сумка с лекарствами оказалась на самом дне. — Вот! Есть! — воскликнул Папа. — Йод. Никогда не путешествуйте без йода. Но губу надо сперва промыть. Чарльз, где Фрида может умыться? Необходимо, чтобы Фрида умылась.

На верхней ступени лестницы появился лорд Уиндэм с часами в руках.

— Рад вас видеть. Рад вас видеть, — бормотал он, и лицо его покрывали жесткие, хмурые морщины. — Мы опасались несчастного случая. Сейчас как раз подают на стол. Мы сядем, не откладывая? Сейчас ровно восемь с половиной минут третьего.

— Фрида может вымыться потом, — прошептала Селия. — Столбняк не развивается так быстро. Мы всех заставляем ждать.

— Я тоже хочу вымыться, — громко сказал Папа. — Если я сейчас не вымоюсь, мне придется покинуть стол после первого блюда.

Когда все общество поднялось по лестнице и, пройдя между колоннами, вошло в дом, Найэл через плечо взглянул на машину. Он увидел, что Воган во все глаза смотрит на почтовую сумку.

Только после половины третьего все наконец заняли свои места в большой квадратной столовой. Папа, сидевший по правую руку от леди Уиндэм, говорил без умолку. Селия чувствовала, что для леди Уиндэм это было огромным облегчением; на ее лице застыло выражение хозяйки дома, которая знает, что меню, с такой уверенностью заказанное ею накануне, вышло из-под контроля.

Она сидела во главе стола и наблюдала за тем, как дворецкий и его помощники подают блюда, а гости едят то, что лежит перед ними, как расстроенный постановщик спектакля смотрит на свою труппу во время незадавшейся с самого начала репетиции.

Фрида, сидевшая по левую руку от лорда Уиндэма, пустилась в обсуждение шведской оловянной посуды, каковое было заведомо обречено на неудачу. Несколько раньше на консоли в дальнем конце столовой она заметила старинную пивную кружку, но лорд Уиндэм явно отказывался проявить к ней хоть какой-нибудь интерес.

— Шведская? — пробормотал он. — Возможно. Не имею представления. Может быть, и шведская. Не могу сказать, чтобы меня особенно интересовало, шведская она или японская. Эта кружка стоит там со времен моего детства. Возможно, еще дольше.

Найэл смотрел на Марию, которая теперь, когда все наконец уладилось, вновь обрела свою всегдашнюю невозмутимость и всецело отдалась исполнению роли дост. миссис Чарльз. В качестве молодой жены она на правах почетной гостьи сидела по правую руку от лорда Уиндэма. Один из родственников или соседей Уиндэма, человек с жесткими рыжеватыми усами, сидел рядом с ней с другой стороны.

— Вы, разумеется, приедете к нам, чтобы посетить Аскот,[58] — говорила Мария. — Но вы должны приехать, непременно должны. У нас своя ложа. Будут Лейла и Бобби Лавенгтон, из Виндзора приедут Хоптон-д'Акрис с целой компанией. Вы не знали, что через две недели мы с Чарльзом переезжаем в наш ричмондский дом? Стиль регентства. Мы просто без ума от него. Папа и мама были так милы. Подарили нам очаровательную мебель из Колдхаммера.

Она с признательностью протянула руку лорду Уиндэму, и тот пробормотал что-то невразумительное. Папа и мама... Она называет Уиндэмов папой и мамой.

— Мы полагаем, — продолжала Мария, — что самое удобное — жить в окрестностях Лондона. Удобнее встречаться с друзьями.

Мария поймала взгляд Найэла и поспешно отвела глаза, сминая в пальцах кусочек хлеба. У нее была новая прическа: волосы немного длиннее, чем раньше, слегка взбиты и зачесаны за уши. Лицо слегка похудело. Она красива, как никогда, подумал Найэл, бледно-голубое платье под стать цвету глаз. Мария знала, что Найэл смотрит на нее, а потому высокомерно вскинула голову и еще громче заговорила про Аскот. Ее голос, ее слова

причиняли Найэлу боль — он слишком сильно любил ее, — кусок не шел в горло. Ему хотелось ударить ее, ударить сильно, очень сильно.

В четверть четвертого завтрак закончился; невыносимая апатия охватила гостей, но Папа, повеселевший после портвейна и стилтона, объявил о своем твердом намерении осмотреть каждый дюйм Колдхаммера от подвалов до кухонь.

— И не забыть про усадьбу, — сказал он, взмахнув руками в направлении террасы, — службы, свинарники, кладовые, винные погреба. Я должен увидеть все.

— Наша домашняя ферма в целых трех милях от замка, — сказала леди Уиндэм, стараясь поймать взгляд мужа. — И в Колдхаммере никогда не держали скот. Но думаю, что, если мы перенесем чай на пять часов, у вас будет время пройтись по саду. Разумеется, если Доббин не запланировал чего-нибудь другого.

Леди Уиндэм перевела взгляд с мужа на дворецкого. Они поняли друг друга, словно обменялись одним им ведомым кодом. Селия догадалась, что это означает «чай в пять часов», хотя уста леди Уиндэм не произнесли ни слова.

— Теперь слишком поздно следовать моим планам, — отрезал лорд Уиндэм. — По моим планам с садом мы должны были покончить к трем часам. В четверть четвертого нам следовало выехать для осмотра вида трех графств с Маячного холма над «Причудой охотника».

— «Причуда охотника». Это напоминает народные предания и сказки про фей и эльфов, — сказала Фрида. — Нельзя ли посетить это место вечером при свете луны? Может быть, это то самое, Найэл, что тебе надо для танца призраков, который ты задумал.

— Всего-навсего часть разбитой стены, — сказала леди Уиндэм. — Не думаю, что при взгляде на нее у кого-то возникнет желание танцевать. Возможно, утром... хотя если вы желаете посмотреть вид...

Лорд Уиндэм сверил свои часы с каминными часами в гостиной, после чего леди Уиндэм поспешила взять зонтик от солнца. Угрюмые, сосредоточенные, со страдальческим выражением лица крестоносцев, измученных тяжелым походом, они повели нас на террасу: в первых рядах, размахивая малаккской тростью, шел Папа с новой твидовой кепкой на голове.

Наконец на смену бесконечно долгому, томительному дню пришел вечер. За изнурительной прогулкой к роще и осмотром дома последовало чаепитие, на котором подали нечто крепкое и неудобоваримое, и прибытие еще нескольких гостей, приглашенных только на эту церемонию. Папа, никогда не прикасавшийся к чаю, почувствовал необходимость принять что-нибудь бодрящее. Селия увидела, что его взгляд устремлен в сторону столовой. Вопрос в том, насколько хорошо я знаю Чарльза. Придет ли Чарльз на выручку? Или просьба дать мне виски в четверть шестого дня может показаться странной со стороны отца новобрачной? Конечно, на случай крайней необходимости наверху есть фляжка, но было бы крайне досадно прибегать к ней так рано. Селия знала, что именно такие мысли занимают Папу. Она направилась к стоявшей у окна Марии и дернула ее за рукав.

— Я знаю, что Папа хочет выпить, — прошептала она. — Есть надежда?

Мария встревожилась.

— Это не слишком удобно, — прошептала она в ответ. — Здесь ничего не пьют до обеда, да и тогда только шерри. Разве он не захватил свою фляжку?

— Захватил. Но она понадобится ему позже.

Мария кивнула:

— Я постараюсь добраться до Чарльза.

Чарльза нигде не было видно, и Марии пришлось отправиться на поиски. Волнение Селии все возрастало. До начала седьмого Папа никогда не выдерживал. Ему, как младенцу, была необходима соска. Неизменно в одно и то же время он испытывал потребность в виски, и если не получал своего, весь его организм разлагивался.

Вскоре Чарльз появился вместе с Марией. Он подошел к Папе, наклонил голову и что-то тихо сказал ему. Затем оба покинули гостиную. Селия вздохнула с облегчением. Должно быть, в таких вещах между мужчинами существует полное взаимопонимание.

— Ваш отец не притронулся к чаю, — сказала леди Уиндэм. — Он дал ему остыть. Я распоряжусь вылить старый и налить свежего. Куда он ушел?

— По-моему, Чарльз показывает ему картины в столовой, — ответила Селия.

— Там нет ничего достойного внимания, — заметила леди Уиндэм. — Если ваш отец хотел посмотреть Винтерхальтера, то он висит на верхней площадке лестницы, но освещение сейчас не годится для осмотра картин.

Обязанности хозяйки не позволили ей продолжить разговор, а Папа вскоре вернулся в гостиную с выражением ласковой невинности на лице.

В четверть седьмого раздался удар гонга, означавший, что настало время переодеваться к обеду, и утомленные гости, равно как и хозяева, уединились в своих комнатах. Найэл бросился на кровать и закурил сигарету. В эту минуту она была ему так же необходима, как кокаин наркоману. Внизу он уже курил, но курить там и здесь, одному в пустой комнате, — совсем разные вещи.

Едва он закрыл глаза, как в дверь осторожно постучали. Это была Фрида.

— Я не могу найти свои вещи, — сказала она. — У меня огромная спальня, совсем как в Версале, но нигде нет никаких следов моих бумажных пакетов и почтовой сумки. Могу я позвонить?

— Да, — сказал Найэл. — Но не отсюда. Тебя не должны видеть в моей комнате.

— Верно, — сказала Фрида. — Они все думают, что я твоя мать. Разведенная жена Папы. Поди тут разберись, но иногда это нам на руку.

— Возмутительно, — сказал Найэл. — Почему тебе обязательно надо кем-то быть?

— Эти люди любят ко всему приклеивать ярлыки, — сказала Фрида. — Будь пайнкой, спустись вниз и поищи мою почтовую сумку. Где-то ведь она должна быть. Я хочу принять ванну. У меня изумительная ванная комната со ступеньками. Стены увешаны эстампами Маркуса Стоуна. Истинный символ викторианской эпохи. Мне нравятся такие дома.

У Найэла не хватило смелости позвонить. Или расспрашивать слуг. После долгих поисков он наконец нашел почтовую сумку Фриды. Она стояла внизу в гардеробной рядом с несколькими сумками с ключками для игры в гольф.

Он поднимался с ней по лестнице, когда одетый к обеду лорд Уиндэм появился на площадке, впериw взгляд в свои часы.

— Обед через пятнадцать минут, — пробормотал он. — У вас ровно пятнадцать минут на то, чтобы переодеться. Что вы намерены делать с этим мешком?

— В нем кое-что есть, — сказал Найэл. — Крайне дорогое...

— Кролики, вы сказали? — рявкнул лорд Уиндэм. — Никаких кроликов в этом доме. Позвоните Вогану. Воган их заберет.

— Нет, сэр, — сказал Найэл. — Нечто дорогое для... для моей матери. — Он поклонился и пошел дальше по коридору.

Лорд Уиндэм проводил Найэла пристальным взглядом.

— Странный юноша, — пробормотал он. — Композитор... Париж... Все они одним мирром мазаны. — И он поспешил вниз по лестнице, чтобы сверить свои часы с часами первого этажа.

Ванную комнату Фриды заполняли клубы пара. Она стояла в ванной и, намыливаясь с головы до пят, громко пела. При виде почтовой сумки она издала победный клич.

— Молодец, — сказала она. — Повесь платье на дверь, малыш. От пара складки разгладятся. Бумажные пакеты я нашла. Они все до единого лежали в нижнем ящике шкафа.

— Тебе бы неплохо поспешить, — сказал Найэл. — До обеда осталось всего пятнадцать минут.

— Какое наслаждение это мыло. Коричневый «Виндзор». Хорошая, старомодная марка. Я захвачу его с собой. Они не хватятся. Потри мне спину, ангел мой, вот здесь, между лопатками.

Найэл изо всех сил натер Фриде спину ее потрепанной мочалкой, после чего она одновременно открыла краны горячей и холодной воды, и мощный поток хлынул в ванну.

— Мыться так мыться на все деньги, что мы платим за воду в Париже. Уверена, когда мы вернемся, наш хилый кран совсем заглохнет. Консьержка и не подумает присмотреть за ним.

— Ну что, хватит? — спросил Найэл, стряхивая воду с манжет. — Мне надо идти переодеваться. Я и так здорово опаздываю.

Вытирая влажные от пара глаза, он вошел в спальню Фриды. За шумом воды ни один из них не услышал стука в дверь. На пороге стояла леди Уиндэм в черном бархатном платье.

— Прошу прощения, — сказала она. — Со слов горничной я поняла, что с багажом вашей... вашей матушки произошло какое-то недоразумение.

— Все в порядке, — едва выдавил из себя Найэл, — я его нашел.

— Эй! — крикнула Фрида из ванной. — Прежде чем уйти, малыш, принеси мне полотенце со стула. Пожалуй, я и его прихвачу с собой. Должно быть, Уиндэмы потеряли счет полотенцам.

Ни один мускул не дрогнул в лице леди Уиндэм, но в глазах ее отразилось недоумение.

— Значит, у вашей матушки есть все, что ей нужно? — спросила она.

— Да, — ответил Найэл.

— В таком случае я покидаю вас обоих, чтобы вы могли переодеться, — сказала леди Уиндэм. — Полагаю, вам известно, что ваша комната по другому коридору.

И она удалилась, величественная и неприступная, в тот самый момент, когда Фрида в чем мать родила и мокрая с головы до пят, шлепая босыми ногами по полу, вошла в спальню.

Ни один из Делейни не явился к обеду вовремя. Даже Мария, хоть она как никто должна была знать местные порядки, сбежала по лестнице через десять минут после удара гонга. Извинением ей служило новое платье, недавно полученное от портнихи, которое самым странным манером застегивалось на спине. А Чарльз, объяснила она, своими неуклюжими пальцами никак не мог его застегнуть. Найэл понимал, что эта история — сущий вымысел. Будь он на месте Чарльза, платье Марии так и осталось бы незастегнутым. И за обедом пришлось бы обойтись без них...

Папа, раскрасневшийся, в слегка съехавшем набок черном галстуке, признался ближайшим членам своего семейства, что подкрепление, принятое им после чаепития, оказалось недостаточным и, чтобы продержаться до обеда, ему пришлось прибегнуть к содержимому своей фляжки. Его широкая улыбка была сама терпимость. Селия наблюдала за ним, как молодая мать, не уверенная в поведении своего ребенка. То обстоятельство, что она забыла упаковать свои вечерние туфли, ее не тревожило. Вполне сойдут и тапки без задников. Лишь бы Папа вел себя прилично, остальное не имеет значения.

Фрида появилась последней. Не намеренно, не из тщеславия — она была начисто лишена его, — но потому, что обвязывание головы тюлем заняло определенное время. Результат был несколько ошеломляющим и отнюдь не тем, на который она рассчитывала. Она словно сошла с картины, изображавшей бегство в Египет и написанной посредственным примитивистом.

Как только она прибыла, лорд Уиндэм схватил свои часы.

— Двадцать три с половиной минуты девятого, — буркнул он.

В полном молчании общество гуськом проследовало в столовую, и Фриде, которая, приступая к супу, всегда закуривала сигарету, на сей раз не хватило на это мужества.

Когда подали рыбу и разлили по бокалам шампанское, ледяную скованность принужденной беседы разбил теплый, добродушный голос Папы, в котором, как и всегда по вечерам, игривые интонации звучали более явственно, чем в любое другое время суток.

— Мне жаль огорчать вас, мой дорогой, — обратился он через весь стол к хозяину дома, — но я должен сделать одно заявление. Дело в том, что ваше шампанское пахнет пробкой.

Мгновенно наступила тишина.

— Пахнет пробкой? Пробкой? — сказал лорд Уиндэм. — Оно не должно пахнуть пробкой. С чего бы ему пахнуть пробкой?

Испуганный дворецкий поспешил к стулу хозяина.

— Никогда к нему не прикасаюсь, — сказал лорд Уиндэм. — Мой врач не позволяет. Кто еще говорит, что шампанское пахнет пробкой? Чарльз? Что не так с этим шампанским? У нас оно не должно пахнуть пробкой.

Все попробовали шампанское. Никто не знал, что сказать. Согласишься с Папой — проявишь невежливость по отношению к лорду Уиндэму; не согласишься — выставишь Папу грубияном. Принесли новые бутылки. Заменили бокалы. Пока Папа подносил свой бокал к губам, мы застыли в мучительном ожидании.

— Я бы сказал, что и это пахнет, — сказал он, слегка склонив голову набок. — Должно быть, это безнадежный случай. В понедельник утром вам следует телеграфировать вашему виноторговцу. Как он смеет подсовывать вам шампанское, которое пахнет пробкой.

— Уберите его, — резким голосом сказал лорд Уиндэм дворецкому. — Мы будем пить рейнвейн.

Снова заменили бокалы.

Селия устала в свою тарелку. Найэл сосредоточил все внимание на серебряных канделябрах. А Мария, новобрачная, сбросив обличье дост. миссис Чарльз, вновь приняла на себя роль Мэри Роз.

— Думаю, немного музыки всех успокоит, — сказала леди Уиндэм, когда обед закончился.

В ее голосе звучала неподдельная искренность, и Найэл, подкрепленный рейнвейном, пошел к роялю, стоявшему в дальнем конце гостиной. Теперь, думал он, и впрямь не так уж важно, что случится. Я могу делать, что мне нравится, играть, что мне нравится, никому нет до этого дела, никто не собирается по-настоящему слушать; все хотят забыть кошмар, пережитый за обедом. Вот когда я действительно становлюсь самим собой, ведь музыка, моя музыка — все равно что наркотик, притупляющий чувства, и лорд Уиндэм с его тикающими

часами может отбивать такт, если ему заблагорассудится... Леди Уиндэм может закрыть глаза и думать о программе на завтра. Пала может отправиться спать... Фрида — скинуть туфли под диван; Селия — расслабиться. Остальные могут танцевать или нет, как им угодно, а Мария может слушать песни, которые я пишу для нее и которые она никогда не споет.

И вот нет больше чопорной гостиной в Колдхаммере, но есть рояль, любой рояль, в любой комнате, где он есть, Найэл мог бы остаться наедине с собой. Он продолжал играть, и не существовало иных звуков, кроме звуков его музыки, танцевальной музыки, не похожей ни на какую другую. Было в ней что-то дикое и что-то сладостное, ее переливы навевали мысли о чем-то далеком и грустном, и нравится вам это или нет, думала Мария, вам хочется танцевать, танцевать, и желание это превыше всех мирских желаний.

Она прислонилась к роялю и смотрела на Найэла; нет, то уже была не дост. миссис Чарльз Уиндэм, не Мэри Роз, ни один из трех образов, в которые она мгновенно перевоплощалась, — то была Мария, и Найэл знал это, пока его пальцы мелькали над клавишами; и он смеялся, ведь они были вместе и он был счастлив.

Селия посмотрела на них, затем на заснувшего в кресле Папу и вдруг услышала, как рядом с ней кто-то проговорил мягким, взволнованным голосом:

— Я отдал бы все на свете за такой дар. Он никогда не поймет, как ему повезло.

Это был Чарльз. Из дальнего конца длинной гостиной он пристально смотрел на Найэла и Марию.

Лишь около полуночи мы разошлись по своим комнатам, чтобы лечь спать. Музыка сделала то, о чем просила хозяйка. На всех снизошел покой. На всех, кроме самого исполнителя.

— Зайди и посмотри мою комнату, — сказала Мария, появившись в коридоре в пеньюаре как раз в тот момент, когда Найэл проходил мимо ее двери, направляясь в ванную. — Она обшита панелями. И резной потолок. — Мария взяла Найэла за руку и втянула в комнату. — Правда, красиво? — спросила она. — Посмотри на лепку над камином.

Найэл посмотрел. Ему не было никакого дела до лепки.

— Ты счастлива? — спросил он.

— Безумно, — ответила Мария и повязала волосы голубой лентой. — У меня будет ребенок, — сказала она. — Ты первый, кому я говорю об этом. Кроме Чарльза, конечно.

— Ты уверена? Не слишком ли скоро? Ты всего месяц замужем.

— Наверное, это произошло сразу после нашего приезда в Шотландию, — сказала Мария. — Видишь ли, иногда так бывает. Разве не здорово? Как принц крови.

— Почему принц крови? — спросил Найэл. — Почему не как молодая кошка с котятками?

— По-моему, принц крови, — сказала Мария. Она забралась в кровать и взбила подушки.

— Теперь ты чувствуешь себя иначе? — спросил Найэл.

— Нет. Не совсем. Иногда тошнит, вот и все, — ответила Мария. — И наверху у меня смешная голубая венка. Посмотри.

Она спустила с плеч пеньюар, и Найэл увидел, что она имеет в виду. На ее белых грудях вздулись бледно-голубые вены.

— Как странно, — сказал Найэл. — Интересно, так всегда бывает?

— Не знаю, — сказала Мария. — Они их портят, ведь так?

— Да, пожалуй, так, — сказал Найэл.

Именно в этот момент из своей гардеробной в комнату вошел Чарльз. Он остановился и пристально смотрел на Марию, пока та как ни в чем не бывало натягивала пеньюар.

— Найэл зашел пожелать мне доброй ночи, — сказала Мария.

— Вижу, — сказал Чарльз.

— Доброй ночи, — сказал Найэл. Он вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь.

Найэл совсем не хотел спать и чувствовал сильный голод, но проще было бы съесть мебель в его комнате, чем пробраться вниз и исследовать тайны кладовых Колдхаммера. Разумеется, всегда оставалась надежда, что Фрида, зная его привычки, тайком положила в свою вечернюю сумочку что-нибудь из съестного и спрятала у него под подушкой. Найэл свернул по коридору к комнате Фриды, но на верхней площадке лестницы путь ему преградила леди Уиндэм. Более грозная, чем обычно, в пикейном халате, с посеревшим от утомления лицом, она совещалась с двумя горничными, которые держали в руках тряпки и ведра.

— Ваша мать не закрыла краны в ванной, — сказала Найэлу леди Уиндэм. — Вода перелилась через край и залила библиотеку.

— Мне ужасно жаль, — сказал Найэл. — Какая неосторожность с ее стороны. Могу я что-нибудь сделать?

— Ничего, — ответила леди Уиндэм. — Абсолютно ничего. Все, что возможно, мы уже сделали. Завтра утром этим займутся рабочие. — И в сопровождении горничных она удалилась по направлению к своим покоям.

Одно по крайней мере ясно, подумал Найэл, крадись к комнате Фриды, — ни одного Делейни в Колдхаммер больше не пригласят. Кроме Марии. Мария будет приезжать в Колдхаммер из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, пока не умрет вдовствующей миссис Чарльз Уиндэм в своей постели.

Он не стал стучать в дверь Фриды. Просто вошел и пошарил рукой под подушкой. Он нащупал две булочки и банан. Молча он принялся в темноте очищать банан.

— Знаешь, что ты наделала? — спросил он Фриду.

Но она уже полуспала. Она зевнула и повернулась к нему спиной.

— Я почти все вытерла своим вечерним платьем, — сказала она. — Подарила тюль горничной. Та была довольна.

Найэл доел банан.

— Фрида!

— Что?

— Рожать очень больно?

— Это зависит от бедер, — пробормотала Фрида, почти засыпая. — Они должны быть широкими.

Найэл зашвырнул кожуру банана под кровать и приготовился ко сну. Но сон к нему не шел. Его преследовали мысли о бедрах Марии.

В три часа ночи грохот, раздавшийся в коридоре, заставил его броситься к двери. Папа тоже не мог заснуть. Но по иной причине. Выведенный из себя лестничными часами лорда Уиндэма, он попробовал остановить их, с силой переведя стрелки назад, и осколки разбитого стекла лежали у его ног.

Глава 17

Сиделка все приготовила и ушла. Что бы ни понадобилось Марии, все было под рукой. Четыре комплекта пеленок на вешалке для полотенец перед камином, подгузники с новыми булавками для каждого. Рожки с молоком стояли наготове, и единственное, что осталось сделать, сказала сиделка так это поставить их в горячую воду и подогреть до нужной температуры. Если во время дневного сна Кэролайн будет проявлять беспокойство, ей надо дать воды из другого рожка меньшего размера. Но Кэролайн никогда не проявляет беспокойства. Она всегда крепко спит. В пять часов она просыпается и дрыгает ножками, что доставляет ей огромное удовольствие и, кроме того, полезно для развития суставов.

— Я постараюсь вернуться сразу после десяти, — сказала сиделка. — Главное, успеть на автобус и благополучно проводить маму на поезд.

И она ушла. Теперь ее не вернешь. Бессердечная чертовка; только из-за того, что ее несчастную мать угораздило заболеть, Мария вынуждена впервые за все это время остаться с Кэролайн одна.

Чарльза дома не было. Ну как назло. Какой-то идиотский обед недалеко от Колдхаммера, на котором ему непременно надо присутствовать и который — Мария в этом нисколько не сомневалась — не имел ни малейшего значения. Но в таких делах Чарльз придерживался твердых принципов — обещание есть обещание, он не должен никого подводить. И рано утром уехал на машине. Селия, на чью безотказность Мария имела полное право рассчитывать, тоже попросила извинить ее.

— Я не могу приехать, Мария, — сказала она по телефону. — У меня свидание, его нельзя отменить. Кроме того, Папе нездоровится.

— Как же ты можешь идти на свидание, если Папе нездоровится? — спросила Мария.

— Могу, потому что это недалеко. Просто надо взять такси до Блумсбери. А на поездку к тебе в Ричмонд уйдет целый день.

Мария в раздражении повесила трубку. Какая же Селия эгоистка. Если бы сиделка предупредила заранее, можно было бы послать телеграмму Труде. Труда могла бы приехать к ней на день из своего маленького коттеджа на Милл-Хилл, где она теперь жила в полном уединении. Правда, ревматизм почти лишил Труды возможности двигаться, и, сославшись на него, она тоже могла бы отказаться приехать. Все на что-нибудь ссылаются. Никто не желает пальцем пошевелить, чтобы помочь Марии. Она выглянула в окно своей спальни и с облегчением увидела, что в белой коляске не заметно ни малейшего движения. Коляска стояла неподвижно.

Если повезет, она так и простоит до конца завтрака. Мария заколола волосы и стала рассматривать новые фотографии. Дороти Уайлдинг поистине воздала должное им обоим. У Чарльза немного чопорный вид и челюсть кажется немного тяжелее. Что же до нее самой, то ее уже давно так не снимали; особенно хороша фотография, где она держит Кэролайн на руках, смотрит на нее и улыбается. «Дост. миссис Чарльз Уиндэм у себя дома. До замужества, имевшем место в прошлом году, она была известной актрисой Марией Делейни». Почему была? Почему в прошедшем времени? К чему этот намек, что Мария Делейни больше не существует? Прочтя эти строчки в «Болтуне», она испытала настоящее потрясение. И не в силах скрыть раздражение, показала их Чарльзу.

— Взгляни на это, — сказала она. — Все подумают, что я оставила сцену.

— А разве это не так? — спросил он, немного помедлив.

Мария в изумлении уставилась на него:

— Как? Что ты имеешь в виду?

В это время он наводил порядок в своем бюро, раскладывая по местам ручки, карандаши, бумаги.

— Ничего, — сказал Чарльз. — Не важно. — Он продолжал рыться в многочисленных ящичках бюро.

— Разумеется, я не могла выступать, когда носила ребенка, — сказала Мария. — Но мне постоянно присылают пьесы. Все время звонят. Ты, конечно, не думаешь... — Мария замолкла, внезапно осознав, что не знает, о чем Чарльз вообще думает. Она никогда его об этом не спрашивала. Как-то в голову не приходило. И, по правде говоря, не интересовало.

— Старик на глазах слабеет, — сказал Чарльз. — По справедливости, нам следует чаще бывать в Колдхаммере. Здесь, в Ричмонде, мне не очень уютно. Там столько дел...

Столько дел... В том-то и ужас, что Марии нечего делать в Колдхаммере. Чарльз иное дело. Поместье родителей — его дом. Его жизнь, там он не знает ни минуты покоя.

— Я думала, ты любишь этот дом, — сказала Мария.

— Да, люблю, — ответил Чарльз. — Я люблю его потому, что люблю тебя. Это наш первый общий дом, здесь родилась Кэролайн, но надо смотреть правде в глаза: здесь мы только на время. Недалек день, когда Колдхаммер потребует всего моего внимания, всех сил.

— Когда умрет твой отец? Ты это имеешь в виду? — спросила Мария.

— Он может прожить еще много лет. Не в этом дело, — возразил Чарльз. — Дело в том, что он с каждым днем все больше и больше зависит от меня. Как ни нравится мне дурачиться в Лондоне — хотя, если быть откровенным, это пустая трата времени, за что я презираю себя, — в глубине души я знаю, что мое место в Колдхаммере. Не обязательно в самом доме, но где-нибудь поблизости. Нам прекрасно подойдет Фартингз, дом на границе имения, построенный по проекту Лютьенса. Я в любое время могу получить его в полное распоряжение. Помнишь, когда-то он привел тебя в восторг?

— Разве? — вялым тоном проговорила Мария.

Она отвернулась и заговорила о чем-то другом. Их разговор был чреват кризисом. А кризис это нечто такое, чего всегда следует избегать.

Но в то утро, сидя одна в своей спальне, она вновь вспомнила разговор с Чарльзом. Ричмонд недалеко от Лондона, и Марии это очень удобно. Полчаса — и она в любом театре. Каждый вечер Чарльз забирает ее на машине, и в половине двенадцатого она уже дома. Суший пустяк.

До Колдхаммера от Лондона почти восемьдесят миль. Нечего и думать ездить туда и обратно на машине. Поезда ходят из рук вон плохо. Чарльз, конечно, понимает, что, если она вернется на сцену, ей придется жить вблизи Лондона. Возможно ли, чтобы Чарльз надеялся, пусть даже в глубине души, что она не захочет снова выступать на сцене? Неужели он воображает, что она поселится в Фартингзе или где-нибудь еще, будет делать то, что делают другие женщины, жены его друзей? Найдет удовлетворение в том, что станет заказывать меню, слоняться по дому, в отсутствие няньки гулять с Кэролайн, давать обеды для узкого круга знакомых, вести разговоры о садах? Неужели он ожидает, что она остепенится? Вот оно — подходящее слово. Другого не существует. Остепенится. Чарльз надеется заманить ее в Колдхаммер, чтобы она остепенилась. Ричмонд — не более чем взятка, подачка, чтобы успокоить ее. Дом в Ричмонде — часть плана, задуманного с целью ее сломить. С самого начала Чарльз видел в ричмондском доме способ осуществить свое желание. Она помнила, как неопределенно, как туманно Чарльз всегда говорил о будущем. Она тоже. Специально. Может быть, она избегала определенности, потому что боялась? Может быть, она избегала определенности из опасения, что, если бы сказала Чарльзу перед помолвкой: «Не может быть и речи о том, чтобы я променяла свою жизнь на вашу», он бы ответил: «В таком случае...»

Как бы то ни было, лучше об этом не думать. Выбросить из головы. Подобные вещи обладают тем свойством, что если о них не думать, то они улаживаются сами собой. Чарльз любит ее. Она любит Чарльза. Кроме того, она всегда умела поставить на своем. Люди и события всегда приспосабливались к ней. Мария отложила фотографии Дороти Уайлдинг и взяла утреннюю газету. Там было несколько строк про Найэла. «Этот блестящий молодой человек...» и далее о том, что скоро все будут напевать песни, написанные им для нового ревю, представления которого начнутся в Лондоне через две недели. Оно имело шумный успех в Париже. «Сам наполовину француз, пасынок известного певца Делейни, он помог переработать ревю для английской сцены. Он говорит по-французски, как истинный парижанин». Вот уж неправда, подумала Мария, минут пять Найэл еще способен поболтать по-французски с отличным произношением, затем его мысли начинают путаться, и он все забывает. Скорее всего вклад Найэла в это ревю весьма невелик. Если вообще есть. Все сделала Фрида.

Найэл сочинил мелодии. Кто-то их записал. Наверное, в эту самую минуту идет репетиция. Четверть двенадцатого. Найэл играет на рояле, отпускает шутки и отвлекает всех от работы. Когда режиссер окончательно выйдет из себя, Найэлу станет скучно, он уйдет из зала, поднимется в свою смешную каморку под крышей, сядет за пианино и будет играть для себя самого. Если режиссер позвонит ему по телефону и попросит вернуться, он ответит, что ему все это не интересно, что он слишком занят, обдумывая новую, более удачную песню для финала.

— В Париже это тебе сошло бы с рук, — как-то сказала ему Мария, — но здесь едва ли. Тебя сочтут невыносимым. И ужасно самонадеянным.

— Ну и что из того? — сказал Найэл. — Меня это ничуть не беспокоит. Мне абсолютно наплевать, буду я писать песни или нет. Я могу в любую минуту уйти и поселиться в хижине на какой-нибудь скале.

Но его песни были нужны, их с нетерпением ждали, а раз так, то ему многое прощалось. Ему предоставили комнату на верхнем этаже театра, где он и поселился. Он делал все, что ему заблагорассудится. Рядом с ним не было даже Фриды. Она осталась в Париже.

— Это весело, — однажды сказал он Марии. — Мне нравится. Если мне хочется с кем-нибудь поужинать, я их приглашаю. Если не хочется, не приглашаю. Выхожу, когда захочу. Возвращаюсь, когда захочу. Тебе не завидно?

И он посмотрел на нее своими загадочными, проникающими в самую душу глазами. Она отвернулась и сделала вид, что зевает.

— С чего бы мне тебе завидовать? Мне нравится жить в Ричмонде.

— В самом деле?

— Конечно. Семейная жизнь прекрасная вещь. Тебе бы следовало попробовать.

Найэл рассмеялся и снова заиграл на пианино.

По крайней мере в одной газета права: мелодии, которые он сочинил для этого нудного ревю, неотступно преследовали, их невозможно было забыть; однажды услышав, вы напевали их весь день, пока они окончательно не сводили вас с ума. Беда в том, подумала Мария, что, когда дело доходит до танцев, танцевать ей приходится с Чарльзом. Он танцует бесстрастно, уверенно и ведет свою партнершу, как вел бы небольшой корабль по мелководью, внимательно следя за выпуклостями на корме других пар. Тогда как Найэл... Танцевать с ним — все равно что танцевать с собственной тенью. Делаешь движение, он его повторяет. Точнее, наоборот, — движение делает он, а ты его повторяешь. А может быть, одни и те же движения одновременно приходят в голову обоим? Впрочем, к чему думать о Найэле? Мария села к бюро и принялась писать письмо. Пришло несколько счетов, которые она оплатила из денег, выданных ей Чарльзом. Затем дежурное письмо к свекрови. Еще одно дежурное письмо каким-то тоскливым людям, которые пригласили Чарльза и ее остановиться у них, если они окажутся в Норфолке. Интересно, что мы там забыли? Третье письмо с согласием принять приглашение весной этого года открыть благотворительный базар в деревне, расположенной в трех милях от Колдхаммера.

Она не имеет ничего против того, чтобы открыть благотворительный базар. Дост. миссис Чарльз Уиндэм вполне пристало открывать благотворительные базары. Правда, в известном смысле было бы куда занятнее, если бы она открыла базар как Мария Делейни; тогда можно было бы привлечь гораздо больше интересных людей и, конечно, денег. Возможно, такая мысль выглядит предательством по отношению к Чарльзу... Возможно, лучше об этом вовсе не думать. «Дорогой викарий, — начала она, — я с удовольствием открою Ваш благотворительный базар пятнадцатого апреля...»

Тут-то оно и случилось. Первый взрыв плача из коляски.

Мгновение-другое Мария не обращала на него внимания. Может быть, он прекратится. Может быть, это

всего-навсего вой ветра. Она продолжала писать, делая вид, будто ничего не слышит. Плач становился громче. Нет, то не завывание ветра. То был сердитый, громкий плач проснувшегося младенца. Мария услышала шаги на лестнице, затем стук в дверь.

— Войдите, — сказала она, стараясь придать лицу серьезное, озабоченное выражение.

— Пожалуйста, мэм, — сказала молоденькая горничная. — Малышка проснулась.

— Все в порядке, благодарю вас, — ответила Мария. — Я как раз собиралась спуститься к ней.

Она встала и направилась к лестнице, надеясь, что горничная услышит ее шаги и подумает: «Миссис Уиндэм умеет обращаться с младенцами».

Мария подошла к коляске и заглянула в нее.

— Ну, ну, в чем дело? — суровым голосом спросила она.

Красная от гнева Кэролайн изо всех сил старалась подняться с подушки. Она была сильным ребенком. Нянька как-то с гордостью сказала, что такие маленькие дети крайне редко делают попытки подняться. Чем тут гордиться? — удивилась Мария. На долю самой няньки выпало бы куда меньше хлопот, будь Кэролайн маленьким, спокойным ребенком, который довольствуется тем, что мирно лежит на спине.

— Ну, ну, — повторила Мария. — Видишь ли, мне это совсем ни к чему.

Она подняла Кэролайн и похлопала ее по спинке на случай, если у девочки скопились газы. У ребенка началась икота. И вот... нет, она не ошиблась, у Кэролайн действительно скопились газы... Какое облегчение. Мария снова положила ее в коляску и укрыла пледом. После этого она вернулась в дом, но, не успев подняться по лестнице, услышала, что плач возобновился с новой силой. Мария приняла твердое решение не обращать на него внимания и снова занялась письмами. Но ей не удавалось сосредоточиться. Плач становился все громче; к нему стали примешиваться странные, неестественно высокие звуки.

Горничная, убиравшая комнаты, опять постучала в дверь.

— Малышка снова проснулась, мэм, — сказала она.

— Знаю, — сказала Мария. — Ничего страшного. Ей полезно немного покричать.

Горничная вышла из комнаты, и Мария услышала, как она что-то говорит внизу горничной, прислуживающей за столом.

Что она говорит? Вероятнее всего: «Бедная крошка». Или: «Она не имела права заводить ребенка, если не умеет с ним обращаться». Какая несправедливость. Она умеет, отлично умеет обращаться с младенцем. Если бы у самой горничной был маленький ребенок, его скорее всего оставили бы плакать день напролет и никто бы к нему не подошел. Плач неожиданно прекратился... Кэролайн уснула. Все в порядке. Но в порядке ли? Что, если Кэролайн удалось перевернуться и она лежит, уткнувшись лицом в подушку, и задыхается. Заголовки: «Ребенок актрисы задохнулся», «Внучка пэра Англии умирает в детской коляске». Неизбежно начнется следствие. Следователь задает вопросы: «Вы хотите сказать, что преднамеренно оставили ребенка плакать и ничего не предприняли?» Чарльз... губы побелели, лицо непреклонно-сурово. И трогательный маленький гробик, утопающий в нарциссах из Колдхаммера...

Мария встала из-за бюро и спустилась в сад. Из коляски не доносилось ни звука; эта тишина таила в себе что-то зловещее и ужасное. Мария заглянула внутрь.

Кэролайн лежала на спине, не отрывая взгляда от складного верха коляски. Едва увидев Марию, она снова заплакала. Ее личико сморщилось от отвращения. Она ненавидела Марию.

Вот она, материнская любовь, подумала Мария. Именно об этом писал Барри. Именно так я ее себе и представляла, когда держала Гарри на коленях в «Мэри Роз»; но в реальной жизни все не так. Мария оглянулась и увидела, что одна из горничных наблюдает за ней из окна столовой.

— Ну-ну, — сказала Мария и, погрузив руки в коляску, вынула Кэролайн и понесла ее в дом.

— Глэдис, — сказала она горничной, — раз малышка беспокоится, я, пожалуй, позавтракаю на четверть часа раньше обычного. Потом я ее покормлю.

— Хорошо, мэм, — сказала Глэдис.

Но Мария знала, что она не поддалась на обман. Ни на минуту. Глэдис догадалась, что Мария вынула Кэролайн из коляски и принесла в дом только потому, что не знает, как быть. Мария отнесла Кэролайн в детскую. Сменила пеленки. На это ушла целая вечность. Стоило ей положить Кэролайн на спину, как та снова начала кричать, лягаться и дергаться из стороны в сторону. Мария проткнула себе булавкой большой палец. Почему ей не удастся воткнуть булавку одним ловким движением, как это делает нянька?

К завтраку она спустилась с Кэролайн на руках; сидя за столом, в правой руке она держала вилку, а левой поддерживала Кэролайн. Во время завтрака Кэролайн ни на мгновение не замолкала.

— Ну разве они не хитрецы? — сказала Глэдис. — Знают, когда ими занимается тот, к кому они не привыкли. Она стояла у буфета и, заложив руки за спину, с сочувствием наблюдала за происходящим.

— Просто она проголодалась, вот и все, — холодно сказала Мария. — В два часа она поест и сразу успокоится.

Беда в том, что сейчас только четверть второго. Все расписание пошло кувырком. Ну, да ладно. Рожок сделает свое дело. Благословенный рожок, в который нянька налила «Кау энд Гейт».

Мария с трудом доела завтрак, проглотила кофе, затем снова отнесла Кэролайн в детскую и нагрела рожок, стоявший рядом с другими на белом сервировочном столике. Она чувствовала себя содержательницей бара, приготовляющей тройную порцию джина для какого-нибудь старого пьяницы.

— Заставьте ее пить медленно, — уходя, предупредила Марию нянька. — Ей надо постараться. Она не должна делать большие глотки.

Хорошо ей говорить. Но как заставить грудного младенца есть медленно? «Кау энд Гейт» через резиновый наконечник фонтаном бил в рот Кэролайн, но стоило Марии на секунду отобрать у нее рожок, как она начинала кричать и драться, точно разъяренный мужчина в приступе белой горячки. Кормление, которое должно было продолжаться двадцать минут, заняло всего пять. Кэролайн лежала на спине у Марии на коленях: живот раздут от переедания, челюсть отвисла, глаза закрыты. Она напонила Марии бездомную старуху, которая после полуночи обычно спала в аллее около театра. Мария снесла ее вниз и снова уложила. Потом надела пальто и уличные туфли.

— Я схожу погулять с Кэролайн, — крикнула она в сторону кухни.

Ее никто не услышал. Горничные и кухарка разговаривали и смеялись под аккомпанемент включенного граммофона, который Чарльз подарил им на Рождество. Они ополаскивали чайные чашки, и до нее им не было никакого дела. Они, видите ли, развлекаются, тогда как она должна везти ребенка на прогулку.

Воздух был холодным и пронзительно свежим. Коляска Кэролайн, белая с черным верхом, была гораздо красивее колясок, попадавшихся навстречу. Мария уверенным шагом шла по направлению к Ричмонд-Парку и немного досадовала, что поблизости нет никого, заслуживающего внимания... Какого-нибудь знакомого или фотографа. Если бы хоть кто-нибудь знал, что она здесь, да еще с детской коляской. А так... пустая трата времени. Едва она успела перейти дорогу и войти в парк, как Кэролайн опять принялась плакать. Повторился утренний ритуал похлопывания по спине. Безрезультатно. Мария закатила коляску за дерево и принялась за кошмарную процедуру — смену пеленок. Кэролайн кричала пуще прежнего. Мария плотно укутала ее пледом и очень быстро пошла по дорожке, раскачивая коляску сверху вниз. Из-под пледа доносились приглушенные крики. День стоял ясный, и народа в Ричмонд-Парке собралось больше, чем обычно. Везде были люди. И все они слышали крики Кэролайн. Когда Мария почти бегом проходила мимо них, толкая перед собой коляску, они оборачивались, чтобы посмотреть на нее, останавливались, чтобы послушать. Всех привлекали крики младенца, летящие из коляски.

Девушки, занимавшиеся дрессировкой собак, сочувственно улыбались Марии; юноши на велосипедах пролетали мимо и громко смеялись.

— Успокойся, — в отчаянии шептала Мария сквозь зубы, — пожалуйста, успокойся.

В панике она развернула коляску, почти выбежала из парка и, дойдя до угла, остановилась у телефонной будки.

Она набрала номер театра, где репетировал Найэл, и после недолгого ожидания привратник, дежуривший у служебного входа, разыскал его.

— В чем дело? — спросил Найэл.

— Кэролайн, — сказала Мария. — Противная нянька оставила ее на меня, Чарльза нет дома, а она кричит не переставая. Я не знаю, что делать. Я говорю из телефонной будки.

— Я приду и заберу тебя, — тут же предложил Найэл. — Я возьму свою машину. Мы куда-нибудь поедem. Шум машины заставит ее замолчать.

— У тебя репетиция?

— Да. Но это не имеет значения. Скажи, где ты. Опиши телефонную будку. Если я сейчас выйду, то приеду минут через двадцать пять.

— Нет, доезжай до конца дороги, — сказала Мария. — И жди меня там. Мне надо оставить коляску в саду. И захватить еще один рожок. Может быть, рожок, который я дала ей после завтрака, был не той температуры.

— Возьми все, какие найдешь, — сказал Найэл.

Мария вышла из телефонной будки. Полисмен, стоявший на углу улицы, внимательно наблюдал за ней.

Кэролайн ни на секунду не умолкала. Мария развернулась и покатила коляску в другую сторону. Ни в чем нельзя быть уверенной. Кто знает, возможно, закон запрещает позволять ребенку плакать.

Мария вернулась к дому и спрятала коляску в саду, за кустами рядом с гаражом. Она поднялась к себе и тут же спустилась с двумя рожками и кипой пеленок в руках. Она чувствовала себя взломщиком в собственном доме. К счастью, по дороге ей никто не встретился. Слуги все еще были внизу. Как только Мария вынула Кэролайн из коляски, малышка перестала плакать.

Нагруженная пледами, рожками и пеленками Мария пряталась в гараже, пока с дороги до нее не донесся шум приближающейся машины и резкий визг тормозов. Это, конечно, Найэл. Мария с полными руками поклажи вышла из гаража и направилась к машине.

Найэл являл собой довольно странное зрелище. На нем были старые выходные брюки и свитер с короткими рукавами и потравленным молью воротником.

— Я приехал в чем был, — сказал он. — Оставил их продолжать репетицию, сказав, что кое-кого надо отвезти в больницу.

— Но это неправда, — сказала Мария, забираясь вместе с Кэролайн в машину.

— Можно сделать так, что будет правдой, — сказал Найэл. — Мы можем отвезти в больницу Кэролайн и оставить на день в детском отделении.

— Ах нет, — встревожилась Мария. — Чарльз может узнать. Ни в коем случае. Подумай обо мне. Какой позор.

— Так что же делать?

— Не знаю. Просто поедem куда-нибудь.

Найэл нажал на стартер, и машина рванула с места. Это был старенький «моррис», который когда-то принадлежал Фриде. Найэл вел машину из рук вон плохо; она двигалась резкими рывками, то слишком быстро, бросаясь из стороны в сторону, то медленно ползла посреди дороги. Найэл не понимал сигналов полисмена.

— Этот человек... — сказал он. — Почему он делает мне какие-то знаки? Что он имеет в виду?

— Думаю, тебе следует извиниться, — сказала Мария. — По-моему, ты едешь по встречной полосе.

Машина то врзалась в гущу движущегося транспорта, то выныривала из нее. Прохожие кричали ей вслед. Кэролайн, которая мгновенно замолкла, как только мерное движение коляски сменилось новым, прерывистым и нервным, снова заплакала.

— Ты ее любишь? — спросил Найэл.

— Не очень. Но полюблю позже, когда она начнет говорить.

— Она похожа на лорда Уиндэма, — сказал Найэл. — На каждый день рождения я буду дарить ей часы, как другие крестные отцы дарят жемчужины.

Кэролайн продолжала кричать, и Найэл сбросил скорость.

— Дело в темпе, — сказал он. — Ей не нравится темп. Вот что я тебе скажу: надо спросить совета.

— У кого?

— У какой-нибудь милой, скромной женщины. Поблизости должна оказаться хоть одна милая, скромная женщина, у которой куча детей и которая сумеет дать дельный совет, — сказал Найэл.

Он внимательно посмотрел направо, налево, затем, вынуждаемый потоком попутных машин прибавить скорость, свернул на забитую транспортом улицу. По обеим сторонам тянулись бесконечные магазины, на тротуарах бурлили толпы народа.

— Вон та женщина с корзинкой, — сказал Найэл. — У нее приветливое лицо. Что, если спросить ее?

Он остановил машину, протянул руку перед Марией и, опустив окно, окликнул проходящую мимо женщину.

— Извините, — сказал он, — не могли бы вы подойти на минуту?

Женщина обернулась, на ее лице было написано явное удивление, и вблизи оно казалось не столь приветливым, как на расстоянии. Один глаз у нее слегка косил.

— Эта дама не знает, что делать с ребенком, — сказал Найэл. — Он не перестает плакать. Не будете ли вы любезны и не поможете нам?

Женщина внимательно посмотрела на Найэла, затем перевела взгляд на Марию и заливавшуюся во все горло Кэролайн.

— Прошу прощения? — сказала она.

— Младенец все плачет и плачет, — объяснил Найэл. — Никак не может остановиться. И мы не знаем, что нам делать.

Женщина густо покраснела. Она решила, что это какая-то нелепая шутка.

— Я бы не советовала вам дурачить людей подобным образом. Здесь недалеко стоит полисмен. Хотите, чтобы я его позвала?

— Нет, — сказал Найэл. — Конечно, нет. Мы просто подумали...

— Бесполезно, — прошептала Мария. — Поезжай дальше... поезжай.

Она высокомерно кивнула женщине, которая отвернулась, издавая возмущенные восклицания.

Найэл дал газ, и машина рывком устремилась вперед.

— Что за мерзкая баба, — сказал он. — Во Франции такое не могло бы случиться. Во Франции нам предложили бы целый день посидеть с ребенком.

— Мы не во Франции, — сказала Мария. — Мы в Англии. Такое отношение типично для этой страны. Вся эта шумиха по предупреждению жестокого обращения с детьми и вместе с тем не найти никого, кто помог бы нам успокоить Кэролайн.

— Поедем на Милл-Хилл, — сказал Найэл, — и оставим ее у Труды.

— Труда рассердится, — возразила Мария. — И скажет Селии, Селия — Папе, а там не успеешь оглянуться, как об этом узнает весь «Гаррик». Ах, Найэл...

Она прильнула к его плечу, он обнял ее левой рукой и поцеловал в голову: машину тем временем бросало из стороны в сторону.

— Мы могли бы бесконечно ехать на запад, — сказал Найэл. — Сейчас мы движемся в сторону Уэльса. Возможно, тамошние женщины умеют ухаживать за детьми. Что, если нам отправиться в Уэльс?

— Я знаю, почему матери оставляют своих младенцев в магазинах, с тем чтобы их кто-нибудь усыновил, — сказала Мария. — Они не в силах вынести нагрузку.

— Не оставить ли нам Кэролайн в магазине? — спросил Найэл. — Не думаю, чтобы Чарльз стал особенно возражать. Разве что из гордости. Дело в том, что ни один человек, если он в здравом уме, не будет в восторге от Кэролайн в этом возрасте. Возможно, через несколько лет, когда она совершит свой первый выезд в свет.

— Чего бы я не дала, чтобы это уже случилось, — сказала Мария.

— Пышные перья и прочее, — сказал Найэл. — Никогда не понимал, что это дает. Несколько часов кряду проторчать на Мэле.

— Зато какое пышное зрелище, — сказала Мария. — По-моему, это прекрасно. Почти так же, как быть королевской любовницей.

— Не вижу ни малейшего сходства, — сказал Найэл. — Подъехать к дворцу в наемном «роллс-ройсе», как ты в прошлом году, да еще с леди Уиндэм, которая как приклеенная ни на шаг не отстает от тебя...

— Я наслаждалась каждой минутой... Найэл?

— Что?

— Я вдруг кое о чем подумала. Давай остановимся около следующего «Вулвортса»[59] и купим Кэролайн соску.

— А что это такое?

— Ну знаешь, эти ужасные резиновые штуки, которые всовывают в рот простым детям.

— А их сейчас делают?

— Не знаю. Можно попробовать.

Найэл сбавил скорость и, пока машина двигалась вдоль тротуара, внимательно приглядывался к витринам, пока не увидел один из магазинов фирмы «Вулвортс». Мария вышла из машины и скрылась за дверью магазина. Когда она вернулась, лицо ее сияло торжеством.

— Шесть пенсов, — сказала она. — Очень хорошая резина. Красная. Девушка-продавщица сказала, что у ее сестренки дома есть такая же.

— Где она живет?

— Кто?

— Сестренка. Мы могли бы отвезти туда Кэролайн, и ее мать присмотрела бы за обеими.

— Не говори глупостей... А теперь смотри. — Мария очень медленно всунула соску в рот Кэролайн. Соска подействовала как своеобразная затычка — Кэролайн принялась громко сосать и закрыла глаза. Плач, как по волшебству, прекратился.

— Даже не верится, правда? — прошептала Мария.

— Просто жуть берет, — сказал Найэл. — Как если бы ее накачали кокаином. Что, если в будущем это приведет к роковым последствиям для ребенка?

— Мне все равно, — сказала Мария, — лишь бы сейчас она лежала спокойно.

Внезапно наступившие тишина и покой были просто восхитительны. Водная гладь после шторма. Найэл тронул машину с места и прибавил скорость. Мария прижалась к его плечу.

— Как было бы просто, — сказал Найэл, — если бы всякий раз, когда нервы на взводе, можно было бы зайти в «Вулвортс» и купить соску. Пожалуй, я тоже обзаведусь парочкой. Возможно, именно этого мне и не хватало всю жизнь.

— По-моему, — сказала Мария, — в этом было бы что-то непристойное. Взрослый мужчина ходит с куском красной резины во рту.

— Почему непристойно?

— Ну, хорошо, возможно, и нет. Но по меньшей мере вызывающее отвращение. Куда теперь?

— Куда пожелаешь.

Мария задумалась. В Ричмонд она не хотела возвращаться. Ей не хотелось нести притихшую Кэролайн наверх и приниматься — какая скука — за апельсиновый сок, взбивание подушек, очередное кормление и многое другое, чем ей предстояло заниматься. Не хотелось играть роль дост. миссис Чарльз Уиндэм в домашней обстановке. Ричмондский дом без Чарльза и всего прочего, если не считать свадебных подарков и мебели, прибывшей из Колдхаммера, вдруг показался ей петлей на шее.

Странно, но впервые за долгие годы она вспомнила про кукольный дом, который Папа и Мама подарили ей в семь лет на день рождения. Она, как замороженная, играла с ним две недели и никому не позволяла даже прикоснуться к нему. Затем одним дождливым днем, поиграв с ним несколько часов, вдруг обнаружила, что он ей надоед и больше не нужен. Тогда она подарила его Селии. Селия хранит его по сей день.

— Так куда же мы едем? — спросил Найэл.

— Поедем в театр, — сказала Мария. — Отвези меня в театр. Я посмотрю, как ты репетируешь.

Привратник служебного входа был старым знакомым Марии.

Он приветствовал ее, и его лицо расплывалось в улыбке.

— Ах, мисс Делейни, — сказал он. — Вам следует почаще навещать нас. Вы здесь слишком редкая гостья.

Редкая гостья... Почему он так сказал? Неужели он имел в виду, что ее начинают забывать? Кэролайн уложили на подушки, которые Найэл вынул из машины, укрыли пледом и отнесли в одну из лож бельэтажа, где и устроили на полу. Она крепко спала, зажав соску во рту. Затем Найэл спустился на сцену, а Мария перешла в соседнюю ложу и села в кресло заднего ряда; ведь, в сущности, она не имела права присутствовать здесь, поскольку появление постороннего на репетиции спектакля, к которому он не имеет отношения, считалось немалой наглостью. Раньше ей не доводилось видеть репетиции ревью, и она с радостью убедилась в том, что на них царит куда больший беспорядок, чем тот, что она наблюдала на собственном опыте. Сколько споров. Сколько людей говорят одновременно, не слушая друг друга. Сколько кусков и фрагментов, которые никогда не сольются в неразрывное единство; и время от времени музыка Найэла, такая дорогая и близкая — он уже играл ее для Марии на рояле, — более яркая и насыщенная в оркестровом исполнении, и сам Найэл в его нелепой одежде нетвердой, порывистой походкой движется по сцене, пытаясь во все вникнуть, всех понять.

И ей захотелось быть там, на сцене. А не сидеть во мраке пустой ложи, ожидая, что Кэролайн вновь расплчется.

Ей захотелось оказаться в театре, который она знала, частицей которого была, принимать участие в репетиции пьесы, ее пьесы, не чужой... Репетиции идут уже третью неделю, она давно принялась за дело, знает текст... И проведя на сцене весь день, действительно весь день чувствует легкую усталость, нервы сдают. «Что?» — раздраженно спрашивает она режиссера, который окликнул ее из партера. Тут же спохватывается, ведь ни в чем нельзя быть уверенной, могут и уволить. Но режиссер — вероятно, сам в прошлом актер, — человек привлекательный, обходительный и, возможно, пользующийся успехом у женщин, беззвучно смеется и повторяет: «Мария, дорогая, если не возражаете, пройдем этот кусок еще раз». Она не возражает, она понимает, что была не на высоте. Она и сама хотела его повторить Немного позднее, после репетиции, они идут вместе выпить в паб напротив; она слишком много говорит, он слушает, и наконец, она чувствует себя настолько усталой, что у нее остается лишь одно желание — умереть. Да, это была бы прекрасная смерть. Та смерть...

Мария вдруг опомнилась и увидела, что Найэл, который недавно поднялся в бельэтаж, стоит перед ней на коленях.

— В чем дело? — шепотом спросил он. — Ты плачешь?

— Я не плачу, — ответила Мария. — Я никогда не плачу.

— Они ненадолго прервались. В половине седьмого у них всегда перерыв. Тебе с Кэролайн лучше подняться в мою комнату, пока вас не заметили.

Мария зашла в соседнюю ложу за Кэролайн, и Найэл с пледами, пеленками и рожками в руках повел ее вверх по лестнице в свою смешную квартиру под самой крышей театра.

— Ну что ты об этом думаешь? — спросил он Марию.

— О чем?

— О ревю.

— Не знаю. Я по-настоящему и не смотрела, — ответила Мария.

Найэл взглянул на нее, но ничего не сказал. Он все знал. Всегда. Он налил ей выпить, зажег спичку и дал прикурить, но минуты через две Мария отшвырнула сигарету — она никогда много не курила. Он усадил ее в кресло... сиденье продавлено, пружины разбиты... и нашел стул, чтобы она положила на него ноги. Закутанная в пледы Кэролайн спала на его кровати. Соска свисала у нее изо рта.

— Почти семь часов, — вздохнула Мария. — Уже несколько часов она не брала рожок.

А еще пеленки. Что делать с пеленками? Она протянула руки к Найэлу, он подошел и опустился рядом с ней на колени. Она подумала о гостинной в стиле регентства в ее ричмондском доме, небольшой, строгой, изысканной. Рядом с ее креслом лежит наготове вечерняя газета. В камине пылает огонь. Горничная все прибрала и задернула портьеры... Здесь, в комнате Найэла под крышей театра, занавески еще не задернуты.

С Шафтсбери-авеню к голым, глядящим в пустоту окнам поднимался шум машин, а внизу по тротуарам спешили проходившие мимо люди; некоторые направлялись в метро на Пиккадилли, другие торопились на встречу с друзьями, чтобы вместе побродить по городу. Во всех театрах зажигались огни. «Лирический театр», «Глобус», «Театр Королевы», «Аполлон», «Парнас»... По всему Лондону во всех театрах зажигались огни.

— Дело в том, — сказала Мария, — что мне не следовало выходить замуж.

— Замужество не должно слишком отразиться на тебе, — сказал Найэл. — Ты можешь делать два дела одновременно. Всегда могла. Даже три.

— Наверное, да, — сказала Мария. — Наверное, могу.

Они боялись разбудить Кэролайн и поэтому разговаривали шепотом.

— Чарльз хочет переехать поближе к Колдхаммеру, — сказала Мария. — Что тогда? Я не могу жить в Колдхаммере.

— Тебе надо будет снять квартиру, — сказал Найэл. — Приезжать в Колдхаммер на выходные. Он слишком далеко, чтобы каждый день ездить туда и обратно.

— Я уже думала о квартире. Но поможет ли она? Не будет ли Чарльз против? Не разобьет ли это нашу семейную жизнь?

— Не знаю, — ответил Найэл. — Я не знаю, что делают в таких случаях женатые люди.

В здании напротив вспыхивали все новые огни, посылая в темную комнату разноцветные полосы света. На углу улицы газетчик выкрикивал: «Последний вечерний выпуск, последний вечерний выпуск!» По проезжей части с гулом тек нескончаемый поток машин.

— Надо возвращаться, — сказала Мария. — Я с ума сойду, если не вернусь.

— Чарльз будет смотреть на тебя из ложи, — сказал Найэл. — И страшно гордиться тобой. Станет вырезать из газет и журналов все рецензии и наклеивать их в альбом.

— Да, — сказала Мария, — но он не может заниматься этим всю жизнь — смотреть на меня из ложи и наклеивать в альбом всякую чепуху.

Зазвонил телефон. Мягким, мелодичным приглашением. Он пробудил Кэролайн от наркотического сна, в который ее погрузила соска.

— Он часто звонит, — сказал Найэл. — Я никогда не снимаю трубку. Всегда боюсь, что какая-нибудь зануда хочет пригласить меня на обед.

— А если бы это звонила я? — спросила Мария.

— Сегодня это невозможно. Ты здесь, — сказал Найэл.

Телефон продолжал звонить; Найэл протянул руку за одной из пеленок Кэролайн и набросил ее на аппарат. Бросок был на редкость метким. Пеленка белым саваном повисла на трубке.

— Мы пообедаем в «Кафе ройял», — сказал Найэл. — Место довольно приятное, и меня там все знают.

— А Кэролайн?

— Мы возьмем ее с собой. А потом я отвезу вас домой.

Телефон, замолкший после того, как на него набросили пеленку, снова зазвонил.

— Этот звук навеивает покой, я не имею ничего против него. Тебя он не беспокоит? — И Найэл подложил под спину Марии еще одну подушку.

— Нет, — сказала она, протягивая к нему руки. — Пусть звонит.

Глава 18

Селия опустила телефонную трубку и тут же почувствовала себя эгоисткой. Впервые она отказалась сделать что-нибудь для Марии. Она обожает малышку, для нее нет ничего более приятного, чем съездить в Ричмонд и провести с ней день. Но издатель, Папин знакомый по «Гаррику», как нарочно, именно сегодня пригласил Селию зайти к нему с ее рассказами и рисунками, и было бы невежливо просить его перенести встречу.

Скорее всего он не стал бы возражать, для него это не так уж важно. Но у него так много дел, и если он взял на себя труд встретиться с ней, то лишь из любезности, лишь потому, что она дочь Папы. Нет, не пойти было бы просто невежливо.

Но даже если бы не свидание с издателем, Селия едва ли смогла бы выбраться в Ричмонд. Папа был нездоров. Ему нездоровилось всю последнюю неделю. Он постоянно жаловался на боли. То в голове, то под коленом, то в пояснице. Врач сказал, что с тех пор, как он больше не поет, он стал слишком много курить. Но разве от курения бывают боли? Папа уже несколько дней не был в своем клубе. Он бродил по дому в халате и ни на минуту не желал оставаться один.

— Моя дорогая, — звал он, — моя дорогая, где ты?

— Я в малой гостиной, Папа.

Селия прикрывала промокашкой рассказ, который писала, и прятала под книгу карандашный рисунок — сочинительство и рисование были для нее чем-то сугубо личным, потаенным и сокровенным. Когда вас неожиданно застают за тем или другим, то это все равно как если бы прервали вашу молитву или застали врасплох в ванной.

— Ты работала, дорогая? Я не стану тебе мешать.

Папа устроился в кресле у камина со своими книгами, газетами и письмами, но от самого его присутствия в комнате что-то изменилось. Селия уже не могла сосредоточиться. Из мира грез и уединения она вновь вернулась в мир повседневной реальности. Вновь стала Папиной дочерью, которая сочиняет сказки. Она смутилась и, не в силах совладать с внезапным приступом застенчивости, закусил кончик карандаша. Но утраченное настроение не возвращалось. Время от времени Папа кашлял, шевелился в кресле и перелистывал страницы «Таймс».

— Ведь я тебе не мешаю, дорогая, не так ли?

— Нет, Папа.

Она склонилась над столом, делая вид, что работает, но минут через пять встала, потянулась и сказала:

— Пожалуй, пока хватит. — Собрала свои бумаги, карандаши, ручки и положила их в ящик.

— Кончено? — с облегчением проговорил Папа и бросил «Таймс» на пол.

— Да, — ответила Селия.

— Я все думаю о пилюлях, которые прописал Плейдон, — сказал Папа. — По-моему, они мне совсем не подходят. Последние два дня у меня еще сильнее стала болеть голова. Что, если мне еще раз проверить глаза? Может быть, дело в них.

— Нам надо сходить к окулисту.

— Вот-вот, я и сам об этом думал. Но сходим к кому-нибудь стоящему. Найдем действительно первоклассного врача, дорогая.

Его взгляд следовал за каждым движением Селии по комнате.

— Что бы я делал, если бы ты, как Мария, захотела стать актрисой? Иногда я просыпаюсь ночью и спрашиваю себя: что бы я тогда делал?

— Какая глупость, — сказала Селия. — Такая же глупость, как если бы я проснулась однажды и стала размышлять над тем, что бы я делала, если бы ты снова женился и нами командовал здесь совершенно чужой человек.

— Это невозможно, моя дорогая, — сказал Папа, качая головой. — Невозможно. Недавно я прочел в одной газете статью о немом лебедь. Немой лебедь спаривается на всю жизнь. Если самка умирает, лебедь навсегда остается безутешным... Другую он не берет. Я читал статью и думал: ах, это я, я — немой лебедь.

Должно быть, он забыл про Австралию, подумала Селия, про Южную Африку, про нашу поездку в Америку:

женщины, как мотыльки, везде кружились вокруг него, и он был отнюдь не немым. Однако она понимала, что он имеет в виду.

— Твои рассказы и талантливые рисунки не отнимут тебя у меня, — сказал Папа. — Но если бы ты была актрисой... Я дрожу при одной мысли о том, что стало бы тогда со мной. Я бы попал в Денвилл-Холл.

— Нет, не попал бы, — сказала Селия. — Ты бы жил вместе со мной в роскошной квартире, и я бы зарабатывала больше денег, чем Мария.

— Суэта, — сказал Папа, — презренный металл. Какой прок тебе и мне? Я, слава Богу, не скопил ни пенса... Моя дорогая, ты должна показать свои рассказы Харрисону. Рисунки тоже. Я доверяю Харрисону. Его суждения здравы, вещи, которые он печатает, вполне достойны. К тому же он скажет мне правду, а не станет ходить вокруг да около. Ведь это благодаря мне его приняли в «Гаррик».

Селия уже послала этому Джеймсу Харрисону несколько своих рассказов и рисунков после того, как Папа однажды пригласил издателя на ленч, и сегодня должна принести ему в контору еще несколько из тех, что ей удалось разыскать. Однако на душе у нее было беспокойно. Она не знала, чем займется Папа в ее отсутствие.

— Я могу соснуть с двух до четырех, дорогая, — сказал Папа. — А потом, если буду в силах, немного прогуляюсь. Плейдон сказал, что прогулки не причинят мне вреда.

— Не нравятся мне твои прогулки в одиночку. Ты такой рассеянный и всегда думаешь о чем-то другом. Да еще этот ужасный перекресток, где автобусы мчатся во весь опор.

— Если бы сейчас было лето, я мог бы пойти в «Лордз»[60] и посмотреть на игру в крикет, — сказал Папа. — Мне всегда нравилось смотреть, как играют в крикет. Люблю сидеть на закрытой трибуне за флигелем. Видишь ли, оглядываясь назад, я нередко думаю, что совершил ошибку, не послав Найэла в «Итон». Из него мог выйти неплохой игрок в крикет. Мне доставило бы огромное удовольствие смотреть, как Найэл играет в крикет за команду «Итона».

В последнее время, подумала Селия, Папа часто говорит о том, что он мог бы сделать. О домах, в которых они могли бы жить, о странах, которые могли бы посетить. Какая жалость, сказал он не далее как сегодня утром, что он никогда серьезно не относился к плаванию. С его физическими данными, сказал он Селии, он легко мог бы переплыть Ла-Манш. После смерти Мамы ему следовало немедленно бросить пение и заняться плаванием на длинные дистанции. Он бы побил всех рекорсменов. Он мог бы дважды переплыть Ла-Манш туда и обратно.

— Но почему, Папа? — спросила Селия. — То, что ты сделал, должно доставлять тебе гораздо большее удовлетворение.

Папа покачал головой.

— Во многом, очень во многом, — сказал он, — мое невежество поистине безгранично. Взять, к примеру, астрономию. Я полный профан в астрономии. Откуда все эти звезды? Откуда, спрашиваю я себя?

И он тут же позвонил в «Бампус» выяснить, нет ли у них книги о звездах, новой большой книги с иллюстрациями, и не могут ли они прислать ему ее к ленчу со специальным посыльным.

— Она развлечет меня, дорогая, пока ты будешь у Харрисона, — сказал Папа. — Есть одна планета, никак не могу запомнить, какая именно, кажется, Юпитер, у которой целых две луны. Они вращаются вокруг нее день и ночь. Подумать только... Юпитер — один в крошечной тьме и при нем две луны.

Она оставила Папу в малой гостиной, где он в самом благодушном расположении духа полулежал на двух креслах, готовый отойти ко сну. На столике рядом с ним лежал объемистый трактат о звездах. Горничной было строго наказано время от времени заглядывать в гостиную на случай, если ему что-нибудь понадобится, и уж конечно незамедлительно явиться, если он позвонит.

В автобусе по дороге с Веллингтон-роуд до Марилебон и потом в такси Селию не оставляли мысли о Марии; удалось ли ей справиться с Кэролайн; и вновь она переживала угрызения совести за то, что не смогла выручить ее в трудную минуту.

— Из-за Кэролайн я привязана к дому, — сказала ей Мария по телефону, — буквально привязана на целый день.

— Но ведь это всего один раз, — возразила Селия. — У вас очень хорошая няня. Она никогда не просит разрешения отлучиться от дома.

— Это лишь первый шаг, — сказала Мария. — Стоит только начать. Быть матерью — огромная ответственность.

Ох уж этот сердитый, избалованный голос. Одни пустые слова. Селия слишком хорошо знала этот голос. Через пару минут Мария забудет все, о чем просила Селию, и примется строить совсем другие планы. Если бы только Мария жила поближе, можно было бы разделить с ней ответственность за Кэролайн. Тогда всего-навсего

пришлось бы присматривать не за одним, а за двумя младенцами. Ведь Папа, в сущности, тоже младенец. Он ничуть не меньше нуждается в заботе, в том, чтобы ему потакали, чтобы его уговаривали, увещевали.

Неожиданно для себя Селия обнаружила, что последние дни разговаривает с Папой особым тоном, мягким, добродушно-шутливым, в котором так и слышится что-нибудь вроде: «Ну-ну, в чем дело?» А если он лениво тыкал вилкой в тарелку, она делала вид, что ничего не замечает — ведь это чисто детская уловка, к которой малыши прибегают, чтобы привлечь к себе внимание, — зато, когда он ел с аппетитом, непременно хвалила его и одобрительно улыбалась: «Ах, как хорошо, ты справился с целым крылышком. Я очень рада. Может быть, съешь еще кусочек цыпленка?»

Не странно ли, что человек, завершая свой жизненный цикл, на склоне лет возвращается к тому, с чего началась его жизнь? Что мужчина, некогда младенец и мальчик, затем любовник и отец, вновь становится ребенком? Не странно ли, что когда-то она была маленькой девочкой, забиралась Папе на колени, прижималась лицом к его плечу, искала у него защиты, а он был молод, силен и во всем походил на одного из богов древности? И вот все позади, все, что составляло цель и смысл его жизни. Сила угасла. Человек, который жил, любил, дарил красоту своего голоса миллионам, теперь, усталый, капризный, раздражительный, следит недовольным взглядом за каждым движением своей дочери, которую в былые дни защищал и качал на руках.

Да, Папа завершил свой жизненный цикл. Он вернулся на ту дорогу, с которой начал путь. Но почему? Для чего? Узнает об этом хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь?

Такси остановилось у здания на углу одной из улиц в Блумзбери. Охваченная внезапным волнением, Селия расплатилась с шофером, неуверенно вошла в здание и, подойдя к двери с вывеской «Справочное», спросила, как пройти к мистеру Харрисону. Девушка в пенсне улыбнулась и сказала, что мистер Харрисон ждет ее. Всегда испытываешь приятное удивление и теплеет на душе, когда совершенно незнакомые люди оказываются столь доброжелательны и любезны. Как эта девушка в пенсне. Или водители автобусов. Или продавцы в рыбных магазинах при разговоре по телефону. Тогда, подумала Селия, день светлеет.

Когда Селию ввели в кабинет, мистер Харрисон сразу встал из-за письменного стола и с улыбкой на лице подошел поздороваться. Она ожидала увидеть строгого, бодрого человека с резкими, решительными манерами школьного учителя. Но мистер Харрисон принял ее ласково и по-отечески нежно. Он подвинул ей стул, и она вдруг почувствовала себя легко и свободно; он заговорил о Марии.

— Надеюсь, она не оставила сцену, — сказал мистер Харрисон. — Это было бы большой утратой для всех ее почитателей.

Селия рассказала о ребенке, он кивнул и сказал, что все знает, поскольку его племянник знаком с Чарльзом.

— Ваш брат написал музыку для нового ревию, не так ли? — спросил мистер Харрисон, переведя разговор с Марии на Найэла и на то, чего Найэл добился в Париже.

Селии пришлось объяснить всю сложность их родственных связей, что она сводная сестра обоим и что Найэл и Мария вообще не кровные родственники.

— Однако они очень близки, — сказала она. — И прекрасно понимают друг друга.

— Ваша семья очень талантлива, действительно очень талантлива, — сказал мистер Харрисон.

Немного помолчав, он протянул руку к бумагам, лежавшим на письменном столе, и Селия увидела листы, исписанные ее собственным почерком, и свои рисунки, прикрытые пачкой бумаг.

— Вы хорошо помните свою матушку? — резко спросил мистер Харрисон, беря со стола очки.

Селия ощутила волнение — ей показалось, что он вдруг стал похож на школьного учителя, которого она так боялась увидеть.

— Да, — ответила она. — Мне было около одиннадцати, когда Мама умерла. Никто из нас ее не забыл. Но мы редко о ней разговариваем.

— Я много раз видел, как она танцует, — сказал мистер Харрисон. — Она обладала даром, присущим ей одной, даром, который, насколько мне известно, еще никто не сумел ни определить, ни описать. То не был балет в общепризнанном виде. То было нечто исключительное, неповторимое. Ни ансамбля, ни традиционных поз и па. Танцуя, она рассказывала историю целой жизни, и танец ее был сама жизнь. Одно движение, один взмах рук живописали боль и слезы целого мира. Она ни в ком и ни в чем не искала поддержки, даже в музыке. Музыка была вторична по отношению к движению. Она танцевала одна. И в этом была ее сила, лишь ей одной доступное понимание красоты.

Мистер Харрисон снял очки и протер их. Он был очень взволнован. Селия ждала, когда он снова заговорит. Она не знала, что сказать.

— А вы? — спросил мистер Харрисон. — Неужели вы хотите сказать, что не танцуете?

Селия робко улыбнулась. Ей показалось, что он почему-то сердится на нее.

— О нет, — ответила она. — Я совсем не умею танцевать. Я страшно неуклюжая и всегда была слишком полной. Если меня пригласят на фокстрот, я кое-как станцую, но Найэл говорит, что я слишком тяжела и вечно ставлю ему подножки. Сам Найэл прекрасно танцует. Мария тоже.

— Тогда, — сказал мистер Харрисон, — как же вы умудряетесь так рисовать?

Он вынул из-под стопки бумаг один из рисунков Селии и протянул его к ней, словно предъявляя обвинительный акт. Этот рисунок Селии не очень нравился. На нем был изображен ребенок, который убегает от Четырех ветров; чтобы не слышать, как они зовут его, он зажал уши руками. Она старалась показать, что мальчик спотыкается на бегу, но всегда считала, что ей это не удалось. К тому же фон получился слишком размытым. Деревья вышли темными, но не настолько темными, как ей хотелось. Да и заканчивала она этот рисунок в спешке: ее позвал Папа, а когда на следующий день она попробовала как-нибудь исправить деревья, настроение уже прошло.

— Мальчик не танцует, — сказала Селия. — Имеется в виду, что он убегает. Он испугался. В рассказе, к которому сделан этот рисунок, все объясняется. Но у меня есть другие рисунки, лучше этого.

— Я отлично понимаю, что он не танцует, — сказал мистер Харрисон. — Я знаю, что он убегает. Как давно вы занимаетесь рисунком? Года два? Три?

— Ах, гораздо дольше, — сказала Селия. — Дело в том, что я всегда рисовала. Я рисую всю жизнь. Это единственное, что я умею.

— Единственное? Чего же вы еще хотите, дитя мое? Неужели вам этого мало?

Мистер Харрисон подошел к камину и остановился, глядя на Селию сверху вниз.

— Я только что говорил о вашей матери, — сказал он. — И о некоем даре, которым она обладала. Ни до, ни после нее я не встречал его проявления ни в одном из искусств, не встречал до этой недели. Сейчас я вновь увидел его. В ваших рисунках. Бог с ними, с рассказами. Меня они совершенно не интересуют. Они эффектны, очаровательны и хорошо пойдут. Но ваши рисунки, вот эти сырые рисунки — неподражаемы, неповторимы.

Селия в недоумении воззрилась на мистера Харрисона. Как странно. Рисунки давались ей так легко. А на рассказы уходили часы и часы работы. И все впустую — мистер Харрисон о них самого невысокого мнения.

— Вы имеете в виду, — сказала Селия, — что рисунки лучше?

— Я вам уже сказал, — мистер Харрисон оказался на редкость терпелив, — они неповторимы. Я вообще не знаю никого, кто сегодня так работает. Мне они чрезвычайно нравятся. Надеюсь, и вам тоже. Вас ждет большое будущее.

Со стороны мистера Харрисона, подумала Селия, очень любезно и мило так расхваливать мои рисунки. Едва ли это случилось бы, не будь он приятелем Папы, членом «Гаррика» и давним поклонником Мама.

— Благодарю вас, — сказала Селия. — Я вам очень признательна.

— Не благодарите меня. Я всего-навсего просмотрел ваши рисунки и показал их специалисту, который согласился с моим мнением. Ну а теперь к делу. Вы принесли еще что-нибудь из рисунков? Что у вас в сумке?

— Там... там еще несколько рассказов, — извиняющимся тоном сказала Селия. — Да два или три рисунка... не слишком хорошие. Может быть, эти рассказы лучше тех, которые вы видели.

Мистер Харрисон сделал отрицательный жест рукой. Рассказы ему до смерти надоели.

— Давайте взглянем на рисунки, — сказал он.

Он внимательно изучал их один за другим, поднес к столу, поближе к свету. Он напоминал ученого с микроскопом.

— Да, — сказал он, — эти последние сделаны в спешке, не так ли? Вы не слишком усердствовали.

— Папа был нездоров, — сказала Селия. — Я очень за него беспокоилась.

— Видите ли, — сказал мистер Харрисон, — для книги, которую я задумал, у нас не хватает рисунков. Вы должны еще поработать. Сколько времени вам понадобится, чтобы закончить один из этих рисунков? Три, четыре дня?

— Как получится, — ответила Селия. — Я действительно не могу работать по заранее намеченному плану. Из-за Папы.

От Папы мистер Харрисон отмахнулся столь же решительно, как и от новых рассказов.

— Об отце не беспокойтесь, — сказал он. — Я поговорю с ним. Он знает, что такое работа. Сам прошел через это.

Селия промолчала. Как объяснить мистеру Харрисону, каково ей приходится дома.

— Видите ли, — сказала она, — весь дом на мне. Я заказываю еду... ну и все прочее. За последние дни Папа

очень ослаб. Вы, должно быть, заметили. У меня почти нет времени.

— Вы должны сделать так, чтобы оно появилось, — сказал мистер Харрисон. — К такому таланту, как ваш, нельзя относиться, словно вам до него нет дела. Я этого не допущу.

В конце концов, он действительно похож на школьного учителя. Опасения были не напрасны. Теперь он поднимет шум вокруг ее рисунков, напишет Папе, причинит Папе лишнее беспокойство, сообщит, что ей необходимо время для работы, и все это превратится в спектакль, в ритуал и только усложнит ей жизнь. Из отдушины рисование превратится в обузу. Со стороны мистера Харрисона было очень любезно брать на себя лишние хлопоты, но Селия пожалела, что пришла.

— Право, — сказала она, вставая со стула, — с вашей стороны чрезвычайно любезно брать на себя такой труд, но...

— Вы куда? Что вы делаете? — спросил мистер Харрисон. — Мы еще не обсудили ваш контракт, не поговорили о деле.

Ей удалось уйти только после половины шестого вечера. Пришлось выпить чая, встретиться еще с двумя мужчинами; ее заставили подписать какую-то устрашающую бумагу, похожую на смертный приговор, согласно которой она обещала отдавать все свои работы мистеру Харрисону. Он, как и двое других, настаивал на том, что рассказы без рисунков ничем собой не представляют, и выразил желание как можно скорее, недели через три-четыре, получить остальные рисунки. Селия понимала, что ей не справиться, и у нее было чувство, что она попала в ловушку. Интересно, размышляла она, что случится, если, подписав контракт, она их подведет? Может быть, они станут преследовать ее в судебном порядке?

Наконец после двойного рукопожатия с каждым из них Селия вырвалась из конторы мистера Харрисона, второпях забыв попрощаться с девушкой в пенсне, которая с улыбкой встретила ее появление у справочного бюро.

Такси нигде не было видно, и, только дойдя до Юстонского вокзала, Селия сумела найти машину. Было уже шесть часов, и быстро темнело. Первое, что она заметила, вернувшись домой, — открытые двери гаража. Машины в гараже не было. Вот уже несколько недель Папа не садился за руль. С тех самых пор как ему стало нездоровиться, либо она сама возила его, либо он брал такси. С сильно бьющимся сердцем Селия бегом поднялась по лестнице, нащупывая в кармане ключи... Открыла дверь и, вбежав в дом, позвала горничную.

— Где мистер Делейни? — спросила она. — Что случилось?

У горничной был испуганный и взволнованный вид.

— Он ушел, мисс, — сказала она. — Мы не могли его остановить. И мы не знали, где вы, чтобы сообщить вам.

— Что значит ушел?

— После вашего ухода он, должно быть, заснул. Я дважды заглядывала в комнату, он тихо, спокойно сидел в своем кресле. А потом, около пяти часов, мы услышали, как он спускается в холл. Я подумала, что ему что-нибудь нужно, и вышла из кухни, а он выглядел очень странно, мисс, на себя не похож, лицо очень красное, а глаза такие чудные и будто застывшие. Я очень испугалась. «Я еду в театр, — сказал он, — я и понятия не имел, что так поздно». По-моему, мисс, он бредил. Он прошмыгнул мимо меня и спустился в гараж. Я слышала, как он заводит машину. Я ничего не могла сделать. Мы ждали вас здесь, мисс, пока вы не пришли.

Дальше Селия не слушала. Она пошла в малую гостиную. Вставая с кресла, Папа оттолкнул его от камина. Книга о звездах валялась на полу. Она даже не была открыта. Ничто в комнате не указывало на то, куда он ушел. Абсолютно ничего.

Селия позвонила в «Гаррик». Нет, ответили ей, мистер Делейни не заходил в клуб. Позвонила доктору Плейдону. Доктора Плейдона нет дома. Его ожидают к половине восьмого. Селия вернулась в холл и снова стала расспрашивать горничную:

— Что он сказал? Постарайтесь вспомнить слово в слово.

Горничная повторила то, что говорила раньше.

— Мистер Делейни сказал: «Я еду в театр. Я и понятия не имел, что так поздно».

Театр? Какой театр? В каких сумрачных, пыльных лабиринтах памяти бродил Папа? Селия вызвала такси и по пути в Лондон попыталась объяснить шоферу, что она собирается делать.

— Машина марки «санбим», — сказала она, — и я думаю, что мой отец попырует поставить ее у служебного входа какого-нибудь театра. Но не знаю, какого именно. Это может быть практически любой театр.

— Ничего себе задачка, а? — сказал шофер. — Говорите, любой театр? Уэст-Энд или Хаммерсмит? Ведь их немало. Мюзик-холл, варьете, Шафтсбери-авеню, Стрэнд...

— «Адельфи», — сказала Селия. — Поезжайте в «Адельфи».

Не в «Адельфи» ли они выступали в тот, последний сезон? Папа и Мама? В последний зимний лондонский сезон перед Маминой смертью.

С трудом прокладывая себе путь в непрерывном потоке машин, такси кружило, то и дело сворачивало из стороны в сторону. Шофер выбрал не тот путь, какой следовало, и вез ее самой длинной дорогой через Пиккадилли, через самое сердце Лондона, бойкое, безостановочное. Хеймаркет, Трафальгарская площадь, Стрэнд...

Подъехав к «Адельфи», шофер резко остановил машину, посмотрел в окно перегородки на Селию и сказал: — Здесь, во всяком случае, пусто. Театр закрыт.

Он был прав. Двери закрыты на засов, на стенах ни одной афиши.

— Все верно, — сказал шофер. — Спектакли закончились на прошлой неделе. Шел какой-то мюзикл.

— Пожалуй, я все же выйду, — сказала Селия. — Дойду до служебного входа. Может быть, вы подождете меня на улице за театром?

— Вам это обойдется не слишком-то дешево, — предупредил шофер, — обшаривать все театры таким манером. Почему бы вам не обратиться в полицию?

Но Селия не слушала его. Она дернула запертую дверь закрытого театра. Конечно, замки были надежны. Она свернула за угол и, сделав несколько шагов, очутилась в темном, зловещем проходе, где когда-то был убит Билл Террис. Проход был пуст. Рваные афиши последнего спектакля, едва различимые во тьме, смотрели на нее со стен по обеим сторонам служебного входа. Из темноты вынырнул кот. Выгнув спину дугой и громко мурлыча, он потерся о ее ноги и вновь скрылся во мраке.

Селия повернулась и, миновав проход, вышла на улицу. Шофер курил сигарету и, скрестив руки на груди, смотрел на нее.

— С удачей? — спросил он.

— Нет, — ответила Селия. — Пожалуйста, подождите меня еще немного.

Шофер что-то проворчал в ответ; Селия отошла от машины и торопливо прошла по одной улице, по другой... Все дома похожи один на другой, темные, безликие. Теперь она знала, что нужен ей, конечно, не «Адельфи», а «Ковент-Гарден».

Около оперного театра стоял полисмен. Когда Селия перешла улицу и попробовала открыть дверцу стоявшего у тротуара «санбима», он направил на нее свет фонарика.

— Вы кого-нибудь ищите? — спросил полисмен.

— Я ищу моего отца, — ответила Селия. — Он не совсем здоров, а это его машина. Я боюсь, что с ним что-то случилось.

— Вы мисс Делейни? — спросил полисмен.

— Да, — ответила Селия, и ей вдруг стало страшно.

— Мне поручено ждать вас здесь, мисс, — сказал полисмен. Он говорил спокойным, любезным тоном. — Инспектор подумал, что кто-нибудь из членов семьи может прийти сюда. Боюсь, что ваш отец заболел. Предположительно потеря памяти. Его отвезли в Чаринг-кросскую больницу.

— Благодарю вас, — сказала Селия. — Я понимаю.

К ней вернулись ее обычные спокойствие и выдержка; панический страх прошел. Папа отыскался. Он больше не бродит по улицам, одинокий, покинутый, окруженный призраками умерших. Он в безопасности. Он в Чаринг-кросской больнице.

— Я отвезу вас туда в вашей машине, — сказал полисмен. — Он оставил ключ. Должно быть, он упал через несколько минут после того, как вышел из машины.

— Упал? — спросила Селия.

— Да, мисс. Швейцар служебного входа в оперный театр стоял у открытой двери как раз в тот момент, когда ваш отец упал. Он сразу подошел к нему. И узнал мистера Делейни. Он позвал меня, я вызвал инспектора, и мы позвонили в «скорую помощь». Потеря памяти, вот что они об этом думают. Но вам все скажут в больнице.

— За углом, у театра «Адельфи» меня ждет такси, — сказала Селия. — Прежде чем мы поедem в больницу, мне надо расплатиться.

— Хорошо, мисс, — сказал полисмен. — Это по дороге.

Второй раз за день Селию поразила человеческая доброта. Даже шофер такси, который поначалу казался угрюмым и недружелюбным, проявил искреннее сочувствие, когда Селия расплачивалась с ним.

— Мне очень жаль, если вы получили недобрые вести, — сказал он. — Может быть, мне поехать с вами и подождать вас у больницы?

— Нет, — сказала Селия. — Все в порядке. Большое вам спасибо. Всего доброго.

Когда она вошла в больницу, у нее возникло чувство, будто каким-то непостижимым образом повторяется то, что произошло днем. Ей опять пришлось войти в комнату с вывеской «Справочное», и опять за столом она увидела женщину в пенсне. Но на этот раз женщина была одета в форму медсестры. И она не улыбалась. Она выслушала ее, кивнула и сняла телефонную трубку.

— Все в порядке, — сказала она, — вас ждут. — Она нажала кнопку звонка, и Селия следом за другой медсестрой проследовала в лифт.

Как много этажей, как много коридоров, как много медсестер, думала Селия, и где-то в этом огромном здании лежит Папа... он ждет меня, он совсем один, и он никогда, никогда не поймет. Он думает, что я сделала то, чего обещала никогда не делать. Что я ушла и бросила его, что теперь у него никого и ничего не осталось.

Наконец они вошли не в общее отделение, чего она опасалась, а в одноместную палату. Папа лежал на кровати, глаза у него были закрыты.

Он, конечно, умер, подумала Селия. Давно умер. Наверное, он умер, как только вышел из машины и посмотрел через дорогу на служебный вход «Ковент-Гардена».

В палате находились врач, сиделка и медсестра. На враче был белый халат. На шее у него висел стетоскоп.

— Вы мисс Делейни? — спросил он.

У врача был удивленный и несколько озадаченный вид. Селия поняла, что они, наверное, ожидали увидеть Марию. Они не знали о ее существовании. Не предполагали, что есть еще одна дочь.

— Да, — сказала она. — Я самая младшая. Я живу вместе с моим отцом.

— Боюсь, что вы услышите неприятные новости, — сказал врач.

— Понимаю, — сказала Селия. — Он умер, да?

— Нет, — сказал врач, — но он перенес удар. Он действительно очень болен.

Они подошли к кровати. Папу закутали в больничную рубашку, и было нестерпимо видеть его в этой одежде, а не в его собственной пижаме, не на его собственной кровати. Он тяжело и непривычно громко дышал.

— Если он должен умереть, — сказал Селия, — то я бы хотела, чтобы он умер дома. Он всегда боялся больниц. Он не хотел бы, чтобы это случилось здесь.

Они как-то странно посмотрели на нее — и врач, и сестра, и сиделка, и Селия подумала, что все трое сочли ее грубой и неблагодарной, ведь они так старались помочь Папе, положили его сюда, на эту кровать, и заботятся о нем.

— Мне понятны ваши чувства, — сказал врач. — Все мы немного боимся больниц. Но вовсе не обязательно, что ваш отец умрет, мисс Делейни. Сердце работает нормально. Пульс ровный. У него на редкость здоровый организм. Дело в том, что в подобных случаях практически невозможно ничего предсказать. Не исключено, что в таком состоянии с незначительными изменениями он проживет недели, месяцы.

— Он будет чувствовать боль? — спросила Селия. — Остальное не имеет значения. Он будет чувствовать боль?

— Нет, — ответил врач. — Нет, боли не будет. Но он будет абсолютно беспомощным. Вы это понимаете? Днем и ночью за ним будет необходим профессиональный уход. У вас дома есть такие возможности?

— Да, — сказала Селия. — Да, конечно.

Она сказала так, чтобы убедить врача, и тут же с поразительной при данных обстоятельствах ясностью мыслей и бесстрастной предусмотрительностью стала думать о том, как переделать бывшую комнату Марии в комнату для сиделки и как они с сиделкой будут по очереди ухаживать за Папой; слуги, конечно, будут недовольны, ведь им прибавится работы; они даже могут пригрозить уйти, но тогда придется что-нибудь придумать; возможно, Труда сумеет приехать на несколько недель; а то и удастся уговорить Андре вернуться на какое-то, пусть самое непродолжительное, время; во всяком случае, новая молоденькая горничная очень старательная и усердная.

Мыслями Селия умчалась в будущее и уже думала о том, что, как только потеплеет, можно перенести кровать Папы в старую гостиную на втором этаже, которой они давно не пользовались. Понадобятся новые портьеры, но их найти не сложно, зато там ему будет веселее и спокойнее.

Врач протягивал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Чего вы от меня хотите? Что это? — спросила она.

— Выпейте, — спокойно сказал врач. — Видите ли, вы перенесли сильное потрясение.

Селия проглотила содержимое стакана, но лучше ей отнюдь не стало. Жидкость была горькой, неприятной на вкус; ноги Селии вдруг ослабели, сделались ватными, и она почувствовала безмерную усталость.

— Я бы хотела позвонить сестре, — сказала она.

— Разумеется, — сказал врач.

Он вывел Селию в коридор, и она вдохнула кошмарный стерильный безликий запах больницы, запах, впитавшийся в стены здания, увидела яркий свет, голые, до блеска вымытые полы и стены. Они не имели никакого отношения ни к медсестре, которая шла рядом с ней, ни к врачу, который крутил на пальце стетоскоп, ни к Папе, лежавшему в беспамятстве в той комнате, где они его положили, ни к другим больным, распростертым на своих кроватях.

Врач ввел Селию в небольшую комнату и включил свет.

— Можете позвонить отсюда, — сказал он. — Вы знаете номер?

— Да, — ответила Селия. — Благодарю вас.

Он вышел в коридор. Селия набрала номер Марии в Ричмонде. Но к телефону подошла не Мария. А Глэдис, горничная.

— Миссис Уиндэм еще не вернулась, — сказала Глэдис. — Она ушла днем с ребенком, и с тех пор мы о ней не слышали, почти с двух часов.

В голосе горничной слышалось удивление и легкая обида. Она словно давала понять, что миссис Уиндэм, по меньшей мере, могла предупредить, что задержится.

Селия прижала руки к глазам.

— Хорошо, — сказала она. — Не важно. Я позвоню позднее.

Она опустила трубку и снова сняла ее. Попросила дать ей номер телефона комнаты Найэла в театре. Набрала его и ждала, ждала. Конечно, думала она в новом приливе смертельного отчаяния, сознавая свою полную беспомощность, не может быть, чтобы их обоих не было дома именно теперь, в эту минуту моей жизни, именно теперь, когда они мне так нужны; конечно же, хоть один из них непременно придет мне на помощь? Потому что я не хочу идти домой одна. Не хочу оставаться в доме одна, без Папы.

Из трубки все летели и летели гудки.

— Извините, — наконец услышала она голос телефонистки. — Никто не отвечает.

Голос телефонистки звучал холодно, отчужденно, и сама она была не более чем номер на коммутаторе, а не человек с душой и сердцем.

Селия выключила в комнате свет и стала нащупывать дверную ручку. Но не могла найти ее. Ее руки скользили по ровной, гладкой поверхности двери. И в приступе внезапной паники она принялась бить в нее кулаками.

Глава 19

— Кто хочет принять перед ужином ванну? — спросила Мария.

— Ты имеешь в виду себя, — сказал Найэл, — и если кто-то еще скажет «я», то на него не хватит воды.

— Именно это, — сказала Мария, — я и намеревалась довести до вашего сведения.

Мы медленно побрели в холл. Селия выключила в гостиной свет, оставив зажженной только лампу у камина.

— У Селии все привычки старой девы, — сказал Найэл. — Выключать свет, гасить огонь, пускать в дело недоеденную еду.

— Старые девы здесь ни при чем, — возразила Селия. — Как и условия военного времени. Просто меня к этому приучили. Вы забываете, что целых три года мне пришлось ухаживать за тяжелобольным.

— Я не забыл, — сказал Найэл. — Но предпочитаю об этом не думать, вот и все.

— Тебе помогали сиделки, — сказала Мария. — Они всегда казались такими милыми. Вряд ли это было так ужасно. — Она стала подниматься по лестнице.

— А кто говорит, что это было ужасно? — спросила Селия. — Только не я.

В коридор выходили двери самых разных комнат. В дальнем конце была дверь в детскую половину.

— Папа не очень любил здесь бывать, — сказала Мария. — Слишком много шума. Возвращаясь из театра, я всегда заходила сюда, чтобы поздороваться с детьми. Шум на меня плохо действовал.

— Все зависит от того, — сказал Найэл, — какой шум ты имеешь в виду. Шум от бомб или от детей? Лично я предпочитаю бомбы.

— Согласна, — сказала Мария. — Я имела в виду детей. — Она открыла дверь своей комнаты и включила свет. — Во всяком случае, Пала правильно сделал, что умер в Лондоне. Он был частью Лондона в большей

степени, чем любого другого города. И правильно, что он умер вовремя. До того, как мир сделался таким унылым.

— А кто говорит, что мир сделался унылым? — спросил Найэл.

— Я, — сказала Мария. — Ни былого блеска, ни жизни, ни веселья. — Она открыла платяной шкаф и задумчиво посмотрела внутрь.

— Здесь дело в возрасте, — сказала Селия. — Я не сетую на то, что мне далеко за тридцать, на мне это не слишком сказывается, но, возможно, для тебя и Найэла...

— Я тоже не сетую, — сказал Найэл. — И в восемьдесят пять можно сидеть и бездумно глядеть на воду. Или сидеть на скамейке и дремать. Ничего другого я никогда и не хотел.

Из-за двери детской послышались взрывы смеха.

— Они слишком вульгарны, — сказала Мария.

— Значит, Полли внизу, — сказал Найэл.

— Пожалуй, я загляну к ним, — сказала Селия.

Мария пожала плечами.

— Я собираюсь принять ванну, — сказала она. — Если опоздаю, объясните Чарльзу причину. — И она захлопнула дверь.

Найэл улыбнулся Селии.

— Ну? — сказал он. — Забавный выдался денек.

— Мы так ни к чему и не пришли, разве нет? — сказала Селия. — Так ничего и не добились. Возможно, копание в прошлом действительно ничему не помогает. Как бы то ни было, мои чувства с тех пор не изменились. Хоть мы и постарели. Хоть мир и сделался унылым.

— Ты и внешне не изменилась, — сказал Найэл. — Но может быть, только для меня. Вот эта седая прядка в твоих волосах уже несколько лет.

— Не опоздай к ужину, — сказала Селия. — Для меня было бы ужасно оказаться наедине с Чарльзом.

— Не опоздаю, — сказал Найэл.

Тихонько насвистывая, он пошел по коридору к комнате для гостей, где всегда останавливался.

Мы были молодые, веселые мы были.

Всю ночь мы на пароме туда-обратно плыли... (*)

Найэл не знал, почему запоминает всякую всячину. Почему в любое время дня и ночи у него в памяти всплывают обрывки стихотворений, разрозненные рифмы, незаконченные предложения, сказанные давно забытыми приятелями. Вот как сейчас, когда он переодевается к ужину в комнате для гостей в Фартингзе. Он снял твидовый пиджак и повесил его на столбик кровати. Закинул тяжелые ботинки в угол и протянул руку за американскими теннисными туфлями, затем вынул из чемодана чистую рубашку и шейный платок в горошек. Положить в чемодан галстук он не удосужился. Когда бы ни приезжал Найэл на выходные в Фартингз, он никогда не утруждал себя разборкой чемодана. Куда как проще оставить одежду — а много он никогда не привозил — сложенной в чемодане, чем раскладывать по ящикам комода или развешивать по шкафам. Этому, как и многому другому, он научился у Фриды. «Бери то, что можешь унести на спине, — обычно говорила она, — это экономит время и нервы. Не бери лишнего. Не забивай территорию. Здесь наш дом всего на два-три дня. В этой мастерской, в этих меблированных комнатах, в этом гостиничном номере».

А их было много. Грязных, обшарпанных, без eau courante,[61] без salle de bain.[62] Потом получше, где горничная спрашивала, не нужно ли *regarder le bain*.[63] что всегда обходилось в лишних десять франков, хотя вместо воды лился кипяток, полотенце было слишком мало, а на кровати громоздилось нечто напоминающее чудовищный пуф, обшитый кружевами. Однажды они выложили всю наличность и сняли номер люкс в роскошной гостинице — настоящем дворце — в Оверне, поскольку Фрида заявила, что ей надо пройти курс лечения. Зачем, ради всего святого, Фриде понадобилось проходить курс лечения?

Она вставала в восемь утра и отправлялась не то пить воду, не то принимать душ — Найэл так и не выяснил, что из двух; а он по своему обыкновению лежал в кровати до ее возвращения где-то в середине дня и читал от корки до корки всего Мопассана — в одной руке книга, в другой плитка шоколада.

Днем он обычно заставлял ее подниматься на гору. Бедная Фрида. У нее вечно болели лодыжки, и она терпеть

не могла пешие прогулки. А еще он сочинял устрашающие скандальные истории о постояльцах гостиницы и рассказывал их Фриде в ресторане. В таких случаях она толкала его ногой под столом и говорила шепотом:

— Может быть, ты успокоишься? Нас вышвырнут отсюда.

Она изо всех сил старалась напустить на себя величественный вид, но сама же вдребезги разбивала его тем, что скидывала под столом туфли, и их поиски сопровождалась громким шарканьем и энергичными телодвижениями.

А потом эта меланхоличная гостиница в Фонтенбло, где сохранившие девство старые дамы возлежали в шезлонгах, а Найэл целыми днями играл на рояле, пока они не пожаловались на него управляющему. Самую серьезную жалобу принесла дама, чей шезлонг находился на самом большом расстоянии от комнаты с роялем. Ах, каким извиняющимся тоном разговаривал с Найэлом управляющий.

— Вы понимаете, месье, дело вот в чем, — сказал он с чарующей улыбкой на устах. — У дамы, которая обратилась с жалобой, весьма странные представления о нравственности. По ее мнению, любая танцевальная музыка безнравственна.

— Я с ней согласен, — сказал Найэл. — Действительно, безнравственна. Любая.

— Но суть в том, месье, — объяснил управляющий, — что причина, по которой мадам на вас жалуется, заключается не в безнравственности как таковой, а в том, что вы делаете безнравственность достойной восхищения.

Мы были молодые, веселые мы были.

Всю ночь мы на пароме туда-обратно плыли...

О Господи! Что это, откуда? Стишок из «Панча»? Почему сейчас? Почему здесь, в Фартингзе, в комнате для гостей? Может быть, это просто фрагмент, выхваченный из затейливой мешанины воспоминаний, нахлынувших на него в этот день? Сырой, зимний день, проведенный в гостиной Марии. В гостиной Чарльза. Ведь Фартингз принадлежит Чарльзу. Несет на себе отпечаток его личности. Столовая с гравюрами на батальные темы. Лестница с фамильными портретами, привезенными из Колдхаммера. Даже в гостиной, которую Чарльз великодушно позволял превратить в женскую комнату, лучшее кресло с продавленным сиденьем может занимать только он.

О чем думает Чарльз, одиноко сидя в нем каждый вечер? Читает все эти книги, громоздящиеся на полках? Вглядывается в картину над камином, в нежных акварельных красках запечатлевшую память о том далеком медовом месяце в Шотландии, где он надеялся пленить и навсегда удержать свою неуловимую Мэри Роз? Рядом с креслом Чарльза на узком табурете — его трубки, банка с табаком и груда журналов: «Кантри Лайф», «Спортинг энд Драмэтик», стародавние номера «Фармерс Уикли». На что он тратит свою жизнь? Чем заняты его дни? Утром — контора в имении, ежедневное посещение Колдхаммера, который до сих пор стоит пустой, холодный, с закрытыми ставнями, поскольку Сельскохозяйственный комитет, реквизировавший его во время войны, еще не вернул дом законным владельцам. Поездка на машине в соседний городок, одна или несколько деловых встреч. Просмотр чертежей для дренажных работ, консерваторы, старые товарищи, церковная башня. Чай с детьми, если случится быть дома к этому времени — Полли рядом с дымящимся чайником, — и раз в неделю письмо Кэролайн в школу.

Что дальше? Обед в одиночестве. Пустой диван. Марии нет, и лежать на нем некому. Но если она вспомнит, если ей больше нечего делать, то после ее возвращения из театра в лондонскую квартиру в Фартингз раздастся звонок междугородного телефона:

— Ну, как поживаешь?

— Так себе, довольно много работы.

Его ответы, как правило, односложны: «да», «нет». Мария же все говорит и говорит, растягивая время, чтобы успокоить собственную совесть.

Найэл знал. Найэл слишком часто сидел в это время в комнате. Не Чарльза. Марии...

Впрочем, это не его дело. Так продолжалось долгие годы с перерывом на время войны. Почему бы не продолжаться и впредь, до скончания веков? Или наступил переломный момент?

Найэл надел другой пиджак и повязал шарф в горошек.

Переломный момент... Мужчина, да и женщина тоже, может многое стерпеть, многое вынести, но до

известного предела, и тогда... Где ответ? Возможно, ответа вообще не существует. Разумеется, Чарльз ничего не может сделать. Или все-таки может?

Странное это чувство — переживать боль других как свою собственную. Сегодня Чарльз был действительно близок к переломному моменту. Но впереди еще ритуал воскресного ужина. День не закончен. Что там однажды сказала Фрида с присущей ей изрядной долей здравого смысла и своей всегдашней прямоотой и откровенностью?

— Нравится мне этот Чарльз. Хороший он человек. И похоже, она заставит его жестоко страдать.

В то время Найэл, расстроенный таким обвинением, стал горячо защищать Марию:

— Но почему? Она очень любит Чарльза.

Фрида посмотрела на него и улыбнулась. Потом вздохнула и потрепала его по плечу:

— Любит? Ваша Мария? Мой бедный мальчик, она даже не начала понимать значения этого слова. Да и ты тоже.

Если Фрида действительно так думает, значит, Найэл и Мария легкомысленные, поверхностные создания. Значит, их чувства мелки, банальны и растрачиваются бесцельно, бездумно? Он сознавал, что в известном смысле все это имеет отношение к Марии. Но не к нему. Не к нему? Оскорбительно слышать, что ты ничего не понимаешь в любви. Гораздо хуже, чем быть обвиненным в отсутствии чувства юмора. Но если ты ничего не понимаешь в любви, то отчего чувствуешь себя таким несчастным безо всякой на то причины? Отчего эти бессонные, томительные ночи, предрассветные тревоги и страхи? Отчего щемящая безысходность, если для нее нет иной причины, чем хмурый день, опадающие листья, близость зимы? Отчего внезапно налетающие и так же быстро проходящие взрывы буйного настроения, жажда безрассудных поступков?

Все это, сидя на кровати и потягивая коньяк из стакана для чистки зубов, Найэл обрушил на Фриду исполненным негодования голосом, пока та расчесывала перед зеркалом свои тусклые, крашенные волосы и роняла на пол пепел сигареты.

— Ох уж эти чувства, — сказала она. — Они от нас не зависят. Они идут от желез.

Прекрасно. Во всем виноваты железы. Смех в ночные часы, переливы красок в толпе, солнце за горой, аромат воды. Шекспир — это железы... и Чарли Чаплин.

Разливая коньяк, Найэл взволнованно подался вперед; из его кармана выпало письмо от Марии.

— Ваша беда в том, — сказала Фрида, — что, создавая вас, Всевышний пустил дело по воле волн. Вам следовало иметь одних родителей и родиться близнецами.

Фрида согласилась бы с Чарльзом относительно паразитов...

Стоило бы послать Фриде телеграмму в Италию, где она обосновалась несколько лет назад на мрачной вилле на берегу озера, откуда посылала Найэлу красочные открытки с видами голубого неба и деревьев в цвету, которые ему при визитах к Фриде так и не удалось увидеть въяве, поскольку всегда лил дождь. Стоит послать Фриде телеграмму и спросить ее: «Я — паразит?» Она рассмеется своим глубоким снисходительным смехом и ответит: «Да».

Когда-то он паразитировал на Фриде, пока не встал на ноги, не научился ходить самостоятельно и обходиться без нее. Фрида, трагикомичная, как ива-переросток, покачивающаяся от легкого ветерка, с конца длинного перрона Северного вокзала с напускным безразличием машет платком, посылая ему последнее «прости».

Шли годы. Он возвращался к ней все реже и реже; в сущности, и возвращаться-то уже было незачем.

Трагедия жизни, думал Найэл, расчесывая волосы гребнем слоновой кости, который Папа подарил ему на совершеннолетие, не в том, что люди умирают, а в том, что они умирают для нас. Для Найэла умерли все, кроме Марии. Следовательно, Чарльз прав. Я живу Марией, в ней нахожу источник своего существования; я внедрился в ее лоно и не могу бежать — не могу, потому что не хочу, никогда... никогда... Если задуматься, то здесь есть что-то от Кола Портера.[64] Внедрился в ее лоно. Но мальчишки-посыльные не понимают этого, насвистывая полюбившиеся им мелодии, его мелодии. Не понимает и старая дама из Фонтенбло, обвинившая его в том, что он делает безнравственность достойной восхищения. Но ведь это кое-чего стоит. В конце концов, добиться того, чтобы старая, туговатая на ухо француженка, которая терпеть не может танцевальную музыку, сочла безнравственность достойной восхищения, не столь уж малое достижение.

Боже мой, да ведь это вклад в копилку вселенной. Возможно, утехи Рая и не для Найэла, но и не муки Чистилища. Быть может — местечко у Золотых ворот.

На днях ему позвонили из какой-то газеты. «Мистер Делейни, в ближайшее время мы начинаем печатать серию очерков под названием „Что принес вам успех“. Мы можем рассчитывать на ваше сотрудничество?» Нет, они не могут рассчитывать на его сотрудничество. Единственное, что принес ему успех, так это обязанность

платить сверхналоги. «Но, мистер Делейни, каков ваш рецепт для достижения быстрого успеха?» У мистера Делейни такого рецепта нет.

Успех. Так что же он для него значит? Допустим, он ответил бы на вопрос газеты и сказал бы всю правду. Дня два-три песня не оставляет его в покое, жжет, терзает, мучит, пока он не запишет ее на бумагу в момент очищения. И вот он снова свободен. Свободен, пока не придут новые спазмы, новая боль. И все повторяется. Разочарование приходит тогда, когда воздух начинает звенеть от его песен, когда они несутся с эстрадных подмостков, слышатся в шепоте стенающих женщин, исполняются третьеразрядными оркестриками, насвистываются газетчиками; когда то, что некогда было его личной болью и томлением, превращается, грубо говоря, во всеобщее недержание.

Унизительно, невыносимо. Негры предлагают тысячи за право исполнять его песни. Боже! Чеки, чеки и чеки от темнокожих эстрадных певцов, и все за один год. Из-за какой-то песенки, которая пришла Найэлу в голову, когда он однажды нежился на солнце, ему пришлось присутствовать на конференции в Сити в обществе людей, с самыми серьезными лицами восседавшими за столами. Бежать? Но как? Путешествовать? Он в любую минуту мог отправиться в путешествие.

Но куда? С кем? Допустим, он купил билет, выбрал корабль или самолет; но остаются паспорта, таможни, волнения, связанные с неуверенностью в том, кому давать чаевые и в каких случаях. Снять дом в Рио? Но кого пригласить туда? Если он снимет дом в Рио, аборигены замучают его визитами и телефонными звонками. Аборигены непременно станут приглашать его на обеды, а он будет вынужден собрать вещи и снова бежать. Мистер Делейни никогда не присутствует на званых обедах; мистер Делейни не играет в бридж; мистера Делейни не интересуют ни скачки, ни яхты, ни шикарные девочки. Что же, черт возьми, интересуется мистера Делейни? Да будь они неладны. Сыт по горло. Что за расточительность быть человеком с неприятными вкусами. Импровизированная постель в Лондоне, хижина на морском берегу. Текущая лодка, которую постоянно надо красить и которой, откровенно говоря, он не умеет управлять. Повернуться к миру спиной и отдавать деньги бедным? Впрочем, он и так стоит к миру спиной, а большую часть своих денег отдает бедным. Всегда есть возможность уйти в монахи. Обрести мир и покой в стенах монастыря. Но как быть с другими монахами и молитвами? Вечерними, заутренями? Он не против носить рясу, сандалии, широкополую шляпу; согласен убирать сено, возделывать сад, но падать на колени в пять часов утра — занятие не для него. Как и размышлять о ранах Христовых. Но ведь он может размышлять о чем угодно. И аббат, или кто там у них стоит во главе монастыря, ничего не узнает. Он может целыми днями лежать в своей маленькой келье и размышлять о Марии. Но если это все, чего он добьется уходом в монастырь, почему бы не остаться там, где он есть? Ах! Ведь про запас всегда есть такой день, как завтра.

Найэл положил в карман горсть разной мелочи. Приносящую удачу трехпенсовую монету, огрызок карандаша, ключи от машины — старенького «Кристофера». В один прекрасный день, подумал он, все пригодится, потому что я напишу концерт, который провалится.

То будет грандиозный провал; провал, какого еще не бывало, но мне будет все равно. На сочинение концерта уйдут многие месяцы мучительного, напряженного труда, но в том-то и суть всей затеи. В один прекрасный день концерт...

Раздался удар гонга, призывающего на ужин. Найэл выключил в комнате свет. Из детского крыла в конце коридора слышался смех и крики детей Марии.

Мы были молодые, веселые мы были.

Всю ночь мы на пароме туда-обратно плыли...

Вопрос в том — а что сейчас?

Глава 20

Господи, подумала Мария, как мне надоел этот халат. Но с другой стороны, я повторяю это каждую субботу и воскресенье и ничего не делаю. А ведь чего проще — зайти в магазин и купить другой. Беда в том, что у нее

вошло в привычку не заботиться о своих вещах в Фартингзе. Здесь все сойдет. Вот и портьеры в спальне. Они висят там с тех пор, как они с Чарльзом поселились в Фартингзе. Практически всю ее семейную жизнь. Но не в этом суть. Суть в том, что она постоянно что-нибудь покупала для своей лондонской квартиры: новые чехлы для кресел, новые ковры, фарфор; не далее как третьего дня над камином в ее гостиной появилось прелестное новое зеркало. Но в Фартингз она никогда ничего не привозила. Найэл сказал бы, что здесь дело в психологии. Найэл сказал бы, что причина ее интереса к своей лондонской квартире в том, что она принадлежит ей и только ей. Она снимает ее, она платит за нее, все содержимое квартиры куплено на деньги, которые она зарабатывает своим собственным трудом, тогда как Фартингз принадлежит Чарльзу. В Фартингзе она в гостях. В лондонской квартире она дома. Но ведь и Фартингз был ее домом... в самом начале. Они вместе обсуждали убранство комнат — она и Чарльз. Здесь, в этой спальне, родились их младшие дети. Когда-то она высаживала тюльпаны в саду. По воскресеньям устраивались пикники с игрой в теннис. Гости, охлажденный кофе, огромные кувшины с лимонадом. Песочное печенье, ячменные лепешки. На ней белое полотняное платье с застежкой на боку; четыре нижние пуговицы расстегнуты, чтобы ноги загорали выше колен.

Затем мало-помалу интерес, казалось, пошел на убыль. Самое простое — во всем обвинить войну. Чарльз далеко. Она далеко. Фартингз, их общий дом, заколочен. Но вот война закончилась. Чарльз легко вернулся к распорядку довоенной жизни. Но не Мария... Беда в том — она вылила в ванну ароматическую эссенцию и размешала воду. Ванна перед обедом не каприз, а необходимость, будь то даже воскресный ужин, им придется подождать ее, невелика важность; беда в том, что когда стареешь — нет, нет... с течением времени, по мере того как проходят годы, — личные потребности приобретают все большее значение. Иными словами, становишься более эгоистичной.

И уже раздражает то, что раньше не вызывало ни малейшего раздражения. Например, хлопанье дверей. Жесткие подушки. Полутеплая еда. Скучные люди. Скучные люди... Их слишком много. Нет, не Чарльз, разумеется. Она любит Чарльза, очень любит — но... во-первых, его внешность уже не та, что прежде. Лишний вес. Почему он ничего не делает со своим весом? Дело не только в животике, но и во всем остальном. Более того — как ни тяжело ей это признать — он слегка глуховат. Только на одно ухо. На левое. Видимо, война, что-то связанное с пушками, и тем не менее... Мужчины не имеют права позволять себе оплывать. Почему они не могут делать зарядку перед завтраком? Перестать есть картошку? Отказаться от пива? Если бы она позволила себе оплывать, где бы она была? Оглохла бы на одно ухо?... Уходите, дорогая. Вы нам больше не нужны. Есть много молодых, которые вполне могут войти в ваши роли. Мария вошла в ванну. Вода была горячей и приятной. Кто-то — она решила, что Полли, — положил на полку мыло «Морни».

Нет, кто действительно скучен, так это ее свекор, старый лорд Уиндэм, который никак не хочет умирать. В таком возрасте, восемьдесят один год, у него просто нет оснований жить дальше. Бедный старик, жизнь не доставляет ему никакой радости. Если бы он постепенно угас, насколько проще было бы и ему, и всем остальным. Он так оглох, что не слышит даже тиканья своих часов, а поскольку большую часть времени он проводит в инвалидном кресле, то не все ли ему равно, который теперь час — половина третьего или половина двенадцатого. Во время войны Колдхаммер забрали Сельскохозяйственные люди; его еще не вернули, и бедные старики до сих пор живут в обшарпанном вдовьем доме.[65] Когда он все-таки отойдет в мир иной, то похороны, отдача последнего долга... ужасно. Из-за высоких налогов, сложностей с наймом слуг и всего остального они с Чарльзом не смогут жить в Колдхаммере, что во многих отношениях и к лучшему, ведь он всегда походил на морг. Но по существу, Чарльз посвятил столько времени, труда, нервов имению, его людям, да и всему округу, что действительно заслуживает титул лорда Уиндэма....

Когда-то запах ароматизированного мыла вызывал у нее тошноту, до рождения... Она забыла, кого именно. Не Кэролайн. Перед рождением Кэролайн были сигареты. Чарльз курил в спальне и с видом глубокого раскаяния гасил сигарету у нее под носом. Отвратительная привычка — курить в комнате. Но, слава Богу, она его отучила в первый же год.

Когда стареешь — нет... с течением времени — уходит кое-что еще. Какое облегчение иметь отдельную спальню. В своей квартире она, если пожелает, может ходить совершенно голой, с жировой маской на лице, с тюрбаном на голове, свистя или напевая под аккомпанемент включенного радиоприемника; может, если ей заблагорассудится, лечь спать в три часа утра, читать или нет по своему усмотрению, выключить свет, когда сочтет нужным.

В Фартингзе, соблюдая заведенный — пусть и условный — обычай, они спали в двухспальной кровати. Чарльз любит ложиться рано и не слишком жалуется радиоприемник и горящий свет. Ей приходится лежать в темноте; она не устала, но уснуть не может и всем своим существом ощущает сутулую спину спящего Чарльза.

Это вызывает раздражение. На его месте мог лежать любой другой мужчина, какой-нибудь незнакомец. Скорее всего это было бы даже более волнующе. Какой смысл иметь в своей спальне мужчину, если все, на что он способен, это повернуться к тебе спиной и заснуть. Не то чтобы она ждала от него чего-то другого, но такое поведение в определенном смысле оскорбительно. Мрачная мысль, ведь она означает, что начинаешь жить прошлым.

Те, кто не поворачивался спиной. Воспоминания Марии Делейни... Нет, не мрачные. Веселые. Не забыть рассказать Найэлу после ужина, когда Чарльза не будет в комнате. И Селии тоже. Мнение Селии не так уж и важно, но в последнее время она проявляет излишнюю склонность к поучениям. Разговор приведет к спору, понятному только им. Марии и Найэлу.

— Я скажу тебе, кто, по-моему, действительно поворачивался спиной.

— Кто?

— Такой-то и такой-то.

— Ты абсолютно не права. Только не он. Хотя мне этого очень хотелось.

Во время войны всегда приходилось лежать, прижавшись к чьей-нибудь спине. При первых воздушных налетах она выходила из квартиры на центральную площадку, и каждый по очереди готовил какао или чай. Ночные пиршества в общежитии. Потом, когда привыкли и к воздушным налетам, и к артобстрелам, она спокойно оставалась в своей квартире и не думала ни о какао, ни о чае. Хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Пока человек, дежуривший на крыше, не спускался по пожарной лестнице и не стучал в дверь. Этим человеком обычно оказывался Найэл. Почему он не может достать себе шляпу по размеру? Вечно у него на голове невесть что. Если бы бомба попала в их дом, все отправились бы на тот свет. Однажды она развела в гостиной небольшой огонь и предложила Найэлу потушить его — так, для практики. Он принялся за дело с самым серьезным видом, без тени улыбки. Насос никак не заводился, и из его поршня неслись устрашающие звуки. А поскольку нервы в то время у всех были на пределе, она не увидела в этом ничего смешного и окончательно вышла из себя.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что население Лондона полагается на тебя? Что именно по причине столь вопиющей некомпетентности мы можем проиграть войну?

— Это насос, — сказал Найэл. — Мне дали испорченный насос.

— Чепуха. Плохой работник все сваливает на инструменты.

И пока он старался разобрать насос, она целый час просидела молча. Они ненавидели друг друга.

Нелепо утраченная близость военных дней и ночей... Разве это плохо, недоумевала Мария, и чья в том вина, если годы, принесшие многим людям столько горя, потерь и лишений, ей и Найэлу не принесли ничего, кроме все возрастающего успеха? Возможно, и это тоже заставляет Чарльза завидовать им обоим? Возможно, именно поэтому он и назвал нас паразитами? Для Марии война означала череду пьес, которые полтора года не сходили со сцены. Для Найэла — длинный ряд песен, которые пели буквально все. Люди в своих домах, рабочие на заводах, пилоты в бомбардировщиках, вылетающих на Берлин и возвращающихся обратно. Недели две они их пели, насвистывали, а потом забывали; и Найэл сочинял новую песню, и ее насвистывали вместо забытой. Для ее создания не требовалось ни крови, ни слез, ни даже пота. Лишь минимум творческих усилий, но она удавалась.

Неужели было бы лучше, размышляла Мария, и вода тонкими струйками стекала по ней, если бы она терпела провал за провалом, оставила сцену и стала водить трактор по полям? Пользоваться успехом в то время, как другие умирают; быть популярной актрисой, срывать деньги и аплодисменты, в то время как другие женщины стоят у станков?.. Может быть, в глубине души Чарльз иногда презирал ее?

Прибавить горячей воды, повернуть кран: пусть она хлещет, бьет струей. Если пролежать в ванне больше пяти минут, вода остывает. Подлить ароматической эссенции, чтобы сам пар пропах ею. Так где же она? Ах да, война...

В то время была полная независимость от всех и вся. Как знать утром, чем закончится день. Кто появится. Какой забытый знакомый постучит в дверь. Планы ненадежны и практически неосуществимы. Приколешь к двери записку «Вернусь через полчаса» и в брюках, с корзиной на руке отправляешься за покупками на Шепердский рынок. Почему в брюках? Потому, что в определенном смысле это все та же игра. Игра в краснокожих индейцев, игра в Кавалеров, это свобода... Свобода от пут обязательств и договоренностей. Свобода от не всегда приятного сознания того, что дома тебя, возможно, кто-то ждет. Дети благополучно устроены в деревне. За исключением периодических визитов к зубному врачу, когда в сопровождении Полли они на несколько беспокойных часов появлялись в ее квартире и вновь отбывали под безопасный кров их

деревенского жилища. Они всегда приходили именно тогда, когда Мария одевалась или лежала в ванне, как сейчас. Приходилось мокрой выскакивать из ванны. Хватать полотенце и открывать дверь.

— Дорогие! Ну как вы?

Маленькие осунувшиеся личики обращены к ней, маленькие глазки-бусинки с любопытством рассматривают мамочкину квартиру, где кроме мамочки никто не живет. Мария ничего не имела против глазок-бусинок, но Полли наводила на нее невыносимую тоску.

— Мамочка выглядит неплохо, правда, дети? Мы бы хотели погостить здесь, чтобы подольше побыть с мамочкой.

Они, возможно, и хотели бы. Но мамочке они здесь не нужны.

— Дорогие, в Лондоне вам будет скучно. Эти ужасные сирены. В деревне гораздо приятнее.

Дети слонялись по квартире, заглядывали в шкафы, Мария тем временем медленно одевалась, а Полли все говорила и говорила.

— Им нужны новые ботинки, а пальто Кэролайн к будущему году станет совсем мало; просто поразительно, как быстро они растут. Интересно, у нас останется время зайти в «Даниел Нилз» или, может быть, в «Дебнем», они прислали вам очень красивый каталог, я его открыла, ведь я знаю, что вы не стали бы возражать, а если зайти к зубному врачу потом... Телефон? Вы не хотите, чтобы я сняла трубку?

— Нет, благодарю вас. Я сама могу снять трубку.

Даже после этого намека Полли не вышла из комнаты. Она стояла и ждала, размышляя над тем, кто бы это мог звонить мамочке...

Часто, слишком часто звонил Найэл. Найэл, вернувшийся из Нью-Йорка. Общественные связи. Так он говорил. Хотя какое отношение имел Найэл к общественным связям, никто так и не смог выяснить. В том числе и он сам.

Когда Полли была в комнате, Мария разговаривала по телефону, пользуясь специальным шифром:

— Мистер Чичестер? Мисс Делейни у телефона.

Найэл в качестве мистера Чичестера знал ключ.

Он рассмеялся на другом конце провода и стал говорить не так громко:

— Кто у тебя? Чарльз или Полли?

— Ко мне из деревни приехали дети, мистер Чичестер. У меня очень напряженный день.

— Полагаю, очередной визит к зубному врачу? Они останутся на ночь?

— Разумеется, нет, мистер Чичестер. Даже если будет туман. Если вас не затруднит зайти за мной в театр, то мы сможем обсудить вашу статью о домашней кулинарии в «Уимен энд быюти».

— С восторгом, мисс Делейни. Еда теперь такая проблема. Я обнаружил, что мне больше всего недостает индийского кэрри... Дорогая, я смогу остаться на ночь?

— Куда же вам еще идти, мистер Чичестер? А вы помните блюдо под названием бомбейская утка? Я жду не дожусь бомбейской утки.

— Я совсем забыл про бомбейскую утку. Значит, мне придется спать на полу? Последний раз, когда я спал на полу, дело кончилось прострелом в пояснице.

— Нет, так приготавливают кэрри в Мадрасе... Мне надо идти, мистер Чичестер. До свиданья.

Итак, снова детство, снова прятанье конфет в шкафах, снова выходки, за которые так бранилась Труда. Неужели в комнате всегда должен кто-то быть?

— Мамочка собирается брать уроки кулинарии? — веселым голосом спросила Полли.

— Возможно, возможно.

И все еще не одета, все еще только в поясе и бюстгальтере, с волосами под тюрбаном, кремом на лице, и еще предстоит прочесть пришедшие утром письма.

«Дорогая мисс Делейни!

Я написал трехактную пьесу о свободной любви в колонии нудистов, но по непонятным мне причинам она была отвергнута всеми лондонскими театрами. Я глубоко убежден, что Вы и только Вы сможете придать необходимые краски образу Лолы...»

«Дорогая мисс Делейни!

Три года назад я видел Вас в пьесе, название которой забыл. Но я всегда помню улыбку, которую Вы мне

подарили, ставя свой автограф в мой альбом. С тех пор меня преследуют неудачи, здоровье мое подорвано, а выйдя из больницы, я обнаружил, что моя жена сбежала со всеми моими сбережениями. Если Вы сочтете возможным предоставить мне краткосрочный заем в размере трех тысяч фунтов..»

«Дорогая мисс Делейни!

Как председателя Крукшавенского комитета в поддержку падших женщин, меня интересует, не были бы Вы столь любезны и не могли бы обратиться с воззванием...»

Письма все до единого отправлялись в корзину для бумаг.

— Вот я и подумала, что можно отпустить подол, — сказала Полли, — тогда пальто прослужит еще одну зиму, но с носками просто беда. Они так быстро пронашивают носки, к тому же в деревне очень трудно поставить набойки и починить каблуки на ботинках. Мистер Гатли крайне нелюбезен, и нам приходится ждать очереди, как и всем остальным.

Затем вдруг пронзительный вопль. Кто-то из детей упал и порезал подбородок о край ванны. Ад крошечный. Надо найти пластырь. Где пластырь?

— Мамочке необходимо завести новую аптечку. Мамочка совсем о себе не заботится.

Заботится о себе мамочка... заботится. У мамочки все прекрасно, когда ее оставляют в покое.

Зубной врач, хождение по магазинам, ленч, снова хождение по магазинам; и, наконец, — какое блаженство, какое облегчение — проводы всей компании на вокзале в три пятнадцать. На один лишь краткий миг острая, пронзительная боль — в окне вагона маленькие личики, машущие ручки — странное необъяснимое сжатие сердца. Почему Мария не с ними? Почему не заботится о них? Почему не ведет себя, как другие матери? Они не ее. Они принадлежат не ей. Они дети Чарльза. Что-то не заладилось с самого начала, по ее вине — она недостаточно о них думала, недостаточно их любила; всегда был кто-то еще. Пьеса, человек, всегда кто-то еще...

Непонятное глухое отчаяние, выход с перрона, протискивание через барьер вместе с солдатами, несущими вещевые мешки. К чему все это? Куда они все идут? Что делает Чарльз на Ближнем Востоке? Почему она здесь? Эти люди, которые проталкиваются через барьер... Эти озабоченные лица, испытующие взгляды...

В театре, только там покой и надежность. Глубоко укоренившееся ощущение дома, надежности. Уборная, которую надо привести в порядок — штукатурка отваливается от стен, пыльный вентилятор. Таз с трещиной. Дыра в ковре, которую нечем прикрыть. Стол и баночки с кремом. Кто-то стучит в дверь.

— Войдите.

Чарльз забыт, забыты дети; война и все ослабевшие нити жизни, распавшиеся и канувшие в небытие, — о них тоже можно забыть. Надежность только в игре, в маске. В том, чем она занималась едва ли не с колыбели. В изображении из себя кого-то другого, вечно другого... Но не только в этом. В причастности к труппе, к небольшой тесно спаянной группе, к команде одного корабля.

Во время спектакля над головами кашель и тяжелое дыхание скорого поезда, грохочущего к месту назначения. Затем внезапная тишина. ОНИ снова начались.

Почему Найэл сразу не зашел и не забрал ее домой? Это меньшее, что он мог сделать, — зайти за ней в театр. Попробовать позвонить... Никто не отвечает. Где же Найэл? Что, если, когда взорвалась эта проклятая штука, попало в Найэла?

— Кто-нибудь знает, где сегодня?

— Кажется, в Кроудоне.

Никто не знал. Никто не мог сказать с уверенностью. Стук в дверь.

— Войдите.

Это был Найэл. Волна облегчения, но ее сразу сменяет раздражение.

— Где ты был? Почему не пришел раньше?

— Я кое-что делал.

Спрашивать Найэла бесполезно. Он сам себе закон.

— Я думала, ты сидишь в первом ряду, — сердито сказала Мария, стирая с лица грим.

— Я видел пьесу четыре раза, то есть примерно на три больше, чем следовало, — ответил Найэл.

— Сегодня я была очень хороша. И совсем другая, чем в тот вечер, когда ты видел меня последний раз.

Большая разница.

— Ты всегда разная. Я никогда не видел, чтобы ты дважды делала одно и то же. На, возьми этот пакет.

— Что это?

— Подарок, который я купил тебе в Нью-Йорке на Пятой авеню. Ужасно дорогой. Называется неглиже.

— Ах, Найэл...

Она вновь была ребенком, который разрывает упаковку, бросает оберточную бумагу на пол, затем быстро подбирает — оберточная бумага теперь большая редкость; и, наконец, вынимает из коробки тонкий, струящийся идиотизм, прозрачный и абсолютно никчемный, непрактичный.

— Должно быть, стоит уйму денег.

— Так и есть.

— Общественные связи?

— Нет, личные. Больше ни о чем меня не спрашивай. Надень.

Как приятно получать подарки. Почему она как ребенок сама не своя до подарков?

— Ну как?

— Отлично.

— И к телу очень приятно. Я назову его «Страсть под вязами».[66]

Такси найти не удалось. Они были вынуждены возвращаться на квартиру Марии почти ошупью, прокладывая себе путь в тумане, прислушиваясь к тяжелому дыханию поезда где-то высоко под небом.

— Дело в том...

— Дело в чем?

— Дело в том, что, вместо того чтобы привозить мне «Страсть под вязами», следовало привезти гору еды в банках. Но тебе это, конечно, не пришло в голову.

— А какой еды?

— Ну... ветчины, языков, цыплят в лаванде.

— А вот и привез. У швейцара в вестибюле я оставил огромный пакет со всякой всячиной. Скоро увидишь. Цыплят, правда, нет. Но есть сосиски.

— Ах, ну тогда...

В квартире, расхаживая между спальней и кухней, она разговаривала то с Найэлом, то с закипающим чайником.

— Только посмей перелиться через край. Я за тобой слежу... Найэл, зачем ты роешься в комод? Оставь его в покое.

— Хочу найти еще одно шерстяное одеяло. Что там лежит у тебя под гладильной доской завернутое в плед?

— Не трогай... хотя, нет. Бери. Но не пролей коньяк на подол.

— Коньяка у меня нет. А жаль. В квартире ледяной холод. У меня стучат зубы.

— Тебе это не повредит. Ты слишком привык к горячим батареям... Ну вот, потеряла консервный нож. Найэл, что это на тебе? Ты похож на негритянского менестреля.

— Это моя американская пижама. «Страсть под кизилом», нравится?

— Нет. Какие отвратительные темно-каштановые полосы... Сними ее. Надень шотландцев, проливших свою кровь.[67]

— Можно и проливших кровь шотландцев.

Над крышей прогрохотал еще один поезд. Куда?

Откуда? Лучше поскорее налить грелку.

— Найэл, ты хочешь есть?

— Нет.

— А захочешь?

— Да. Не беспокойся. Если захочу, открою банку сосисок рожком для обуви. Между прочим, что такое бомбейская утка?

— Общее купе в спальном вагоне. Неужели ты забыл?

— Ах да, конечно. Но какое отношение это имеет к нам? Сегодня ночью?

— Никакого. Просто мне надо было отделаться от Полли.

Приятное тепло чашки обжигающего чая, потом грелка в ногах. Приятная тишина — ни скорых поездов, ни хлопающих дверей и окон; лишь тиканье часов на прикроватном столике, светящиеся в темноте стрелки показывают десять минут первого.

— Найэл?

— Что?

— Ты читал в вечерней газете заметку про то, как умирающая жена одного старого полковника Нозворта попросила сыграть на ее похоронах «Ты действуешь мне на нервы»?

— Нет.

— Какая хорошая мысль. Я вот все думаю, кто бы это действовал ей на нервы.

— Думаю, старик Нозворт. Мария, как ты думаешь, чем нам заняться?

— Не знаю. Но чем бы мы ни занялись, это будет восхитительно.

— Тогда перестань разговаривать...

В холле, в Фартингзе, кто-то ударил в гонг. Мария открыла глаза и села, вся дрожа. Она протянула руку к пробке, и остывшая вода с рокотом и бульканьем устремилась в сток за окном. Мария сильно опаздывала к воскресному ужину.

Глава 21

Селия закрыла за собой дверь детской. Все правильно, сказала она себе, все, о чем мы говорили днем: они другие, не такие, какими мы были в их возрасте. Наш мир был миром воображения. Их мир — мир реальности. Они все видят в истинном свете. Для современного ребенка кресло — всегда кресло, а не корабль, не необитаемый остров. Узоры на стене — всего лишь узоры; не образы, чьи лица изменяются с наступлением сумерек. Игра в шашки или фишки — не более чем состязание в мастерстве и везении, как бридж для взрослого. Для нас фишки были солдатами, безжалостными и злыми, а король с короной на голове — надменным властелином, который с пугающей силой перепрыгивал с квадрата на квадрат. К сожалению, современные дети лишены воображения. Они милы, у них беззаботные, честные глаза, но в их жизни нет волшебства, нет очарования. Очарование ушло и едва ли вернется...

— Дети укрыты, мисс Селия?

— Да, Полли. Извините, что я не поднялась и не выкупала их.

— Ах, с этим все в порядке. Я слышала, как вы разговариваете в гостиной, и подумала, что вам надо многое обсудить. Миссис Уиндэм выглядит усталой, вам не кажется?

— Это все Лондон, Полли. И дождливый день. Да и пьеса, в которой она играет, не пользуется успехом.

— Наверное, так. Какая жалость, что она мало отдыхает и не приезжает сюда на более длительное время, чтобы побыть с мистером Уиндэмом и детьми.

— Для актрисы это не так просто, Полли. Кроме того, длительный отдых не для нее.

— Дети так мало ее видят. Папочке Кэролайн пишет два раза в неделю, а мамочке никогда. Порой мне трудно удержаться от мысли...

— Да... ну мне пора идти, чтобы привести себя в порядок, Полли. Увидимся за ужином.

Никаких доверительных признаний от Полли по поводу Марии. Никаких признаний по поводу Чарльза или детей. Слишком много романов ей пришлось распутывать и улаживать. Хуже всего было с ночной сиделкой-ирландкой, которая жила у них последние несколько месяцев перед смертью Папы. Бесконечные письма от женатого мужчины. Всегда поток чьих-то слез.

Постоянно сопереживать чужому горю, решила Селия, значит не жить для других, а смотреть на жизнь их глазами. Поступая именно так, она избавила себя от лишних переживаний. По крайней мере, ей так казалось. Селия вымыла руки в спальне Кэролайн, которую предоставили в ее распоряжение. Вода была холодной. Мария забрала всю горячую воду для своей ванны; до сих пор слышался отдаленный шум текущей воды... Вот, к примеру, романы. Если бы Селия когда-нибудь завела роман, он, без сомнения, ей быстро бы опостылел или с самого начала был обречен на неудачу. Она оказалась бы одной из тех женщин, которых бросают мужчины. «Вы слышали про бедняжку Селию? Этот мерзавец...» Он покинул бы ее ради чьей-то жены. Или, как в случае с сиделкой-ирландкой, ее возлюбленный сам был бы женат, да еще и католик, а католикам развод запрещен. И вот из месяца в месяц, из года в год — тягостные встречи на скамейке в Риджентс-Парке.

— Но что же нам делать?

— Мы ничего не можем сделать. Мод и слышать не хочет о разводе.

Мод жила бы вечно. Мод никогда бы не умерла. А Селия и ее возлюбленный так и сидели бы в Риджентс-Парке, ведя беседы о детях Мод. Всего этого она избежала, что само по себе огромное утешение. К

тому же, оглядываясь назад, следует признать, что и времени на подобные увлечения все равно не было. В последние годы жизни Папа был совершенно беспомощен и нуждался в постоянном уходе. Не было времени ни на рисунки, ни на рассказы. К немалому гневу мистера Харрисона и его фирмы.

— Вы понимаете, что если не сделаете их сейчас, то не сделаете никогда? — сказал мистер Харрисон.

— Я сделаю, обещаю вам. На следующей неделе... в следующем месяце... в следующем году.

Со временем они устали от нее. Она не выполняла своих обещаний. В конце концов, она всего-навсего начинающий художник. Тот неуловимый дар, который произвел такое впечатление на мистера Харрисона и всех остальных и который она унаследовала от Мамы, должен зачахнуть, умереть. Конечно же, было гораздо важнее сделать человека счастливым — делать так, чтобы Папа, беспомощно лежавший на кровати, имел возможность видеть ее собственными глазами и время от времени говорить ей: «Моя дорогая, моя дорогая», и служить ему пусть слабым, но все-таки утешением — чем сидеть в одиночестве, сочиняя рассказы, делая рисунки, создавая людей, которые никогда не существовали. Совместить то и другое было невозможно. В том-то и суть. Забирая Папу из больницы, она знала об этом. Либо на все те годы, что ему осталось прожить, целиком посвятить себя заботам о нем, либо бросить его, заняться собой и лелеять свой талант. Она стояла перед выбором. И выбрала Папу.

Дело в том, что люди, подобные мистеру Харрисону, так и не поняли, что с ее стороны это вовсе не было самопожертвованием. Ни проявлением бескорыстия. Она сделала выбор по доброй воле и поступила так, как хотела поступить. Каким бы требовательным, каким бы раздражительным, каким бы капризным ни был Папа, он в самом истинном и глубоком смысле слова служил ей прибежищем. Он ограждал ее от активных действий. Он был плащом, который прикрывал ее. Она была избавлена от необходимости броситься в водоворот жизни, от необходимости бороться, от необходимости сталкиваться с тем, с чем сталкивались другие, — она ухаживала за Папой.

Пусть мистер Харрисон и его коллеги продолжают считать ее гением, который прячется от света дня. Спрятавшись, затаившись, она могла не опасаться, что кто-то докажет обратное. Она могла бы сделать то, могла бы это... и не могла ни того, ни другого, не могла из-за Папы. Пусть Мария в сиянье софитов выходит на сцену. Она пожинала аплодисменты, но рисковала услышать гробовое молчание, рисковала провалиться. Пусть Найэл сочиняет свои мелодии и ждет критических замечаний; его мелодии могут превознести до небес, но могут и втоптать в грязь.

Стоит явить свой талант миру, как мир ставит на него печать. И талант уже не ваше достояние. Он становится предметом купли-продажи и оплачивается либо высоко, либо ничтожно низко. Талант выбрасывается на рынок. Отныне и навсегда обладатель таланта должен проявлять осмотрительность и внимательно приглядываться к покупателю. Поэтому, если вы не лишены щепетильности, не лишены гордости, то поворачиваетесь спиной к рынку. И находите для себя то или иное оправдание. Как Селия.

Вот почему я ухаживала за Папой, думала Селия, натягивая чулки и надевая туфли, истинная причина в том, что я боялась критики, боялась неудачи. Чарльз был не прав, обвиняя других. Паразит я, а не они. Я паразитировала на Папе, в то время как они уже вели самостоятельную жизнь. Папа умер, но она по-прежнему придумывает себе оправдания. Война... Разве может она создавать картины, когда идет война. Есть масса куда более важных дел. Мыть полы в госпиталях. Подавать еду в столовых. Масса важных дел, которыми мог заняться одинокий, не связанный семьей человек. Одинокая, не связанная семьей женщина. Вроде Селии. И я их делала, думала она, я не знала, что такое отдых. Я все время была занята, не многие женщины работали так много, как я. Но зачем я разговариваю с собой обо всем этом? Что пытаюсь доказать? Война закончилась, война умерла, как и Папа. А сейчас... ради чего я живу сейчас?

С чулком в одной руке она села на кровать. Напротив нее была голая стена. Кэролайн сняла с нее все картины и забрала с собой в интернат.

Зачем такую маленькую девочку посылать в интернат? Она сама захотела, объяснила Мария, дома ей скучно. Селия не решилась высказать ей свое заветное желание. Не решилась вернуться к Марии и сказать:

— Если Кэролайн здесь скучно, почему бы ей не пожить у меня? — Кого-то любить, о ком-то заботиться... Смысл существования. А ведь был удобный момент; она упустила его, и теперь, конечно, слишком поздно. Кэролайн в школе, у нее все хорошо, а Селия здесь, в ее комнате, сидит на ее кровати и смотрит на голую стену. Голая стена.

Как нелепо прошел день. В том-то и беда. Все дождь, да дождь. Не выйти, не прогуляться для моциона. Чарльз не в духе, какой-то подавленный. Она натянула чулок. Затем разобрала постель, сложила покрывало. Кому-то не придется делать это за нее. Положила на подушку пеньюар, шерстяную ночную кофту, спальные носки и

плюшевого кролика с оторванным ухом. Она спасла его, как и множество других вещей, когда после смерти Папы мебель из дома отправляли в магазин.

— Сколько хлама, — сказала Мария. — Тебе не понадобится и четвертая часть того, что здесь есть. Я хотела бы взять для своей квартиры вот это бюро, круглый стол из гостиной и старую качалку, я всегда любила ее. Не обременяй себя всем этим старьем. Его все равно разбомбят.

Найэл захотел взять только несколько книг и карандашный портрет Мамы работы Сарджента. Селия хотела бы оставить все. Но как сохранить, куда деть? Живя так, как приходится жить ей — со дня на день, пока не кончится война. Больно и тяжело выбрасывать дорогие, давно знакомые вещи. Даже старые календари и рождественские открытки. Один календарь висел в уборной первого этажа с того года, когда Мария вышла замуж. Селия так и не заменила его: ей казалось, что картинка — яблоня в цвету — очень подходит для этого места. В новом году она купила маленькие ленточки и заклеила ими нижнюю часть календаря. Не было случая, чтобы эта картинка не подняла ей настроения, даже в минуты депрессии. И так, когда дом продали, календарь вместе со многим другим пришлось выбросить. Корзина для бумаг приняла в себя яблоню в цвету. Но остались целые сундуки невыброшенных вещей. Сундуки бесполезных предметов. Чайники, блюда, тарелки, кофейники. Папа любил, чтобы ему наливали кофе из кофейника. Обязательно оставить зеленую вазу. Однажды, наливая в нее воду, Труда отбила небольшой кусочек от кромки — на бедняжку налетел Найэл, которому срочно понадобилось выпить лимонада в буфетной. Зеленая ваза была символом Найэла в шестнадцатилетнем возрасте. Сохранить ножи для бумаги, подносы, старое с медными обручами ведро для угля. Когда-то ими пользовались каждый день. Они отслужили свою службу; их срок исполнился. Но в них запечатлелось время, запечатлелись мгновения, неповторимые, невозвратные.

И сейчас maisonette[68] в Хампстеде, где она жила последние годы, переполнен вещами, которые ей вроде бы и ни к чему. Но она рада, что они рядом, под рукой. Как этот заяц на подушке.

Вот и еще одна причина того, что она забросила свои рассказы и рисунки. Она занималась переездом в maisonette...

— На называй его maisonette. Это звучит так банально, — сказала однажды Мария.

А как его еще называть? Это и есть maisonette. Но там она бывает только по будням, а на выходные всегда приезжает в Фартингз. По крайней мере до этого дня. Размышления Селии прервались, пока она застегивала вечернее платье с широкими рукавами, которое ей отдала Мария, поскольку самой Марии оно было велико. Но почему, снова задумалась она, сегодня все представляется таким неопределенным, ненадежным, как в летний вечер перед приближением бури, как в тех случаях, когда у кого-то из малышей повышается температура, и в голове сразу вспыхивает мысль о детском параличе.

Вчера, когда она приехала, в доме все было как обычно. В субботу она села в свой обычный поезд. Мария, конечно, приехала вечером после спектакля... с Найэлом. Селия, Чарльз и Полли с детьми позавтракали вместе, как всегда по субботам. Днем Чарльз куда-то ушел, а Селия и Полли с детьми отправились гулять. Обед с Чарльзом прошел не более спокойно, чем обычно. Они включили приемник, слушали музыку, слушали новости. Потом она чинила подушку, которую Мария порвала на прошлой неделе. Затем готовила ужин для Марии и Найэла — они всегда приезжали голодными. Тем самым она избавила Полли и миссис Бэнкс от лишних хлопот; они могли не дожидаться Марии и идти спать. К тому же она любит это занятие. Оно давно стало для нее привычным. Готовит она лучше миссис Бэнкс. Говорят, что у нее все получается гораздо вкуснее. Может быть, она слишком много на себя берет, занимается не своим делом? Может быть, Чарльз недоволен и чувствует себя оскорбленным?

И вдруг все, что она многие годы принимала как нечто само собой разумеющееся: посещение Фартингза, починка подушек для Марии, штопка носков для детей, — сделалось неустойчивым, утратило равновесие, перестало быть частью ее жизни, перестало быть чем-то вечным, неизменным. Ушло в небытие, как война, как Папа. Она застегнула вечернее платье до самого подбородка и напудрила нос. Посмотрев в зеркало, она увидела между бровями давнишнюю предательскую морщину. Прошлась по ней пуховкой, но она не исчезла.

— Ты перестанешь хмуриться? — не раз говорила ей Труда. — Детям в твоём возрасте не пристало хмуриться.

— Улыбнись, дорогая, улыбнись, — говорил Папа. — У тебя такой вид, будто на твои плечи навалились заботы и горести всего мира.

Но морщина врезалась навсегда. Она никогда не исчезнет. Ах, только не сейчас... Похоже на боль в солнечном сплетении. Как часто во время войны — придет и отпустит, хотя, на самом деле еще раньше, ухаживая за Папой, она временами чувствовала слабую ноющую боль. Не сильную. Не острую. Просто

ноющую. Если она ела определенную пищу, эта боль предвещала расстройство желудка. Впрочем, рентгеновские снимки покажут, если с ней не все в порядке. На следующей неделе она их обязательно сделает. Но боль, видимо, уже не пройдет, как и морщина. Когда женщине за тридцать и она не замужем, можно не сомневаться, что у нее не все в порядке — где-нибудь да болит.

Если она сейчас спустится вниз, в гостиную, и попробует растопить камин до удара гонга, не застанет ли она там Чарльза? Не подумает ли он, взглянув на нее: «По какому праву она относится к этому дому так, будто он принадлежит ей?» Но ведь камином в любом случае надо заняться, а Полли на кухне с миссис Бэнкс. Что бы я сейчас ни сделала, подумала Селия, все покажется навязчивостью с моей стороны и вмешательством в чужие дела. Я всегда делаю салат, кроме меня этого никто не умеет; обязательно забудут положить сахар. Марии самой следовало бы заниматься салатом, Марии или Чарльзу. Что бы я сейчас ни сделала, если не кому-то, то мне самой покажется навязчивостью, бесцеремонностью; спокойная безмятежность осталась в прошлом, и в Фартингзе я отныне не дома, а в гостях.

Она вышла из комнаты и, чтобы не встретиться с Чарльзом на парадной лестнице, спустилась по черной. Так она могла войти в столовую через другую дверь и никем не замеченная побыть с Полли, пока не прозвучит гонг. Но ее план не удался — за закрытой дверью буфетной Чарльз разговаривал по телефону. Накануне он жаловался, что в его кабинете не работает телефонный отвод.

Селия отступила в тень лестницы и стала ждать, когда Чарльз закончит разговор. Она и сама много раз звонила из буфетной: на станцию — узнать расписание поездов, в расположенный в деревне гараж, чтобы вызвать машину, и, снимая трубку, часто слышала голос Марии, которая из своей спальни разговаривала по междугородному телефону с Лондоном, и по звучанию ее голоса безошибочно угадывала, о чем она говорит — о деле или о чем-то другом. Как правило, разговор шел о чем-то другом. Селия вешала трубку в буфетной и, прислонясь к раковине, ждала, пока щелчок в аппарате на стене не давал ей знать, что разговор закончен. Сейчас она об этом вспомнила.

— Абсолютно точно, — говорил Чарльз. — Сегодня днем я принял решение. Продолжать бессмысленно. Вечером я так и скажу. — Наступила пауза, затем он сказал: — Да, всю компанию. Всех троих. — Еще одна пауза, а затем: — Днем довольно плохо. Но сейчас лучше. Когда есть мужество принять решение, все выглядит не так плохо.

Чарльз обернулся и увидел, что дверь буфетной открыта. Он толкнул ее ногой. Дверь подалась и с шумом захлопнулась. Голос Чарльза превратился в легкий неразборчивый шепот.

Прижавшись к стене на черной лестнице, Селия вдруг ощутила ледяной холод. Что-то должно случиться. Должно случиться что-то такое, о чем никто из нас не догадывается. Беспокойство по поводу ее собственного положения незваной гостьи показалось ей пустым и ничтожным. Теперь его сменило пока еще смутное и не до конца осознанное понимание чего-то более глубокого и значительного. Она прокралась мимо двери буфетной, осторожно вошла в столовую и принялась за салат.

Удар гонга раскатистым эхом отозвался во всем доме, подобно вызову на последний суд.

Глава 22

Столовая в Фартингзе была длинной и узкой. Стол был красного дерева с опускаемыми досками на обоих торцах. Стулья были тоже красного дерева с высокими жесткими спинками и тонкими высокими ножками. Серый ковер был более темного тона, чем светло-серые стены. Дровяного камина в столовой никогда не было, его заменял электрический, который включался перед тем, как садились за стол, и выключался после окончания трапезы. Однажды Мария подогревала над спиралью камина копченую рыбу и по небрежности закапала густым жиром чистый, без единого пятнышка поддон. Как ни старалась Полли, как ни терла сталь тряпкой, следы пятен полностью не исчезли. Они и теперь были заметны — единственное пятно в безупречно чистой комнате. Такие комнаты не располагают к мечтательности, не располагают к непринужденной беседе. На сервировочном столе за стулом Чарльза было все готово к ритуалу воскресного ужина. Суп в фаянсовых горшочках на подогретых тарелках; они являлись не более чем последней данью традиции — чтобы не мыть лишние тарелки, суп ели прямо из горшочков. Холодный цыпленок, гарнированный петрушкой, несколько кусочков колбасы, оставшихся от ленча, подсохших и съезжившихся. Цыпленок, колбаса и блюдо печеного картофеля представляли собой наиболее существенные компоненты пиршества. И, конечно, салат. Открытый пирог — фрукты из

запасов Полли, — бисквит и большой кусок синего датского сыра.

Найэл с облегчением заметил, что бутылка кларета, стоящая на буфете, еще не раскупорена, но, очевидно, и не подогрета; заметил он и то, что бутылка привезенного из Лондона джина, которую он и Мария почали, но оставили на две трети полной перед уходом из гостиной, теперь пуста. Следовательно, Чарльз допил ее — Чарльз, который не пьет ничего, кроме вина, и смешивает коктейли только для гостей. Найэл украдкой бросил на него взгляд. Но Чарльз стоял к нему спиной и точил нож. Полли стояла рядом с тарелками наготове. Селия уже сидела за столом и вынимала салфетку из серебряного кольца. Селия всегда пользовалась этим кольцом, но Найэл заметил, что, положив его на стол, она остановила на нем задумчивый взгляд, словно хотела задать ему вопрос.

Остатки воды из ванной стекли по трубе за окном. Было слышно, как Мария ходит в своей спальне над столовой. Все молчали. Чарльз разрезал цыпленка. В дверь поскребся щенок, и Селия инстинктивно встала из-за стола, чтобы его впустить, но на полпути помедлила в нерешительности и через плечо посмотрела на человека, который, стоя у буфета, разрезал цыпленка.

— Как быть со щенком? — спросила она. — Впустить?

Чарльз не ответил, наверное, он не слышал ее слов; Селия, с тревогой и нерешительностью глядя на Найэла, открыла дверь. Щенок робко перешагнул через порог, прополз по комнате и забрался под стол.

— Кто хочет грудку? — спросил Чарльз к всеобщему удивлению.

Будь мы вдвоем, подумал Найэл, или если бы вместо Чарльза здесь была Мария, то вот он, самый подходящий момент для веселого каламбура, и хорошее настроение на весь ужин обеспечено. Я всегда хочу грудку, но получаю ее ой как редко. Но нет, не сейчас, не здесь. Сейчас любой каламбур чреват бедой. К тому же не Найэлу первым высказывать свое желание. Он предоставил это право Селии.

— Я бы хотела крыло, Чарльз, если можно. — Селия говорила почти скороговоркой, щеки ее пылали. — И, пожалуй, кусочек колбасы. Небольшой.

Как это непохоже на Чарльза — нарезать второе блюдо, когда еще не съеден суп. Однако в тот вечер все шло не как положено. Ритуал был нарушен. Только Полли держалась как ни в чем не бывало. Хотя даже она наконец заметила, что что-то не так; склонила голову набок, словно озадаченный воробей, и улыбнулась.

— Я забыла включить «Гранд-отель», — сказала Полли.

Она подала на стол последний горшочек с супом и бросилась в угол столовой, где стоял портативный радиоприемник, и повернула выключатель. Приемник заработал на всю мощность. От оглушительного пения зычного тенора задрожал воздух, заломило в ушах. Найэл поморщился и искоса посмотрел на Чарльза. У Полли хватило сообразительности повернуть ручку влево; тенор притих, его голос стал чуть громче шепота. Если не для тех, кто его слушал, то для него самого действительно «Звенели колокола храма». Тем не менее посторонние звуки притупили чувства и помогли нарушить молчание. Тенор стал как бы еще одним гостем, но менее обременительным.

А суп, подумал Найэл, раскрывает характер. Селия, как и учила нас Труда, ест суп ложкой, но прямо из горшочка, а не выливая на тарелку — привычка военных лет. Полли отпивает маленькими глотками, согнув палец. Отопьет, поставит горшочек на тарелку и снова поднесет ко рту. В былые времена мы бы сказали, что она жеманничает. Чарльз, как и пристало человеку в его положении, как, вероятно, все Уиндэмы, спокон веков уже в детстве привыкшие к огромным супницам, подносимым лакеями, вылил суп на тарелку и, не заботясь о мытье посуды, черпал его ложкой, слегка приподняв ободок тарелки.

Тенор пел «Люблю я руки бледные», когда Мария вошла в столовую. Она одевалась в спешке, и Найэл знал, что под ее бархатным вечерним платьем цвета старого золота ничего нет. Она надевала его каждое воскресенье вместе с украшенным драгоценными камнями поясом, который он однажды привез ей из Парижа. Найэл недоумевал: почему одетая на скорую руку, без прически, с небрежно напудренным лицом Мария кажется ему гораздо более красивой, чем в тех случаях, когда, отправляясь на прием, она тратит на одевание и все прочее уйму времени и сил. Он и сам не знал, то ли его собственные странности, граничащие с извращением, то ли долгие годы любви и близости заставляли его особенно страстно желать ее в те минуты, когда она слегка растрепана, как сейчас, или заспана после раннего пробуждения, или еще не успела стереть грим и вынуть шпильки из волос.

— Ах, я опоздала? — спросила Мария, широко раскрыв глаза. — Извините.

Она села на стул в конце стола напротив Чарльза, и голос ее был голосом самой невинности, голосом того, кто не слышал гонга, не знает времени ужина. Так вот он каков, лейтмотив сегодняшнего вечера, решил Найэл, роли выбраны, и мы все возвращаемся к Мэри Роз, бесплотной Мэри Роз, ребенку, заблудившемуся на острове.

Остается посмотреть, подействует ли это на Чарльза. Ведь время не терпит, время истекает.

— Ужин всегда начинался в восемь, — сказал Чарльз. — Все эти годы по твоей просьбе. И сегодня он начался в восемь.

Нас всех построили в шеренгу, подумал Найэл. Подождем сигнала стартера. А как ест суп Мария? Отпивает или приподнимает? Никогда не замечал. Вероятно, это зависит от настроения. Мария взяла фаянсовый горшочек обеими руками. Любовно поддерживая его, чувствуя, как ей передается его тепло, понюхала, чем в нем пахнет. Затем стала пить прямо из горшочка, по-прежнему держа его в обеих руках: но пила медленно, сосредоточенно, а не большими глотками, как Найэл. Она посмотрела через стол на Найэла и увидела, что он с улыбкой наблюдает за ней. Она улыбнулась в ответ — ведь это Найэл, — хотя и почувствовала некоторое замешательство, не зная, чему он улыбается. Может быть, она допустила какую-нибудь оплошность? Или дело в мелодии? Может быть, в ней есть условный код, смысл которого она забыла? «Люблю я руки бледные на бреге Шалимара». Шалимар... где это? Во всяком случае, какие прелестные, чувственные видения он вызывает, несмотря на тошнотворный голос и сладкие слова. Река, гладкая и теплая, цвета шартреза. Но почему она никогда не путешествовала по Индии? Ах, Индия... Раджи, лунные камни, купание в молоке ослиц. Женщины в пурдах. Или в сари. Или в чем-нибудь еще... Она обвела взглядом стол. Какое гнетущее молчание. Кто-нибудь должен нарушить его. Но не она, не Мария.

— Ах, мамочка, в ванной дети чуть не утомили меня со смеху, — сказала Полли, вставая из-за стола собрать горшочки и тарелки. — Они сказали: «Интересно, мамочка и дядя Найэл и сейчас моются вместе в ванне, как, наверное, мылись маленькими, и сердится ли мамочка, если мыло попадает ей в глаза». — И в ожидании комментариев Полли весело рассмеялась шутке детей.

Что за глупое замечание, сокрушенно подумала Селия. И надо же сделать его именно сейчас. Хотя, если бы мы были троим, я и сама могла бы по забывчивости или по недомыслию сказать что-нибудь в таком роде.

— Не помню, — сказал Найэл, — чтобы нас мыли в ванне вместе. Мария всегда была жадной на воду. Хотела всю забрать себе. Зато я помню, как намыливал Селии попку. Она была такая мягкая и вся в веснушках. Вы не возьмете мою тарелку, Полли?

«Ничтожней пыли» пел теперь тенор. И, судя по угрюмому лицу Чарльза, очень кстати. Ничтожней пыли под колесами его колесницы. Найэл — ничтожней пыли. Каждый из нас — ничтожней пыли. И Чарльз, шелкая кнутом, попирает его копытами своих коней и колесами колесницы. Второе подали без дальнейших цитат из детей. Найэлу досталась длинная и тощая цыплячья ножка. Ну да ладно, ножка сослужит свою службу, а вот кларет... В конце концов, Чарльз подогреет его? Или, что еще важнее, подаст он его или нет? В это время Чарльз подавал салат. Салатом могли бы заняться и другие. Кларет — вот его дело. Если существовало хоть что-то, чего Найэл не взял бы на себя в доме Чарльза, так это разливать кларет. Итак, примемся за ножку. Воздадим ей должное.

Полли досталась грудная кость, значит, ей выпало загадывать желание. Она отделит ее от других костей и протянет Марии:

— Мамочка хочет загадать желание? Если у мамочки есть заветное желание, то чего же она хочет?

Марии досталась целая грудка, которую она ела с полнейшим безразличием. Чарльз ел второе крыло. В конце концов, птица его, и он вполне заслужил эту часть. Мария положила себе салата и подняла глаза.

— Разве мы ничего не выпьем? — спросила она.

Вылитая Мэри Роз. Но довольно раздражительная и надутая Мэри Роз, которую Саймон слишком надолго оставил среди вишневых деревьев без воды и питья.

Все в том же мрачном молчании Чарльз подошел к буфету. Он перелил кларет в графин. О подогревании уже не могло быть и речи. К великому облегчению Найэла, Полли и Селия отказались. При этом Полли рассмеялась беззвучным смехом, как всегда в тех случаях, когда ей предлагали спиртное.

— Ах нет, мистер Уиндэм, только не я. Меня еще ждет завтра.

— Как и всех нас, — сказал Чарльз.

Это было явное позерство. Удар ниже пояса. Даже в синих, подернутых мечтательной дымкой глазах Мэри Роз отразился немой вопрос. Найэл заметил, как она метнула на мужа обеспокоенный, недоумевающий взгляд и снова погрузилась в свою роль.

Нападение — лучшая защита. Кто-то постоянно повторял эту фразу. Монтоммери или Симс. Во время войны Найэл несколько раз слышал ее по радио. Интересно, применим ли такой метод к нынешнему вечеру?

Допустим, он наклонится к хозяину дома и скажет:

— Послушайте, что все это значит?

Что сделает Чарльз — невозмутимо смерит его отсутствующим взглядом? В былые времена было проще. В давно забытые времена дуэлей. Разбитый вдребезги бокал. Винные пятна на кружевном жабо. Рука на эфесе шпаги. Завтра? Да, на рассвете... Между тем ты ничего не делаешь. Набрасываешься на цыплячью ножку. Пьешь кларет и находишь его слишком холодным и кислым. Сносное церковное вино. Обшаривая бар в поисках второй бутылки джина, Чарльз наткнулся на давнишние запасы со складов Братьев Берри и кое-что прихватил с собой. Уксус урожая года такого-то и такого-то. Ну, да все равно. Выпьем...

Селия нашла в салате гусеницу и поспешила спрятать ее под крайним листом. Миссис Бэнкс не слишком-то внимательна. Вычистить салат совсем не сложно, если как следует промыть. Осмотрела каждый лист, промыла и высыпала на чистую влажную салфетку. Хорошо еще, что гусеница попала к ней на тарелку, а не к Марии. Мария обязательно сказала бы:

— Ах, Боже мой! Посмотрите на это.

А сейчас такое замечание было бы крайне неуместно.

Если бы хоть кто-нибудь заговорил и прервал молчание, но легко, непринужденно. Дети, конечно, очень бы помогли. Дети лепетали бы без умолку. При детях невозможно быть мрачными. В этот момент ведущий «Гранд-отеля» объявил, что оркестр исполнит попури из мелодий Найэла Делейни. Полли подняла глаза от своей заветной кости, и ее лицо осветилось широкой, радостной улыбкой.

— Ах, как мило, — сказала она. — Нам всем будет приятно их услышать.

Возможно, и всем, но не Найэлу Делейни. Господи, до чего не ко времени.

— На публике, — сказал Найэл, — довольно тяжело слышать собственные ошибки. Писатель может забыть о своих, сдав последний лист корректуры. Но не композитор, сочиняющий пустяковые песенки.

— Не говорите так, мистер Найэл, — возразила Полли. — Вы всегда умаляете свои достоинства... Право же, уверяю вас, вы отлично знаете, насколько вы популярны. Послушали бы вы миссис Бэнкс на кухне. Даже ее голос не может испортить ваши песни! Ах, это моя любимая...

Она для всех была любимой... пять лет назад. Зачем вспоминать о ней? Почему не забыть, как забываешь о былых капризах и увлечениях? Однако эти болваны ведут слишком быстро. Какой ломаный ритм... Десять утра... Да, было десять часов утра, солнце заливало комнату, и, чего с ним никогда не случалось в такой ранний час, он ощущал в себе энергию всего мира, а в голове звучала песня... Он подошел к роялю, сыграл ее и позвонил Марии.

— В чем дело? Что тебе надо?

Голос глухой, сонный. Она терпеть не могла, когда телефон будил ее раньше половины одиннадцатого.

— Слушай. Я хочу, чтобы ты кое-что послушала.

— Нет.

— Не выводите меня из себя, слушай.

Он сыграл песню раз шесть, потом снова взял трубку; он знал, как выглядит Мария — на голове тюрбан, глаза заспаны.

— Да, но в конце надо не так, — сказала она, — а вот так.

И Мария спела последние такты, ведя мелодию вверх, а не вниз, и, конечно, получилось именно то, чего он и сам хотел.

— Ты имеешь в виду вот так? Не клади трубку, я сейчас поставлю телефон на рояль.

Он снова сыграл мелодию, взяв вверх, как хотела Мария. Он сидел на табурете за роялем, прижимал трубку к плечу и смеялся — безумная, скорченная поза куклы чревовещателя, — а она тем временем напевала мелодию ему в самое ухо.

— Ну а теперь я могу снова уснуть?

— Если сумеешь.

Радость души минут на пять, десять, от силы на час... и она уже не его, став достоянием дешевых завывал. Миссис Бэнкс, Полли... Ему хотелось встать и выключить приемник; происходящее казалось несвоевременным, несуразным, безвкусным. Как если бы он, Найэл, специально попросил режиссера «Гранд-отеля» исполнить его песни именно сейчас, чтобы оскорбить Чарльза. Современный способ бросать перчатку: вот на что я способен. А на что способен ты?

— Да, — сказал Чарльз, — это и моя любимая песня.

Именно поэтому, подумал Найэл, меня так и подмывает встать из-за стола, выйти из комнаты, сесть в машину, поехать к морю, отыскать мою лодку с течью и уплыть навстречу своей гибели. Взгляд, с каким он произнес эти слова, я никогда не забуду.

— Благодарю вас, Чарльз, — сказал Найэл. И разломил печеную картофелину.

Вот он, удобный случай, подумала Селия. Удобный случай все уладить. Укрепить связывающие нас узы. Вернуть Чарльза. Мы все виноваты: мы отошли от Чарльза, отгородились от него. Мария никогда этого не признавала. Не понимала. Умом она была и есть ребенок, ищущий, любопытный, как зеркало отражающий не себя, а других. Она не думала о вас, Чарльз, только потому, что дети вообще никогда не думают. Если бы музыка Найэла обладала способностью останавливать мгновение, все могло бы проясниться, уладиться. Но Полли все испортила.

— Мальчуган был сегодня таким забавным во время прогулки, — сказала она. — Он спросил меня: «Полли, когда мы вырастем, то станем такими же умными и знаменитыми, как мамочка и дядя Найэл?» Это зависит от вас, ответила я. Маленькие мальчики, которые грызут свои ногти, не становятся знаменитыми.

— Я грыз свои до крови, пока мне не исполнилось девятнадцать лет, — сказал Найэл.

— Восемнадцать, — поправила Мария.

Ей было известно и то, кто его от этого отучил. С видом холодного безразличия она смотрела на Найэла.

Его уже не вернуть, думала Селия. Мгновение. Мы упустили свой шанс. Чарльз молча налил себе кларета.

— Кроме того, — продолжала Полли, — вы не станете знаменитыми, если будете сидеть, ничего не делая. Так я и сказала малышу. Мамочка хотела бы проводить больше времени здесь, с вами и с папочкой, но она должна работать в театре. И знаете, что он на это сказал? Он сказал: «Ей не надо работать. Она могла бы просто быть нашей мамочкой». Как мило.

Загнув палец, она отпила из стакана воды и улыбнулась Марии. Никак не могу решить, подумал Найэл, то ли она преступница, хитрая, опасная, созревшая для Олд-Бейли,[69] то ли так непроходимо глупа, что было бы благом свернуть ей шею и избавить мир от лишних хлопот.

— По-моему, — набравшись храбрости, заметила Селия, — детям надо сказать вот что. Не так уж и важно, знаменит ты или нет. Любить свое дело, вот что важно. Будь то игра на сцене, сочинение музыки, садоводство или работа водопроводчика, надо любить свое дело, любить то, чем занимаешься.

— А к супружеству это тоже относится? — осведомился Чарльз.

Селия допустила гораздо большую оплошность, чем Полли. Найэл видел, как она закусила губу.

— Я полагаю, Чарльз, что Полли говорила не о супружестве, — сказала она.

— Полли нет, — сказал Чарльз. — Но мой сын и наследник говорил именно о нем.

Какая жалость, что я не мастак говорить, думал Найэл, не один из тех цветистых болтунов, которые как блины подбрасывают фразы в воздух и обмениваются ими через стол. Уж тогда бы я отыгрался. Направить разговор в необозримо широкое русло, а оттуда в сферу абстрактного мышления. Что ни слово — жемчужина. Супружество, мой дорогой Чарльз, подобно перине. Кому пух, кому иголки. Но лишь стоит вспороть ее, и хоть нос затыкай...

— Грудки совсем не осталось? — спросила Мария.

— Извини, — сказал Чарльз, — она целиком досталась тебе.

Что ж, это тоже выход. И думать особенно не о чем.

— Что я все время хочу сделать, — сказала Полли, — так это взять книгу и записать все забавные высказывания детей.

— К чему брать книгу, если вы и так все помните? — спросил Найэл.

Мария встала из-за стола и не спеша подошла к сервировочному столу. Ткнула вилкой в бисквит, сломав верхнюю корочку. Попробовала его, поморщилась и положила вилку рядом. Испортив вид третьего блюда, она вернулась за стол с апельсином в руках. С единственным апельсином. Вонзила в него зубы и стала снимать кожуру. Если бы не Чарльз и Полли, размышлял Найэл, то самый подходящий момент пустить в ход вопросник, вернее, нечто вроде вопросника, в который мы играли, оставаясь одни. В какое место лучше всего целовать особу, которую вы любите? Все зависит от того, что это за особа. Вы обязательно должны быть знакомы? Не обязательно. Ах, в таком случае, вероятно, в шею. Под левое ухо. И опускаться вниз. Или, когда станете более близки, в колено. Колено? Почему колено? Мария бросила через стол семечко. Оно попало Найэлу в глаз. Жаль, подумал он, что я не могу рассказать ей, о чем сейчас думаю. От Мэри Роз остались бы одни воспоминания, и мы бы от души посмеялись.

— Боюсь, — сказала Полли, глядя на апельсин Марии, — что я забыла добавить в бисквит хереса.

Чарльз поднялся и стал собирать тарелки. Найэл отрезал себе датского сыра, Селия, желая утешить обиженную Полли, взяла кусочек бисквита. К тому же яблочный пирог пригодится завтра.

— Нелегкое это дело все держать в голове, — сказала Полли, — а от миссис Бэнкс невелика помощь. Она

занимается только тем, что вписывает точную норму пайка в бланк заказа для бакалейной лавки. Не знаю, что стало бы с нами, если бы я каждый понедельник не ломала над ним голову.

Понедельники, подумал Найэл, надо отменить. Да хранит Господь Мир по понедельникам.

Чарльз не притронулся ни к сладкому, ни к сыру. Пристально глядя на серебряные канделябры, он отломил кусочек печенья и вылил в свой бокал остатки кларета. До последней капли. Напиток оказался достаточно крепким. Лицо Чарльза, хотя с годами и отяжелело, было довольно бесцветным, если не считать загар — ведь большую часть времени он проводил на воздухе. Теперь же оно раскраснелось, на лбу выступили вены. Пальцы Чарльза поигрывали бокалом.

— Ну, и к какому же выводу вы пришли сегодня днем? — медленно проговорил он.

Никто не ответил. Полли удивленно вскинула брови.

— В вашем распоряжении было полдня, — продолжал Чарльз, — чтобы спокойно обдумать, прав я или нет. Вызов принял храбрейший из нас троих.

— Прав? В чем? — спросила Мария.

— В том, — сказал Чарльз, — что вы паразиты.

Он закурил сигару и откинулся на спинку стула. Слава Богу, подумал Найэл, липовый кларет притупил его чувства. Пока он не выветрится, Чарльз не будет страдать. Ведущий в приемнике простился с «Гранд-отелем», оркестр заиграл последнюю мелодию и затих.

— Кто-нибудь хочет послушать новости? — спросила Полли.

Чарльз махнул рукой. Полли, как вышколенная собака, поняла сигнал. Она встала и выключила приемник.

— Кажется, мы это не обсуждали, — сказала Мария, надкусывая дольку апельсина. — Мы говорили о многом другом. Как всегда.

— Мы провели любопытный день, — сказал Найэл. — Мы, все трое, окунулись в прошлое. Вспомнили многое из того, что считали забытым. А если не забытым, то похороненным на дне памяти.

— Однажды, давным-давно, — сказал Чарльз, — в качестве мирового судьи этого округа я присутствовал на эксгумации. Вскрытие могилы было весьма неприятной процедурой. И от трупа исходил запах.

— Запах незнакомых людей, мертвых или живых, всегда неприятен, — сказал Найэл, — но наш собственный запах и запах тех, кого мы любим, может обладать невыразимым очарованием. И определенным смыслом. Полагаю, сегодня днем мы в этом убедились.

Чарльз затянулся сигарой. Найэл закурил сигарету. Селия прислушивалась к тревожному биению собственного сердца. Мария ела апельсин.

— Вот как? — сказал Чарльз. — И какой же смысл вы извлекли из своего умершего прошлого?

— Не более чем подтверждение того, о чем я всегда подозревал, — ответил Найэл. — Живя, человек движется по кругу, как и мир, вращаясь на своей оси, и возвращается на то же место, с которого начал путь. Это очень просто.

— Да, — сказала Селия, — я чувствую то же самое. Но не только. Существует определенная причина, по которой мы это делаем. Даже если мы и возвращаемся к исходному пункту, то по пути кое-что приобретаем. Своего рода знание.

— По-моему, вы оба абсолютно не правы, — сказала Мария. — У меня вовсе нет такого чувства. Я не вернулась к тому, с чего начала. Я достигла другого пункта. Достигла благодаря собственным усилиям, собственной воле. Назад пути нет. Только вперед.

— В самом деле? — сказал Чарльз. — И можно спросить, к чему?

Полли, которая с веселым и несколько озадаченным видом бросала взгляды то на одного, то на другого, ухватилась за возможность принять участие в разговоре.

— Мы все надеемся, что мамочка, как только нынешняя пьеса сойдет со сцены, пойдет навстречу новому большому успеху. И мамочка на это тоже надеется.

Довольная собственной находчивостью, она принялась составлять тарелки на поднос. Близился момент, когда ей следовало покинуть столовую. Воскресный ужин, да; но она тактично уходила, как только миссис Бэнкс открывала дверь и подавала поднос с кофе. Мамочка и папочка любили пить кофе в узком кругу. А миссис Бэнкс любила помогать Полли мыть посуду.

— Успех... — сказал Найэл, — в нашем разговоре мы его не касались. Как и слава, о чем недавно говорила Селия, он не так уж необходим. Слишком часто успех становится камнем на шее. Да и история успеха в нашем деле всегда очень скучна. История успеха Марии — это перечень ее ролей. Моего — вереница мелодий. Они не имеют ровно никакого значения.

— А что, по-вашему, имеет значение? — поинтересовался Чарльз.

— Не знаю, — ответил Найэл, — и никогда не знал. А хотел бы, видит Бог.

Миссис Бэнкс открыла дверь и застыла с подносом в руках. Полли взяла у нее поднос. Дверь закрылась.

— А я скажу вам, что имеет значение, — сказал Чарльз. — Имеют значение принципы, критерии, идеалы. Имеет большое значение вера в Бога и в людей. Имеет очень большое значение, если вы любите женщину, а женщина любит мужчину и вы женитесь, и растите детей, и живете жизнью друг друга, и стареете, и лежите погребенными в одной могиле. Еще большее значение имеет, если мужчина любит не ту женщину, и женщина любит не того мужчину, и эти двое пришли из разных миров, которые невозможно соединить, невозможно превратить в один мир, принадлежащий обоим. Потому что когда такое происходит, мужчина начинает плыть по течению и погибает как личность, его идеалы, иллюзии, традиции погибают вместе с ним. Жить больше не для чего. Он признает себя побежденным. И он говорит себе: «К чему напрасный труд? Женщина, которую я люблю, не верит в то, во что верю я. Так перестану верить и я. Я тоже могу понизить свои критерии».

Он взял чашку кофе, которую поставила перед ним Полли, и помешал в ней ложечкой. Мешать было незачем. Кофе был без сахара.

— Чарльз, прошу вас, — сказала Селия, — не говорите так. Для меня невыносимо слышать, когда вы так говорите.

— Для меня было невыносимо, — сказал Чарльз, — начать думать подобным образом. Теперь я уже привык.

— Чарльз, — сказал Найэл, — я не умею правильно расставлять акценты, но по-моему, вы все видите не в фокусе, не в контуре. Вы говорите о разных мирах. Наш мир, мир Марии и мой, отличается от вашего, но только на поверхности. У нас тоже есть свои традиции. Свои критерии. Но мы смотрим на них под другим углом зрения. Как, скажем, француз многое видит иначе, чем датчанин или итальянец. Это не значит, что они не могут ужиться, не могут поладить.

— Совершенно согласен, — сказал Чарльз. — Но поскольку я никогда не просил француза, датчанина или итальянца разделить со мной жизнь, то вы уклоняетесь от главного вопроса.

— И в чем же состоит главный вопрос? — спросила Мария.

— Пожалуй, — сказала Полли, стоя в дверях, — если не возражаете, я пожелаю вам доброй ночи и пойду помогу миссис Бэнкс с мытьем посуды. — Она одарила нас лучезарной улыбкой и ушла.

— Главный вопрос в том, — сказал Чарльз, — что для вас главное в жизни — брать или давать. Если брать, то приходит время, когда вы досуха высасываете того, кто дает, как Мария только что высосала последние капли сока из апельсина. И перед тем, кто берет, открывается безрадостная перспектива. Для того, кто дает, перспектива так же безрадостна, потому что в нем практически не осталось никаких чувств. Но у него еще хватает решимости, чтобы принять одно решение. А именно — не тратить попусту те немногие чувства, что в нем еще остались.

Пепел с его сигары упал на блюдце. Полежал на пролитых каплях и расплылся грязным, коричневым пятном.

— Откровенно говоря, — сказала Мария, — я не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Я имею в виду, — сказал Чарльз, — что мы все подошли к той точке, где наши пути расходятся.

— Не слишком ли много кларета ты выпил? — спросила Мария.

Не слишком, подумал Найэл, Чарльз выпил не слишком много. Если бы было еще хоть полбутылки, Чарльз не страдал бы. Никто не должен страдать. Иначе завтра мы проснемся с головной болью. Тогда как сейчас...

— Нет, — сказал Чарльз. — Я выпил ровно столько, чтобы у меня развязался язык, который слишком долго был связан. Сегодня днем, пока вы втроем ворошили прошлое, я принял решение. Очень простое решение. Люди принимают его каждый день. Но поскольку оно отразится на вас троих, вы имеете право услышать о нем.

— Я тоже принял решение, — быстро проговорил Найэл. — Возможно, сегодня каждый из нас принял решение. Вы только что спросили, что в жизни имеет для меня значение. Я солгал, ответив, что не знаю. Для меня имеет значение писать хорошую музыку. Я этого еще никогда не делал и, возможно, не сделаю. Но я хочу попробовать. Хочу уехать и попробовать. Поэтому, что бы вы ни решили, гуляя под дождем, можете спокойно исключить меня из своей сметы. Меня здесь не будет, Чарльз. А значит, одним паразитом меньше.

Чарльз промолчал.

— Мне очень неловко, — сказала Селия, — что я так часто приезжаю сюда на выходные. После смерти Папы как-то само собой получилось, что я стала считать Фартингз своим домом. Особенно во время войны. И дети. Дети открыли для меня новый мир. Но теперь я окончательно поселюсь у себя в Хэмпстеде, там все будет по-другому, совсем по-другому. Я займусь тем, на что раньше у меня не хватало времени. Я буду писать. Я буду рисовать.

Чарльз не сводил взгляда с серебряных канделябров.

— На прошлой неделе зал опять был полупустым, — сказала Мария. — Я очень сомневаюсь, что пьеса протянет до весны. Мы уже много лет не отдыхали вместе, не так ли? Просто нелепо... Ведь есть масса мест, которых я еще не видела. Чарльз, мы могли бы куда-нибудь поехать, когда пьесу снимут. Ты бы хотел этого? Ты был бы рад?

Чарльз положил сигару на тарелку и сложил салфетку.

— Очаровательное предложение, — сказал он. — Но у него есть один недостаток. Оно пришло слишком поздно.

Слишком поздно для фортепианного концерта, слишком поздно сочинять хорошую, а не плохую музыку? Слишком поздно рисовать, слишком поздно печатать рассказы? Слишком поздно создать семью, обустроить домашний очаг, любить детей?

— Завтра, — сказал Чарльз, — я намерен дать делу официальный ход. Поручить адвокату написать тебе письмо по всей форме.

— Письмо? — спросила Мария. — Какое письмо?

— Письмо с просьбой дать мне развод, — ответил Чарльз.

Никто из нас не проронил ни слова. Мы уставились на Чарльза, растерянные, ошеломленные.

Этот голос, подумала Селия, голос, который я не слышала, голос на другом конце провода. Вот что встревожило меня, вот что напугало. Этот голос и то, как Чарльз толкнул ногой дверь буфетной.

Слишком поздно, подумал Найэл, слишком поздно... в том числе и для Чарльза. Паразиты сделали свое дело.

— Развестись с тобой? — сказала Мария. — Что значит развестись с тобой? Я не хочу с тобой разводиться. Я тебя люблю, очень люблю.

— Ужасно, не так ли? — сказал Чарльз. — Тебе следовало говорить об этом почаще. А теперь бесполезно, меня это уже не интересует. Видишь ли, я полюбил другую.

Найэл через стол посмотрел на Марию. Она уже не была Мэри Роз, она уже никем не была. Она вновь стала маленькой девочкой, которая почти тридцать лет назад стояла в заднем ряду партера и смотрела на Маму, освещенную мягким светом рамп... Она посмотрела на Маму, затем повернулась к висящим на стене зеркалам, и в них отразились не ее, а у кого-то заимствованные жесты, не ее, а чьи-то руки, чья-то улыбка, чьи-то плывущие в танце ноги. А глаза были глазами ребенка, который живет в мире фантазий и масок, в мире оживших видений и пурпурных волн театрального занавеса; ребенка, который, как только ему показали реальную жизнь, почувствовал боль, смятение, страх.

— Нет, — сказала Мария. — Нет...

Она поднялась из-за стола и, стиснув руки, стояла, глядя на Чарльза. Роль покинутой жены ей еще не приходилось играть.

Глава 23

Селия оставила перчатки и библиотечную книгу в приемной. После консультации у врача она вернулась за ними. Женщины с маленьким ребенком там уже не было. Наверное, она пошла к одному из врачей, чьи имена указаны на медных табличках на дверях. Вместо них у стола сидел мужчина, листавший страницы «Сферы». У него было серое, изможденное лицо. Возможно, он очень болен, подумала Селия, возможно, ему скоро скажут что-нибудь гораздо хуже того, что сказали ей. Поэтому он и не читает журнал по-настоящему, а нетерпеливо перелистывает сразу по четыре страницы. И никто из собравшихся в этой комнате не знает, чем больны другие. О чем они думают. Зачем пришли. Взяв со стола перчатки и библиотечную книгу, она вышла из приемной. У открытой входной двери стояла женщина-регистратор в белом халате.

— Похолодало, — сказала она.

— Да, — сказала Селия.

— Коварное время года, — сказала женщина. — Всего доброго.

Входная дверь захлопнулась. Селия спустилась по ступенькам и свернула налево по Харли-стрит. Действительно, похолодало. Задул пронизывающий ветер. В такой день хорошо сидеть там, где тебя любят и балуют: жаркий камин, дружелюбный звон чашек и блюдец, сонный кот, развалясь в кресле, лижет лапу, а на подоконнике распускаются новые бутоны розового цикламена.

— Ну, что случилось? Положи ноги поудобнее и расскажи все по порядку.

Но такого друга нет. Она свернула на Вигмор-стрит в сторону книжного клуба «Таймс». Фиброма. Множество женщин имеют фиброму. Довольно частое явление. И операция, как сказал врач, в современных условиях не представляет никакой сложности. После операции ей станет гораздо лучше. Прежде всего, не волноваться, несколько недель отдыха, а потом быть готовой ко всему. Нет, она вовсе не боится операции. Но сознание того, что она не сможет иметь детей... Отказываться просто нелепо, глупо. Вопрос о замужестве не стоит, она не влюблена, никогда не была влюблена, да и вряд ли уже кого-нибудь встретит; она и не хочет влюбляться и выходить замуж не имеет ни малейшего желания.

— Вы намерены выйти замуж? — спросил врач.

— Нет. Ах нет.

— Значит, ваше решение зависит только от вас?

— Только от меня.

— Общее состояние вашего здоровья не оставляет желать лучшего. И, уверяю вас, вам не о чем беспокоиться. Если бы это было не так, я не стал бы скрывать.

— Я не беспокоюсь. Правда.

— Значит, все в порядке. Отлично. Тогда остается только назначить время и место. И хирурга.

Однако никаких детей... Никогда. Никакой возможности после операции. Сегодня ты женщина, способная вынашивать детей. Но через несколько недель... Через несколько недель ты станешь чем-то вроде раковины. Не более чем раковиной. Женщина, которая идет перед Селией по Вигмор-стрит, может быть, она тоже перенесла такую операцию. Она выглядит крепко сбитой. С другой стороны, вполне возможно, что она замужем и у нее несколько детей. Впрочем, не важно. У нее вид замужней женщины. Приехавшей в город жены флегматичного деревенского викария. Она в нерешительности помедлила... перешла дорогу, остановилась у «Дебнемз»[70] и уставилась на витрину. Затем, видимо, решилась и вошла в магазин. Как определить, была у этой женщины операция, которую предстоит перенести ей, или нет.

Через вращающуюся дверь Селия вошла в книжный клуб «Таймс». Подошла к столу, на котором значилась начальная буква ее фамилии. За столом стояла давно знакомая ей девушка. Девушка с платиновыми волосами.

— Добрый день, мисс Делейни.

— Добрый день.

И вдруг Селия ощутила непреодолимое желание рассказать девушке про операцию. Сказать: «Мне должны вырезать внутренности, а это значит, что я не смогу иметь детей». Что ответит ей платиновая девушка? Скажет: «О Боже, мне очень жаль», и ее сочувствие согреет Селии сердце, и она выйдет из клуба «Таймс» более счастливой, смилившейся со своей участью? Или она в замешательстве посмотрит на Селию и, опустив глаза на ее палец, поймет, что Селия не замужем? Так не все ли равно? Почему Селия так боится?

— У меня есть биография, которую вы спрашивали, мисс Делейни.

— Ах, благодарю вас. — Но Селия была не в том состоянии духа, которое располагает к биографиям. — Нет ли у вас каких-нибудь рассказов? Хороших рассказов, которые можно взять в руки и вскоре отложить?

Идиотский вопрос. Что она имела в виду? Она имела в виду то, как мужчина в приемной обращался с последним номером «Сферы».

— Боюсь, что из рассказов нет ничего стоящего. Но есть замечательный роман, который только что появился и уже получил очень хорошие рецензии.

— Можно посмотреть?

Платиновая девушка протянула книгу через стол.

— Он не тяжелый?

— О нет. Как раз наоборот. И очень легко читается.

— Хорошо. Я его возьму.

Роман издала фирма, где директором был мистер Харрисон. Его написала одна женщина, у которой было время, чтобы писать. Она подписала контракт, почла за честь и оправдала доверие фирмы. Не то что Селия. Если бы Селия принялась за работу, если бы не необходимость ухаживать за Папой, если бы не война, посетители подходили бы к этому самому столу и спрашивали у платиновой девушки: «У вас нет новых рассказов Селии Делейни?» Надо просто вернуться в Хампстед, сесть за стол, выкроить время. Никакие операции не помешают ей в этом. Больной всегда может работать. Больной может писать, лежа в кровати. Надо лишь подложить доску для рисования.

— Вы не хотите взять еще и биографию? Я держала ее специально для вас.

— Хорошо. Благодарю вас. Я возьму.

Ей подали через стол биографию и новый легкий роман.

— На днях я видела на сцене вашу сестру.

— В самом деле? Вам понравилось?

— О пьесе я не очень высокого мнения, но ваша сестра мне очень понравилась. Она великолепна, правда? Вы ни капли не похожи, не так ли?

— Да, мы действительно не похожи. Видите ли, мы сестры только по отцу.

— Ах, наверное, поэтому вы и не похожи. Я могла бы смотреть ее игру каждый день. Мой друг тоже. Он был без ума от нее. Я почти приревновала его!

На пальце платиновой девушки было кольцо. Селия только сейчас заметила его.

— Я не знала, что вы обручены.

— Да, уже почти год. Я выхожу замуж в Пасху. Тогда в библиотеке меня больше не увидят.

— У вас есть дом?

— Да, конечно.

Но Селии не удалось продолжить разговор с платиновой девушкой: какой-то мужчина в котелке и очках нетерпеливо совал вперед библиотечную книгу, за ним ждали своей очереди еще трое.

— Всего доброго.

— Всего доброго.

Вниз по лестнице библиотеки, через улицу, сквозь холодный шквалистый ветер, задувающий за воротник. А все-таки это правда, что эгоистичный страх за самого себя притупляет все остальные чувства. Визит на Харли-стрит придал особую окраску всему дню. С тех пор как Селия вышла от врача, она ни разу не подумала о Марии.

«Но вы ни капли не похожи, не так ли?»

«Да, мы сестры только по отцу».

Но мы должны быть похожи, потому что в нас обеих течет Папина кровь. Мы унаследовали его силу, его энергию, его жизненную стойкость. По крайней мере, Мария. Вот почему она лишь одно мгновение стояла, глядя на Чарльза испуганными глазами. Лишь одно мгновение. Затем собрала всю свою волю и сказала:

— Как глупо с моей стороны. Извините. Мне следовало бы знать. Между прочим, кто она?

И когда Чарльз назвал ей имя, Мария ответила:

— Ах... эта... Да, понятно, другой и не могло быть, разве не так? Я хочу сказать, что не могло при том спокойном образе жизни, какой ты здесь ведешь.

И она стала убирать кофейные чашки, как то могла бы делать Полли. Никто не знал, о чем она думает, что творится у нее в душе. Найэл встал и вышел из комнаты; он никому не пожелал доброй ночи. Селия помогла Марии убрать оставшиеся тарелки. Чарльз продолжал курить сигару. И Селия подумала, что если бы было возможно вернуть сказанные слова, если бы было возможно остановить и повернуть вспять стрелки часов, если бы день начался заново и всем нам представился бы еще один шанс, то ничего подобного не произошло бы. Чарльз не отправился бы на прогулку и не принял бы свое решение. Он не разговаривал бы по телефону. И день закончился бы совсем иначе.

— Я могу чем-нибудь помочь? — ставя чашки с блюдами на буфет, спросила она Марию. — И голос ее звучал на полутонах, как бывает, когда в доме кто-то болен и лежит с высокой температурой, в нем чувствовалось то же настоящее желание помочь страждущему: подать горячего молока, подложить грелку, укрыть одеялом.

— Ты? Нет, дорогая, ты ничем не можешь помочь.

Мария, которая никогда не убирала со стола, предоставляя другим заботиться о наведении порядка, понесла поднос в буфетную. Мария, которая никогда не называла Селию «дорогая», только Найэла, улыбнулась ей через плечо. И тогда Селия совершила непростительное — вмешалась не в свое дело. Она вернулась в столовую, чтобы поговорить с Чарльзом.

— Прошу вас, пусть ваше решение не станет окончательным, — сказала она. — Я понимаю, вам всегда было непросто. Но вы знали, на что идете, когда женились на Марии, разве нет? Вы знали, что ее жизнь никогда не будет похожа на вашу. К тому же война. Война многих изменила, и изменила не к лучшему. Прошу вас, Чарльз, не разбивайте все одним ударом. Подумайте о детях.

Но ее порыв пропал втуне. Казалось, она обращается к человеку, которого никогда не знала. К человеку, чью жизнь, чувства и поступки не понимала и не могла понять.

— Я должен попросить вас не вмешиваться, Селия, — сказал Чарльз. — Право же, это не ваше дело. Не так ли?

Нет, это не ее дело. Семейная жизнь Марии, дети, дом, где она проводила так много времени, тепло, которому радовалась, неурядицы, которые принимала близко к сердцу. Здесь не нуждались в ее помощи. Мария сама пойдет навстречу будущему. Селия ничего не могла сделать. Совсем ничего. На следующий день возвращение в Лондон привычным поездом чем-то напоминало возвращение в дом на Сент-Джонз Вуд после смерти Папы. То же ощущение катастрофы, крушения. Закончен отрезок жизни. Где-то глубоко под землей погребен труп. Чья-то жизнь.

Дети, высыпавшие на подъездную аллею, машут ей на прощание. «До конца недели!» Но она больше не придет. Теперь уже нет.

И вот, думала Селия, переходя Вер-стрит, чтобы зайти в «Маршалз», она одержима сомнениями и страхом перед операцией, а Марии предстоит пережить крушение семейной жизни. Селия оплакивает утрату детей, которые не родились, а Мария может потерять детей, которые действительно существуют. Ведь развод означает именно это. Хотя Чарльз с точки зрения закона — виновная сторона, он захочет оставить детей себе. Дети принадлежат Фартингзу, Колдхаммеру. Визиты на квартиру — да. Походы в театр. Увидеть мамочку на сцене. Но лишь изредка. Визиты на квартиру — все реже и реже. Гораздо приятнее жить в деревне с папочкой, Полли и с... как они будут обращаться к новой матери? Скорее всего по имени. Теперь так принято. И все устроится. Все пойдут своей дорогой.

— Эй! Кто-нибудь послал тете Селии рождественский подарок?

— Нет. Ах! А нужно? Ведь мы вовсе не должны, разве нет, теперь?

— Мы ее никогда не навещаем. А зачем?

Кто-то толкнул Селию в спину; она извинилась и пошла дальше. В «Маршалз» было очень много народу. Она заслонила проход к лестнице, спускавшейся в галантерейный отдел. Она никак не могла вспомнить, зачем пришла, что хотела купить. Может быть, туфли? Да, туфли. Но в обувном отделе было слишком много покупателей. Женщины с грустными, усталыми лицами сидели на стульях и ждали своей очереди.

— Прошу прощения, мадам. Сегодня днем мы очень заняты. Зайдите попозже.

Значит, дальше... вслед за толпой к лифту. Наверх. Хоть одна из этих женщин перенесла операцию? Вон та в уродливой шляпе, с густым слоем лиловой помады на губах — у нее есть фиброма? Но если и есть, это не имеет значения. Широкая полоска на руке без перчатки свидетельствует о том, что она замужем. Возможно, у нее есть маленький мальчик, который учится в Саннингдейле.

— В субботу я собираюсь навестить Дэвида.

— Замечательно. Будет пикник?

— Да, если повезет с погодой. Потом футбольный матч. Дэвид будет в нем участвовать.

Женщина вышла из лифта и направилась в отдел нижнего белья.

— Поднимаемся? Поднимаемся? Кто еще желает подняться? Пожалуйста.

Можно и подняться, куда-нибудь пойти. Можно просто побродить по «Маршалз». Ведь есть что-то гнетущее в самой мысли о том, что надо спуститься в метро на станции Бонд-стрит, на Тоттенхэм-Корт-роуд пересест на Эджварскую линию, доехать до Хампстеда, а дальше пешком брести к своему дому с пустыми комнатами.

Детское белье. Кроватки. Коляски. Батистовые платица в оборку. Погремушки. Селия вспомнила, как перед рождением Кэролайн заходила сюда с Марией. Мария заказала весь комплект приданого новорожденному и записала его на счет леди Уиндэм.

— Она может оплатить все, — сказала Мария, — кроме коляски. Я попрошу Папу подарить мне коляску.

Селия выбрала большую голубую шаль. Потом она обменяла ее на розовую, потому что ребенок оказался девочкой. И сейчас на прилавке лежала шаль, правда не такого качества, как тогда. Она посмотрела на шаль и задумалась о Кэролайн... как ей там, в школе. Что будет с Кэролайн?

— Вы ищете шаль, мадам? Вот эти только что поступили. Их просто расхватывают. Очень большой спрос.

— В самом деле?

— О да, мадам. Шалей такого качества у нас не было с довоенных времен. Для первенца, мадам?

— Нет. Ах нет. Я только смотрела.

Интерес продавщицы мгновенно угас. Селия отошла от прилавка. Нет, не для первенца. Не для второго и не для третьего... Никаких шалей, оборок, погремушек. Что скажет эта женщина, если Селия посмотрит в ее усталые серые глаза и признается: «У меня фиброма. Я никогда не смогу иметь ребенка». Призовет на помощь остатки любезности и ответит: «Мне очень жаль, мадам, поверьте»? Или с удивлением посмотрит на нее, что-то

шепнет своей помощнице, которая стоит за прилавком в нескольких шагах от нее, а та пошлет за заведующим отделом — «Мы боимся, что одной даме стало дурно». Надо уйти, так будет лучше для всех.

— Желаете подняться? Пожалуйста.

Почему в воскресенье вечером Найэл уехал, ни с кем не простившись? Сел в машину и уехал?

«Вы ни капли не похожи, не так ли?»

«Да. Он мой брат только по матери».

Но мы должны быть похожи, потому что в нас обоих течет Мамина кровь. Мы унаследовали ее целеустремленность, ее способность сосредоточиться, ее любовь к уединению. По крайней мере, Найэл. Вот почему в воскресенье вечером он ушел из Фартингза и уехал на машине к морю, видимо к своей лодке; уехал, чтобы ни слова, ни поступки, причиняющие боль людям, которых он любит, не стояли между ним и его музыкой. Уехал, чтобы остаться наедине с собой, чтобы никто не нарушал гармонии рождающихся в его голове звуков; совсем как Мама, которая танцевала одна на пустой сцене... Поэтому он и уехал? Или потому, что подумал: «Это моя вина. Наша общая вина. Мы втроем убили Чарльза».

«Комната отдыха для женщин». Направо... Какое внимание со стороны руководства «Маршалз». В магазине, наверное, много женщин с фибромой, таких, как она. С легкой головной болью. С уставшими ногами. С ноющей болью. Вот они, сидят на стульях вдоль стен, будто снова пришли на прием к врачу. Женщины с пакетами. Женщины без пакетов.

Две из них, почти касаясь головами друг друга, заняты разговором. Вполне веселые. Им все равно. Фиброма для них пустяк. Одна женщина сидит за столом и торопливо исписывает листы почтовой бумаги — один, второй, третий. «Мой дорогой, единственный, пишу тебе, чтобы сообщить: то, чего мы так боялись, правда. Мне предстоит операция. Я знаю, что это означает для нас обоих...»

Что ж, по крайней мере от этого она избавлена. Не надо идти домой и писать письмо. Не надо звонить по телефону возлюбленному. Нет и мужа, который ждет у камина.

— Что случилось? Что сказал этот человек?

Селия продолжала сидеть в комнате отдыха на... этаже «Маршалз». Дело в том, говорила она себе, что я поднимаю глупую шумиху вокруг всего этого, веду себя так, словно собираюсь умирать, и все потому, что врач сказал о невозможности иметь ребенка, которого я и так не собиралась заводить. Никогда не собиралась. А если бы и завела, то это было бы трагедией. Он бы умер. Или всю жизнь доставлял бы мне одни неприятности. Слабый характер. Жизнь за мой счет. Бесперывные просьбы денег. Женитьба не на той женщине. Невестка не любила бы меня. Никогда бы не приезжал побыть у меня.

— Неплохо бы погостить у старушки.

— Ах нет... Опять? Какая скука.

К Селии подошел гардеробщик:

— Извините, мадам, но мы закрываемся. Ровно в половине шестого.

— Извините. Благодарю вас.

Вниз на лифте со всеми остальными. Все остальные проталкиваются во вращающиеся двери.

— Такси, мадам?

А почему бы и нет? Разумеется, такси — непозволительное расточительство, но сегодня такой день. Но вот незадача, у Селии не хватило мелочи, чтобы дать комиссионеру. Такси ждало, а у нее было только десять шиллингов на машину, для комиссионера не набралось и шести.

Она села в машину, ей было слишком стыдно пускаться в объяснения. Комиссионер с силой захлопнул дверцу и махнул шоферу рукой. Пепельница под окном была до отказа набита окурками. Один из них еще дымился. На самом его конце виднелись следы губной помады. Кто она, пассажирка, уступившая свое место Селии? Веселая, счастливая девушка, ехавшая на вечеринку? Женщина, спешившая к любовнику? Мать, торопившаяся на свидание с сыном? Неразгаданные тайны такси... Минуты безумия, минуты прощания... А может быть, здесь только что сидела такая же старая дева, как она, Селия, и к тому же с фибромой? Тип нервной женщины, которая ищет успокоения в сигаретах.

Она была рада, что такси поехало через Риджентс-Парк, а не более знакомой дорогой по Финчли-роуд. Ей было невыносимо тяжело видеть опустевшие, разрушенные дома Сент-Джонз Вуд. Дом, где она жила с Папой, стоял без окон, штукатурка со стен осыпалась. Калитка висела криво, кое-как, ограда обрушилась.

Однажды несколько лет назад она осмелилась зайти в дом в сопровождении Найэла. Комнаты с зиявшими дырами стенами производили страшное впечатление. Если загробная жизнь действительно существует, если Папа и Мама из своего укромого уголка в раю иногда смотрят на мир, то Селия очень надеялась, что Бог не

даст ему увидеть их дом.

В его разрушении Папа винил бы Селию, а не войну.

— Но, моя дорогая, что случилось? Что ты наделала?

Вниз по холму. Налево по Черч-роуд, снова направо. Немного дальше, пожалуйста. Вон тот угловой дом. Во всяком случае, как бы он ни назывался, это ее дом, ее убежище и приют. Весной ящики за окнами запестреют цветущими гиацинтами. Ее ступеньки. Ее парадная дверь. Веселого яблочно-зеленого цвета. И название «Мастерская».

Поворачивая ключ в замке и входя в дом, она всякий раз испытывала странное удивление, словно все это было для нее не внове. Как легко. Как просто. Как приятно. Вернуться к себе... к себе. Как приятно увидеть не чужие, а свои, давно знакомые вещи. Стулья, письменный стол, картины в рамах на стене, и среди них два или три ее собственных рисунка.

Селия опустилась на колени растопить камин и, пока он разгорался, прочла письма, пришедшие с дневной почтой. Их было два.

Первым она прочла письмо, отпечатанное на машинке. Какое странное стечение обстоятельств — по прошествии стольких лет, именно в этот день получить письмо из издательской фирмы. От нового управляющего, который сменил ушедшего на пенсию мистера Харрисона.

«Дорогая мисс Делейни!

Надеюсь, Вы помните нашу встречу, когда несколько лет назад Вы посетили фирму по поводу известного и памятного всем нам случая. Как Вам, возможно, известно, в настоящее время я являюсь управляющим вместо мистера Харрисона и пишу Вам с целью выяснить, не располагаете ли Вы возможностью выполнить Ваш давний контракт с нашей фирмой или, что было бы еще лучше, подписать новый. Вы знаете, сколь высоко было мнение моего предшественника о Вашей работе, каковое мнение, особенно относительно рисунков, я разделяю в полной мере. Мистер Харрисон и я всегда понимали, что если Вы решитесь отдать свой талант нам и миру в целом, то могли бы придать еще больший блеск имени Делейни, нежели тот, что окружает его в настоящее время. Очень прошу Вас серьезно об этом подумать. Жду Вашего ответа в самое ближайшее время.

С наилучшими пожеланиями искренне Ваш...»

Письмо нового управляющего фирмы было так же любезно, как и слова мистера Харрисона, сказанные ей много лет тому назад. На этот раз она не подведет. Не разочарует. Она подберет рассказы и рисунки сегодня же вечером, завтра утром, завтра днем. С этих пор она будет планировать свою жизнь, памятуя о том, что она не вечна. Пусть фиброма, пусть операция. Не стоит обращать внимания. Селия распечатала второе письмо. Оно было от Кэролайн.

«Дорогая тетя Селия!

Ко мне только что приезжала мама и рассказала про себя и папу. Она просила в школе никому об этом не рассказывать. Я знаю двух девочек, у которых родители в разводе. Мне кажется, что от этого почти ничего не изменится. Правда, в Фартингзе во время каникул будет не слишком весело. Там просто нечего делать, а кататься верхом мне не очень нравится. Вот я и подумала, нельзя ли мне пожить у тебя? Конечно, если ты можешь меня принять. Я бы так хотела приехать к тебе. Но пора готовить уроки, прозвенел звонок, и мне надо бежать.

Любящая тебя

Кэролайн»

Селия села в кресло перед камином и перечитала письмо. Раз, другой. Сердце ее усиленно билось, к горлу подступил комок. Глупо, но кажется, она вот-вот расплачется. Кэролайн хочет приехать и пожить с ней. Без приглашения. Без чьей-либо подсказки, скажем, Чарльза или Марии. Кэролайн хочет приехать и жить у нее, у Селии.

Конечно, ей надо приехать. Обязательно надо. На следующие каникулы. Маленькая комната наверху рядом с комнатой Селии. Превратить маленькую комнату в комнату Кэролайн. Обставить по вкусу Кэролайн. Они будут вместе гулять в Парке, она купит Кэролайн собаку. На то время, что Кэролайн будет в школе, она оставит собаку у себя. Они многим могут заняться. Музеи, театры — Кэролайн недурно рисует, и Селия могла бы давать ей уроки рисования. К тому же у нее приятный, хоть и небольшой голос; с возрастом он может развиваться. Селия

могла бы водить Кэролайн на уроки пения. Подумав об этом, Селия вспомнила, что Кэролайн всегда чем-то напоминала ей Папу. Выражением глаз, посадкой головы. Кроме того, для своего возраста она достаточно высокого роста.

Без сомнения, Кэролайн вылитый Папа. Такая же ласковая, ей так же необходимы сочувствие, внимание, любовь. Все это она даст ей. Нет ничего важнее, чем сделать ребенка счастливым. Ничего на свете.

Селия подложила в камин несколько поленьев и бросила в огонь письмо от издателей. Как-нибудь она на него ответит. Как-нибудь подумает над их предложением. Это не к спеху. Совсем не к спеху. У нее так много других дел. Надо обдумать столько планов для Кэролайн. Для Кэролайн...

Глава 24

Чтобы ни случилось, думала Мария, никто не должен знать, что у меня на душе, что мне это далеко не безразлично. Даже Селия, даже Найэл. Все должны думать, что честный, полюбовный развод подходит нам обоим, невозможно и дальше разрываться между Лондоном и деревней. Я поняла, что не могу уделять Чарльзу и детям столько времени, сколько хотела бы; значит, лучше расстаться. И хотя развод разобьет Чарльзу сердце, он понимает его необходимость, понимает, что так будет лучше для нас обоих. Если он женится на этой женщине, то вовсе не потому, что она очень привлекательна, не потому, что он влюблен в нее, а потому, что по ее повадкам ей только и жить в деревне. Она умеет обращаться с лошадьми, с собаками; во всяком случае пони мы купили детям по ее совету. Помню, как еще тогда я подумала, что у нее хитрые глаза. Помимо всего прочего, у нее рыжие волосы, и значит, с годами она располнеет. Да и кожа у рыжих неприятно пахнет; Чарльз этого пока не обнаружил. Ничего, со временем обнаружит. Но главное, чтобы все непременно жалели его. Развод всегда вызывает сожаления, особенно когда есть дети, когда столько лет прожито вместе.

Но они действительно никогда не подходили друг другу. Он — такой однообразный, такой скучный, кроме имения его ничего не интересует. Мог ли он надеяться удержать ее? Ведь она так неуловима. Да и кто вообще мог бы удержать ее?

Через эту черту надо перешагнуть. Более того, размышляла Мария, еще немного, и я сама в это поверю, уже начинаю верить, ведь что бы я себе ни вообразила, все становится явью. Вот в чем мне по-настоящему везет. Вот в чем Бог всегда на моей стороне. И чувство одиночества, которое я испытываю сейчас, лежа здесь в темноте с выключенным приемником и с повязкой на глазах, пройдет — всегда проходит. Как зубная боль; и как я забываю про больной зуб, когда боль утихает, так забуду и эту боль, и эту опустошенность.

Было около полуночи, в полночь передачи по приемнику закончатся. Даже иностранные станции замолкнут, умрут.

Тогда, подумала Мария, станет не так легко, не так просто. Потому что в моем воображении будет все время всплывать Чарльз, каким он был когда-то, год за годом... Вот здесь я допустила первую ошибку. Здесь — вторую. Здесь оказалась в глупом положении, я могла бы поступить более тактично. Там вела себя слишком безрассудно, такого не следовало позволять себе.

Если бы я хоть иногда задумывалась. Минуты на две. Нет, на одну. Именно это имел в виду Папа. Вот оно, наказание. Он приходит не в будущей жизни — час расплаты. Он приходит в полночь, когда ты лежишь во тьме наедине с молчащим приемником. Мне незачем перелистывать пьесу моей жизни, я слишком хорошо ее знаю. Бог мудр. Бог знает все ответы. Чарльз поступил со мной так, как я поступала с другими. Он поставил меня в глупое положение. Бедная Мария, муж ушел от нее к другой женщине. Моложе ее. Бедная Мария.

Сколько по всему миру женщин, брошенных мужьями. Унылая компания. Одинокая, безлика, тупая. И теперь я одна из них. Я принадлежу к этой компании. Божественная мудрость... Если бы я умела лицемерить, но я не умею. Если бы я, как все эти женщины, могла бы сказать: «Я отдала Чарльзу все на свете и вот что получила взамен», но не могу. Потому что я ничего не отдала. И поделом мне. Мне нет оправдания. Для описания моего положения сойдет любая избитая фраза: с ней расплатились ее же монетой. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Теперь я знаю, что это значит. Теперь знаю, что чувствовала та женщина годы и годы назад. А я-то считала ее такой занудой. Такой унылой занудой. У меня никогда не хватало смелости звонить ему по телефону из опасения, что она снимет трубку, что случалось не так уж редко. Я часто шутила по этому поводу.

Мне жаль. Видит Бог, жаль. Простите меня, ту, что лежит здесь во тьме. Может быть, завтра попробовать

разыскать ее? «Я не понимала, сколько горя я принесла вам. Теперь знаю. Теперь понимаю». А где она живет? Но вот я думаю об этом, и у меня возникает странная мысль — ведь она умерла. В прошлом году я прочла в «Таймс», что она умерла. Если она умерла, то, может быть, сейчас видит меня. Может быть, злорадствует там, на небесах. «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим».

Но рыжеволосую женщину, что живет по соседству с Колдхаммером, я не прощаю. Я ее ненавижу. А значит, и та женщина на небесах не простит меня. Это порочный круг... Почему здесь нет Найэла, чтобы меня утешить? Я никогда не прошу ему, никогда. В тот единственный самый страшный час моей жизни, когда он мне так нужен, его нет рядом. Но я должна заснуть. Если я не засну, то завтра утром на меня будет страшно смотреть. Единственное утешение, что завтра вечерний спектакль. Но из «Хоум Лайф» придут фотографировать мою квартиру; чуть не забыла. Пусть приходят. Я могу уйти. Но куда могу я уйти? Я не хочу никого видеть, ни с кем разговаривать. Я должна сама справиться с этим. Это всего-навсего зубная боль, она пройдет. Должна пройти.

— Мисс Делейни, прошу вас, поверните голову немного направо. Так, лучше. Спокойно. Не шевелитесь. Готово.

Фотограф нажал на спуск, полыхнул вспышкой и улыбнулся.

— А если мы снимем вас в кресле? На столе, у вас за спиной фотография вашего мужа с детьми. Вы согласны попробовать? А теперь в профиль. Да... Очень мило. Я в восторге. Просто в восторге.

Он отвернулся и что-то шепнул своему помощнику, тот поправил экран. Фотограф передвинул диван, чтобы он не мешал съемке. Переставил цветы. Продолжайте, думала Мария, переверните всю квартиру. Мне все равно. Разломайте мебель. Перебейте посуду. Что бы сегодня ни произошло, все надо сбросить со счетов. Господи, как я устала.

— Теперь, мисс Делейни, улыбнитесь, прошу вас. Замечательно. Не двигайтесь.

Похоже, они пробудут весь день. Как быть с завтраком? Я собиралась сварить на кухне яйцо. Не могу же я заниматься этим при них. Надо притвориться, что у меня деловое свидание. Что я завтракаю в «Риц».[71] Я бы и в самом деле не прочь позавтракать в «Риц», но одна туда не пойдешь.

— Мисс Делейни, не могли бы лечь на диван и взять в руки рукопись пьесы? Полагаю, вы часто читаете пьесы с прицелом на их будущую постановку.

— Да, вы правы.

— Вот то, что мне нужно. В чем мы вас снимем? В неглиже?

— Мне безразлично. Не могу ли я остаться в этом платье? Переодеваться очень утомительно.

— Но читателям «Кантри Лайф» было бы так приятно увидеть вас в неглиже. Что-нибудь не строгое.

Болван, что же, по-твоему, я должна надеть? Черный шелк с блестками и эгретку в волосы. Знаю, что я сделаю. Завтракать я не буду, это не так важно, да и для фигуры полезно. Я съезжу в школу к Кэролайн. Она моя. Она принадлежит мне. Расскажу Кэролайн, что случилось. Она уже достаточно взрослая, она поймет. Я все расскажу ей, пока этого не сделал Чарльз.

— Муж и дети здоровы, мисс Делейни?

— Да, все прекрасно.

— Наверное, они уже совсем большие?

— Да, они быстро растут.

— Колдхаммер превосходное место. Мне бы очень хотелось вас там сфотографировать. Всего несколько снимков.

— Его еще не вернули. Мы, видите ли, там не живем.

— Ах, ах, понятно. А теперь, мисс Делейни, лягте, пожалуйста, во всю длину. Одна рука свисает с дивана. Да, да, вот так. Очень характерно.

Характерно для чего, скажите на милость? Все думают, будто я только и делаю, что валяюсь на диване. Ну, дальше. Дальше.

— Пьеса идет хорошо, мисс Делейни?

— Вполне. Но время года не из лучших.

Вовсе нет. Что ни на есть лучшее. Дурак, разве он не знает?

— Видите ли, мисс Делейни, публика больше всего любит вас в ролях мечтательных героинь. Героинь не от мира сего, понимаете? Вы, наверное, назвали бы их бесплотными, призрачными. Вы всегда производите именно такое впечатление. Нечто неземное и бесплотное. Подбородок чуть повыше... Не двигайтесь... Благодарю вас.

Все, конец. Больше ни одного снимка.

— В час я завтракаю в «Риц».

— Боже мой. Нам бы очень хотелось сделать еще несколько снимков в спальне. Вы не могли бы вернуться после завтрака?

— Совершенно невозможно. У меня очень загруженный день.

— Как жаль... Впрочем, нам надо сделать еще несколько интерьерных снимков. У вас есть какие-нибудь любимцы, мисс Делейни? Я их не вижу.

— У меня нет любимцев.

— Читатели очень любят видеть, как их кумиры ласкают своих любимцев. Мы можем сказать, что ваши любимцы сейчас за городом.

Да, все мои любимцы за городом, и их ласкает женщина с рыжими волосами. Если угодно — женщина с рыжими волосами, от которой пахнет.

— Очень вам благодарен, мисс Делейни. Вы были чрезвычайно терпеливы. За квартиру не беспокойтесь. Мы все уберем.

— Не забудьте прислать мне пробные отпечатки.

— Разумеется, мисс Делейни. Разумеется.

С улыбками и учтивыми жестами они раскланялись с мисс Делейни на пороге ее квартиры и наблюдали из окна, как она садится в такси на три минуты позднее начала назначенного в «Риц» завтрака. Такси довезло мисс Делейни до ее гаража во дворе многоквартирного дома. Так и не позавтракав, мисс Делейни отправилась за город навестить Кэролайн. До школы был час езды к югу от Лондона.

Слишком оживленное движение, слишком много трамвайных линий... А я толком не решила, что сказать, когда приеду, ведь неожиданно для себя самой я вдруг осознала, что по-настоящему не знаю Кэролайн. Сказать ей: «Дорогая», вручить подарки — вот и все мое знакомство с собственной дочерью. Чем я занималась в ее возрасте? Разыгрывала из себя кого-то другого. Гримасничала перед зеркалом. Поддразнивала Найэла... Почему эта тощая женщина смотрит на меня с таким удивлением?

— Ах! Миссис Уиндэм? Мы вас не ждали.

— Да. Я случайно проезжала мимо. Я могу видеть Кэролайн?

— Она сейчас играет в нетбол... Однако... Жан, дорогой, сбегай, пожалуйста, на Вторую площадку и скажи Кэролайн Уиндэм, что к ней приехала мама.

— Хорошо, мисс Оливер.

У мальчика округлились глаза, и он вприпрыжку убежал.

— Родители обычно приезжают по субботам и воскресеньям, а в других случаях всегда предупреждают о своем приезде. Вот новые фотографии. Не хотите посмотреть? Сделаны в день Учредителей. Жаль, что вы не смогли приехать. Кэролайн была очень разочарована. Да, она мне говорила. Утренний спектакль. Такие вещи часто мешают личной жизни, не правда ли? Мне всегда казалось, что вам приходится разрываться между домом и театром. Да, весь персонал школы. Позвольте взглянуть, Кэролайн сидит впереди, скрестив ноги. Младшие у нас всегда сидят.

Ряды и ряды девочек как две капли воды похожих друг на друга, и без помощи мисс Оливер Мария никогда бы не нашла среди них Кэролайн. Это мой ребенок?

— Да, кажется, она вполне счастлива. Видите ли, она в третьем «А». Там собралась веселая маленькая компания. Не хотите пройтись до игровой площадки и встретить Кэролайн там?

По правде говоря, я бы хотела сесть в машину и вернуться в Лондон. Я не спала всю ночь и не завтракала. Одному Богу известно, зачем я здесь.

— Благодарю вас, мисс Оливер, с удовольствием. Замечательный день. Как чудесно хоть на полчаса оказаться за городом.

Я должна играть свою роль и улыбаться. Должна оставить за собой ауру очарования; чего же и ждут от меня, как не этого. А день вовсе не такой уж и замечательный. Холодно. И туфли на мне неподходящие. Они будут застревать в идиотском гравии, которым усыпаны дорожки. Что это за разгоряченная, запыхавшаяся девочка в голубой юбке бежит к нам? Да это Кэролайн.

— Привет, мамочка.

— Привет, дорогая.

— Папа с тобой?

— Нет. Я приехала одна.

— Ах.

А что мне теперь делать? Куда пойти? Куда-нибудь по этой дорожке?

— Боюсь, я приехала в неудачный день.

— Ну, откровенно говоря, на неделе все дни неудачные. Видишь ли, мы готовимся к соревнованиям между разными классами, которые будут в конце семестра. Мы играем на очки. И наш третий «А» имеет такие же шансы выиграть кубок, как шестой класс. Потому что, хоть они, конечно, победят нас в самой игре, в финале могут проиграть нам по очкам.

— Да, понимаю.

Да ничего я не понимаю. Для меня это китайская грамота. Полная бессмыслица.

— У тебя все в порядке, дорогая? Ты хорошо играешь?

— Ей-богу, нет. Просто ужасно. Хочешь посмотреть?

— Не очень. Дело в том...

— Тогда, может быть, мы посмотрим художественную выставку в Боттичелли?

— Что посмотрим?

— Художественную выставку. А Боттичелли мы называем мастерскую шестого класса. Некоторые ребята сделали очень хорошие рисунки.

— Дорогая, я бы хотела просто куда-нибудь пойти.

— Ах да, конечно. Я отведу тебя наверх.

Расписания на стенах. Странные девочки, пробегающие мимо. Чисто вымытые лестницы, потертый линолеум. Почему не использовать хранящиеся на складе запасы и не покончить с этим? Краны гудят и пропускают воду. Бачки текут. Надо кому-нибудь сказать об этом. Заведующей хозяйственной частью.

— Это твоя кровать? Кажется, она очень жесткая.

— Нормально.

Семь одинаковых кроватей в ряд, с жесткими, твердыми подушками.

— Как папа?

— Хорошо.

Вот он, подходящий момент. Я сажусь на кровать как ни в чем не бывало, пудрю нос. Во мне нет ни капли горечи.

— Дело в том, дорогая, я затем и приехала, чтобы рассказать тебе — видимо, ты услышишь об этом от самого папы, — он хочет со мной развестись.

— Ах.

Не знаю, чего я ожидала от нее. Возможно, думала, что она испугается, заплачет или обнимет меня — этого мне хотелось бы больше всего — и это будет началом чего-то нового, доселе неведомого.

— Нет. Мы не поссорились, ничего такого между нами не было. Просто он должен жить в деревне, а я в Лондоне. А это не очень удобно ни ему, ни мне. Гораздо лучше, если мы будем жить отдельно.

— Значит, почти ничего не изменится?

— Нет, конечно, нет. За исключением того, что я больше не буду приезжать в Фартингз.

— Но ты и так там не часто бывала.

— Да.

— Мы будем приезжать к тебе в Лондон?

— Конечно. Когда захотите.

— Хотя в твоей квартире не так много места, правда? Мне бы больше хотелось жить у тети Селии.

— Вот как?

Но отчего эта боль? Отчего эта внезапная пустота?

— У девочки, которая спит на этой кровати, родители тоже развелись. И ее мама снова вышла замуж. У нее отчим.

— Видишь ли, по-моему, у тебя тоже, возможно, будет мачеха. Я думаю, папа может снова жениться.

— Наверное, на Морковке.

— На ком?

— Мы всегда звали ее Морковкой. Знаешь, она учила нас ездить верхом. Прошлым летом. Они с папой большие друзья. Я не против Морковки. Она очень веселая. Ты тоже за кого-нибудь выйдешь замуж?

— Нет... Нет, я не хочу ни за кого выходить замуж.

— А как тот мужчина в твоей пьесе? Он очень милый.

— Он женат. Кроме того, я не хочу.

- Когда папа женится на Морковке?
- Не знаю. Это не обсуждалось. Мы еще не развелись.
- Нет. Конечно, нет. Можно мне рассказать об этом здесь?
- Нет, разумеется, нет. Это... это очень личное дело.

Мне бы следовало почувствовать облегчение, видя реакцию Кэролайн, но это не так. Я потрясена. Я растеряна. Я не понимаю... Если бы Папа развелся с Мамой, это был бы конец света. А ведь Мама мне не родная мать. Папа и Мама...

- Мама, ты останешься на чай?
- Нет, не думаю. К шести мне надо быть в театре.
- Я напишу тете Селии и спрошу, нельзя ли мне приехать к ней на каникулы.
- Да, дорогая, конечно.

Вниз по намытой лестнице, через увешанный расписаниями холл, в парадную дверь к ожидающей ее машине.

- До свидания, дорогая. Мне жаль, что из-за меня ты пропустила игру.
- Все в порядке, мама. Я сейчас побегу. Осталось еще полчаса.

Кэролайн помахала рукой и, прежде чем Мария успела тронуть машину, скрылась из вида за ближайшим кирпичным зданием.

Вот оно, одно из тех страшных мгновений, когда мне хочется плакать. А я не часто плачу, я не из слезливых. Селия всегда плакала, когда была маленькой. Но сейчас слезы принесли бы мне облегчение. Сейчас мне ничего на свете не хотелось бы так, как расплакаться. Передать кому-нибудь руль, откинуться на спинку и расплакаться. Но я не позволю себе. Что станет тогда с моим лицом, глазами? К шести надо быть в театре. Итак, вместо того чтобы плакать, я буду петь. Очень громко и фальшиво. Для того и писал свои песни Найэл, чтобы, встретив свой Ватерлоо, я могла бы петь.

А может быть, лучше зайти в церковь и помолиться? Я могла бы обратиться к религии. Навсегда бросить сцену, ходить по белу свету и творить добро. Сила в Молитве. Сила в Радости. Нет — это Гитлер. Ну, тогда Сила в Чем-То. Церковь за углом. Может быть, это символ, все равно что заглядывать в Библию перед премьерой. Остановлю машину, войду в церковь и помолюсь? Да, так и сделаю.

В церкви было темно и сумрачно. Скорее всего построили ее недавно. Привычной атмосферы нет и в помине. Мария села на скамью и стала ждать. Возможно, если она прождет достаточно долго, что-нибудь произойдет. С небес слетит голубь. На нее снизойдут мир и покой. И она выйдет из церкви утешенной, освеженной, готовой лицом к лицу встретиться с будущим. Возможно, появится священник, милый, добрый старик священник с седыми волосами и спокойными серыми глазами. Беседа с добрым старым священником, несомненно, поможет ей. Они, как никто, знают жизнь, им близки и понятны чужая боль, чужое горе и страдание. Мария ждала, но голубь так и не слетел. Где-то за стенами церкви слышались смех и крики играющих в футбол школьников. За ее спиной отворилась дверь. Она оглянулась. Да, должно быть, это викарий. Но не старик. Довольно молодой человек в очках. Не глядя ни вправо, ни влево, он прошел по центральному проходу к ризнице. У него скрипели ботинки...

Нет, толку от него не будет. Он никого не обратит ни в какую веру. Да и эта церковь тоже. Сидеть здесь и ждать — пустая трата времени. Назад, в машину...

Ну что же, можно сделать прическу. Люсьен даст мне чашку чая и печенье. Чашка чая — вот то, что мне нужно. Я могу сидеть в кресле, делая вид, что читаю старый номер «Болтуна», а Люсьен будет болтать всякий вздор, который вовсе не обязательно слушать. Я могу закрыть глаза и ни о чем не думать. Или стараться ни о чем не думать. Болтовня Люсьена более живительна, чем наставления священника. В душе они, наверно, очень похожи. Никакой разницы, как сказал бы Найэл.

- Добрый день, мадам. Какой сюрприз.
- Я совершенно измучена, Люсьен. У меня был ужасный день.

Парикмахеры похожи на врачей. Те же спокойные, вкрадчивые манеры. Но они не задают вопросов. Они улыбаются. Они понимают.

Люсьен указал Марии на ее обычное кресло; перед зеркалом стоял неоткрытый флакон эссенции для волос. Он был завернут в целлофан и переливался всеми оттенками зеленого цвета. Название эссенции «Венецианский бальзам» — само по себе искушение. Как конфеты, когда я была ребенком, подумала Мария, обернутые в золоченую бумагу; если я бывала сердитой или очень усталой, они всегда поднимали мне настроение.

— Люсьен, если бы я вам сказала, что нахожусь на грани самоубийства, что собираюсь броситься под трамвай, что мне не мил весь свет, что люди, которых я люблю, меня разлюбили, — что бы вы предложили мне в

качестве панацеи от этих бед?

— Как насчет массажа лица, мадам? — спросил Люсьен.

Без одной минуты шесть Мария распахнула дверь служебного входа театра.

— Добрый вечер, Боб.

— Добрый вечер, мисс Делейни.

Боб привстал со стула за перегородкой:

— Несколько минут назад, мисс, вам звонил мистер Уиндэм из загорода.

— Он ничего не просил передать?

— Он просил вас позвонить ему, как только вы придете.

— Боб, переключите, пожалуйста, коммутатор на мою уборную.

— Хорошо, мисс Делейни.

Мария бегом побежала вниз по лестнице в свою уборную. Чарльз позвонил. Значит, все в порядке. Он все обдумал и понял, что о разводе не может быть и речи. Чарльз звонил просить прощения. Наверное, сегодня он так же страдал, как и она. В таком случае никаких упреков, никакого вскрытия. Начнем все с начала. Начнем снова.

Она вошла в комнату и бросила пальто на диван.

— Я позову вас, когда буду готова, — сказала Мария костюмерше.

Она схватила телефонную трубку и попросила соединить ее с междугородным коммутатором. Ей ответили не сразу. Наконец телефонистка сказала:

— Междугородные линии заняты. Мы позвоним вам позднее.

Мария надела халат и связала платком волосы на затылке. Стала намазывать лицо кремом.

Интересно. Для примирения Чарльз приедет в Лондон? Неудачный день, утренний спектакль, но если он приедет рано утром на квартиру, они смогут вместе позавтракать; возможно, он найдет, чем заняться днем, и останется на ночь. Но в Фартингз я не поеду даже на выходные, если эта рыжая будет где-то поблизости. Чарльзу придется отделаться от нее. Ее я не потерплю. Это было бы слишком.

Лицо без следов крема и пудры — гладкое и свежее, как лицо маленькой девочки, которая собирается принять ванну. Мария снова склонилась над телефоном:

— Вы можете соединить меня с междугородным? Это очень срочно.

Наконец ответ:

— Будьте любезны, ваш номер, — и вот в трубке раздаются резкие, высокие гудки телефона в Фартингзе.

Но трубку снял не Чарльз, а Полли.

— Мне нужен мистер Уиндэм.

— Он уехал минут пять назад. Он больше не мог ждать. О Господи, что за день, мамочка!

— Но почему? Что случилось?

— Вскоре после ленча позвонили из Вдовьего дома. Не может ли папочка немедленно приехать. У лорда Уиндэма случился сердечный приступ. Днем мне надо было напоить детей чаем, но об этом нечего было и думать. Папочка вернулся в пять часов и вызвал специалиста из Лондона, сейчас он в пути, и поэтому папочке пришлось снова уехать, но он сказал мне, конечно не при детях, что, по его мнению, надежды почти нет и лорд Уиндэм, скорее всего, умрет этой ночью. Разве не ужасно? Бедная бабушка.

— Мистер Уиндэм просил что-нибудь передать мне?

— Нет. Просто я должна была сообщить вам о случившемся и предупредить, что, по его опасениям, это конец.

— Да, похоже на конец.

— Вы не хотите поговорить с детьми?

— Нет, Полли. Не сейчас. До свиданья.

Да, это действительно конец. Бедному старику за восемьдесят, и ему не пережить тяжелый сердечный приступ. Часы, которые последние десять лет бежали, постепенно замедляя ход, наконец остановятся.

Утром Чарльз станет лордом Уиндэмом. Рыжеволосая женщина, которую Кэролайн называет Морковкой, через несколько месяцев станет леди Уиндэм. А Богу, подумала Мария, сегодня придется вплотную заняться моими делами. Ему будет чем позабавиться. «Что бы такое придумать, чтобы как следует встряхнуть Марию. Послушай-ка, Святой Петр, да и вы ребята, что у нас на очереди? Как насчет тухлых яиц с галерки? Да между глаз, между глаз. Это ее многому научит».

Ладно, ладно, сказала Мария. Это игра на двоих, друзья мои. Как там говорил Папа годы и годы тому назад, перед моей первой крупной ролью в Лондоне? Если ты не умеешь давать сдачи, грош тебе цена. Говорил он и

другое, да я не слушала, но если постараться, то можно вспомнить.

Да, Папа. Ты всегда был более близок с Селией, чем со мной. Потому что я обычно думала о чем-то другом; но сейчас, в эту минуту, у меня такое чувство, что ты рядом со мной, здесь, в этой комнате. Я вижу твои смешливые голубые глаза, так похожие на мои, — они смотрят на меня с фотографии на стене: твой нос слегка скривлен в сторону, как и у меня, и волосы также упрямо стоят над головой. А рот, Найэл всегда называет его подвижным, я, наверное, унаследовала от своей венской матери, которую никогда не видела и которая обманула тебя. Я очень надеюсь, что она не станет вредить мне. Нет, не сейчас — до сих пор она поддерживала меня, была на моей стороне.

«Никогда и ни перед кем не раболепствуй, моя дорогая. Никогда не прибедайся. Раболепствуют неудачники. Прибедаются неудачники. Выше голову. Когда все изменяют, когда все рушится, с тобой остается твоя работа. Не работа с большой „Р“, моя дорогая. Не искусство с большой „И“. Оставь искусство интеллектуалам; поверь мне, в нем их единственное утешение, и если они пишут его с большой „И“, то всегда попадают впросак. Нет, делай работу, без которой ты — не ты, потому что это единственное, что ты умеешь делать, единственное, в чем понимаешь. Ты будешь счастлива. Ты познаешь отчаяние. Но не хнычь, Делейни не хнычат. Иди вперед и делай свое дело».

— Войдите.

— Мисс Делейни, вас желает видеть один джентльмен, — сказал костюмерша. — Французский джентльмен. Некий мистер Лафорж.

— Некий мистер Что? Скажите ему, чтобы он уходил. Вы же знаете, я никого не принимаю перед спектаклем.

— Он очень настаивает. Он принес пьесу и хочет, чтобы вы ее прочли. Говорит, что вы были знакомы с его отцом.

— Это старо. Скажите ему, что я слышала такое не раз.

— Он днем прилетел из Парижа. Говорит, что его пьеса скоро пойдет в Париже. Он сам сделал перевод и хочет, чтобы ее лондонская премьера состоялась одновременно с парижской.

— Не сомневаюсь, что он этого хочет. Но почему он выбрал меня?

— Потому, что вы были знакомы с его отцом.

О Господи! Впрочем, почему бы не подыграть?

— Как он выглядит?

— Довольно мил. Блондин. Загорелый.

— Задержите занавеси. Я буду разговаривать из-за них. Скажите ему, что он может зайти только на две минуты.

Безрадостная перспектива — провести остаток жизни за чтением пьес каких-то безвестных французов.

— Здравствуйте. Кто ваш отец?

— Здравствуйте, мисс Делейни. Мой отец просил меня засвидетельствовать вам его почтение. Его зовут Мишель Лафорж, и он был знаком с вами много лет тому назад в Бретани.

Мишель... Бретань... Какое странное совпадение. Разве не вспоминала я Бретань в воскресенье днем в Фартингзе?

— О да, конечно. Я очень хорошо помню вашего отца. Как он поживает?

— Все такой же, мисс Делейни. Совсем не постарел.

Должно быть, ему за пятьдесят. Интересно, он не бросил привычку лежать на скалах, разыскивать морских звезд и соблазнять молоденьких девушек?

— Ну и что за пьесу вы хотите мне показать?

— Пьеса из восемнадцатого века, мисс Делейни. Прелестная музыка, очаровательный антураж, и лишь вы одна можете сыграть роль герцогини.

— Герцогини? Я должна быть герцогиней, да?

— Да, мисс Делейни. Очень красивой и очень порочной герцогиней.

Ну, положим, герцогиней я всегда могу стать. Хотя еще не приходилось. А быть порочной герцогиней куда более соблазнительно, чем герцогиней добродетельной.

— Что же делает ваша герцогиня?

— У нее ног пятеро мужчин.

— Только пятеро?

— Если пожелаете, я могу добавить шестого.

Где другой халат, голубой? Кто-то еще стучит в дверь. На мою уборную смотрят как на общественный бар.
— Кто там?

Голос привратника служебного входа:

— Вам телеграмма, мисс Делейни.

— Хорошо. Положите на стол.

Люсьен испортил мне волосы. Откуда этот завиток над правым ухом? Всегда все надо делать самой.

Раздернем занавеси.

— Еще раз здравствуйте, мистер Лафорж.

А не дурен, совсем не дурен. Красивее отца, насколько я его помню. Но очень молод. Совсем цыпленок.

— Так вы хотите, чтобы я была герцогиней?

— А вы бы хотели быть герцогиней?

Да, я бы хотела. Я бы не возражала. Я буду и королевой Шюбой, и девчонкой из борделя, если пьеса интересна и забавляет меня.

— Вы где-нибудь ужинаете, мистер Лафорж?

— Нет.

— В таком случае возвращайтесь после спектакля. Вы отвезете меня поужинать, и мы поговорим о вашей пьесе. А теперь бегите.

Он ушел. Он исчез. Затылок у него действительно очень мил. В громкоговорителе прозвучал голос ведущего режиссера:

— Четверть часа, прошу приготовиться.

Костюмерша показала на лежащую на столе телеграмму:

— Вы не прочли телеграмму, мисс Делейни.

— Я никогда не читаю телеграммы перед спектаклем. Разве вам это до сих пор не известно? Папа никогда не читал. Не читаю и я. Это сулит беду.

Мария остановилась перед зеркалом и застегнула кушак.

— Вы помните песню Мельника из Ди? — спросила она.

— Что это за песня? — поинтересовалась костюмерша.

Мне дела нет ни до кого. Нет, нет, нет дела, И до меня ведь никому нет дела.

Костюмерша улыбнулась.

— Вы сегодня в отличной форме, не так ли? — сказала она.

— Я всегда в отличной форме, — ответила Мария. — Каждый вечер.

Приглушенный шум зала, говор зрителей, щелчки и потрескивания громкоговорителя на стене...

Глава 25

Покинув столовую в Фартингзе, Найэл поднялся в свою комнату, бросил в чемодан оставшиеся вещи, снова спустился вниз, вышел из дома и, свернув на подъездную аллею, направился к гаражу. У него хватало бензина, чтобы доехать до берега. Со стратегической точки зрения одно из несомненных достоинств Фартингза заключалось в том, что он располагался между Лондоном и тем местом, где Найэл держал свою ветхую лодку.

Но сейчас такое местоположение было более чем достоинством. Оно означало спасение души. Найэл всегда водил машину весьма посредственно, а сегодня вел еще хуже — его рассеянность прогрессировала. Он не замечал дорожные знаки и указатели «Левый поворот» или «Одностороннее движение». Он ехал не на тот свет, но не специально, а потому, что на какое-то мгновение путал зеленый и красный цвета; или наоборот — пропускал смену огней светофора, и только яростные гудки скопившихся за ним машин пробуждали его от забытья, толкали к поспешным и часто опасным действиям. Марии, Селии и всем, знавшим Найэла, казалось чудом, что его до сих пор ни разу не оштрафовали и не лишили водительских прав.

Именно по этой причине, сознавая свою неспособность водить машину в дневное время при оживленном движении, Найэл любил ездить по ночам. Тогда он чувствовал себя спокойно. Никто ему не мешал. В вождении машины по ночам есть особое очарование. Как и в работе. Ночью все удается лучше, чем днем. Песня, сочиненная в три часа ночи, часто оказывается лучше песни, сочиненной в три часа дня. В сравнении с прогулками при свете луны, дневные прогулки кажутся унылыми и бесцветными. Как хорош лосось в

предрассветные часы, как вкусен кусок сыра. Какой заряд энергии приливает из тьмы к голове, какая мощь, какая животворная сила. Последние часы утра и послеобеденные часы созданы для сиесты. Для того, чтобы лежать под солнцем. Спать за плотно задернутыми портьерами.

Ведя машину по тихим сельским дорогам к берегу моря, Найэл со свойственной ему спокойной рассудительностью обдумывал планы на дни грядущие.

Сейчас он ничем не может помочь Марии. В ближайшем будущем она станет поворачиваться к северу и югу, западу и востоку, как флюгер, покорный ветрам ее воображения. Будут гнев, смирение, бесшабашная бравада, слезы обиженного ребенка. Сыграв всю гамму чувств и переживаний, она, возможно, начнет сначала, но в иной тональности. Появится новый интерес, новое увлечение, и ее сдует на другое деление компаса. Хвала богам — ничто не способно долго причинять ей боль.

Душа Марии подобна ее телу — на ней не остается шрамов. Несколько лет назад у нее случилось острое воспаление; поставили диагноз — острый аппендицит. Аппендикс удалили. Недели через три рана зажила. Через три месяца на месте операции осталась лишь тонкая белая полоска. Между тем у других женщин... пунцовые рубцы и пятна. Рождение детей часто вытягивает у женщин все жилы. Но не у Марии.

Можно подумать, что Мария пользуется особым расположением богов, и ей дано пройти по жизни, всегда выходя сухой из воды. Сверши она убийство, ее бы никогда не поймали. Да и совесть не слишком бы мучила. И даже, если наступит день Страшного Суда — а его рассвет, похоже, уже забрезжил, — то ангел-хранитель Марии позаботится, чтобы для нее он оказался не слишком длинным. Даже этот день обернется ей на пользу. Поистине, решил Найэл, Всевышний любит грешников. И никого, кроме грешников. На долю добродетельных, кротких, терпеливых, готовых к самопожертвованию выпадают одни неприятности. В их отношении он умывает руки. Найэл где-то читал, что в этом мире счастливы одни идиоты. Это подтверждает статистика, в этом клятвенно уверяют психологи. Дети, родившиеся с полным отсутствием мыслей, дети с маленькими глазками и толстыми губами преисполнены — по выражению врачей — радостью и счастьем. Они приходят в восторг от всего, что видят. От яиц до земляных червей. От родителей до паразитов...

Ну вот, подумал Найэл, делая крутой поворот, мы и вернулись к паразитам. И что же это доказывает? То, что Мысль, управляющая вселенной, обладает разумом слабоумного ребенка и питает слабость к паразитам. Блаженны паразиты, ибо они наследуют землю. Паразиты разбогатеют, расплодятся. Их есть Царствие Небесное...

До полночи оставался еще час, когда Найэл подъезжал к солончакам. В деревне, скрытой высокими деревьями, часы пробили одиннадцать. Он показал хорошее время. Машина свернула влево и поехала по узкой, изрытой колеями дороге, оборвавшейся у самой кромки воды. Отлив обнажил заросшее тиной дно отмели; высокие камыши, которые в летние месяцы зелеными волнами раскачивались на ветру, неподвижно белели под зимним небом. Ночь была темной, воздух дышал легким морозцем.

Найэл остановил машину на обочине дороги, выключил огни и, взяв чемодан с вещами, зашагал по скользкой от жидкой грязи тропе, тянувшейся параллельно берегу. Отлив еще не закончился, и Найэл слышал, как убывающая вода, с журчанием кружась вокруг столбов причала, просачивается сквозь тину и водоросли. К одному из столбов была привязана небольшая шлюпка. Найэл бросил в нее чемодан и спустился сам.

Он стал грести вниз по течению. На воде было не так холодно, как на суше. Он опустил руку за борт, вода оказалась даже теплее, чем он ожидал. Резкий скрип весел в уключинах отдавался эхом в неподвижном, напоенном тишиной воздухе. У левого берега протоки, там, где глубже, стояли на причале и другие лодки, оставленные их владельцами до наступления весны.

Лодка Найэла была самой последней. Он подгрел к ней, вынул из воды весла шлюпки, перебрался на узкий кокпит и привязал шлюпку. Достал из небольшого рундука ключ и открыл люк в кабину. Из кабины на него пахнул теплый приветливый запах, в котором не было ничего говорившего о плесени и запустении. Найэл чиркнул спичкой и зажег укрепленную на мачте лампу. Затем спустился в кабину, стал на колени перед маленькой плитой и развел огонь. Покончив с этим, он встал, полусогнувшись — низкий потолок не позволял выпрямиться во весь рост, — и, осторожно передвигаясь по тесной кабине, навел в ней порядок.

Как всегда в это время суток, Найэл чувствовал голод. Он быстро расправился с языком, присланным из Иллинойса неизвестной поклонницей его песен, который до сих пор не попробовал; та же участь постигла банку еще более сомнительного происхождения. На этикетке значилось: «Белокорый палтус, незаменимый с гренками». Гренки не предвиделись, но их прекрасно заменило печенье в целлофановой упаковке из Иллинойса. Были еще фиговые рождественские поздравления от некой «Бадди из Балтимора», которые не произвели на него особого впечатления, и всем находкам находка — банка имбирного пива. Найэл вылил пиво в стакан,

добавил в него изрядную порцию коньяка, размешал и подогрел на плите. Смесь имела запах утесника в жаркий день, и ее прием повлек за собой странную легкость в мыслях, неведь откуда взявшуюся беззаботность и наркотическую расслабленность, в результате чего Найэл, скинув ботинки на койку, испытал чувство, которое испытывает шмель, когда, с поникшими крыльями, слегка хмельной, вырывается из цепких объятий какого-нибудь благоухающего цветка.

Он подложил под голову две подушки, во весь рост вытянулся на скамье, протянул руку за записной книжкой и стал набрасывать план концерта. Через два часа работы он с раздражением обнаружил, что главная тема, которая по его замыслу должна быть классически ясной, простой и пронизывать все три части концерта, уходит от него. Бесенок, который сидел в частичке его мозгового вещества и, оттягивая языком щеки, нашептывал ему свои мелодии, не желал утомиться и настроиться на серьезный лад. Благородство и гармоническая чистота определяли суть мелодии, но сама мелодия, ничем не сдерживаемая, неуправляемая, то и дело срывалась на чувственный экстаз. Сперва Найэл обвинил в этом имбирное пиво и коньяк; потом поездку на машине; затем плаванье на веслах по прозрачной воде. Наконец, он сел и отшвырнул свои записи в сторону.

Бесполезно. Какой смысл стремиться к высотам, которых все равно не достичь? Смириться с положением дешевого брэнчала, оставить магию звуков подлинным музыкантам. Намурлыкивать ритмы, когда они приходят в голову. К черту концерт!

Найэл закутался сразу в несколько одеял, сложил руки на плечах, подтянул колени к подбородку и заснул в своей обычной позе — позе младенца в утробе матери.

Следующий день прошел попеременно в работе и праздности. Он поел. Попил. Покурил. Прошелся вдоль берега, проплыл на шлюпке до заводи. Примерно на четверть выкрасил свое суденышко в пыльно-серый цвет. Вот он, единственный ответ — быть одному. Единственный, окончательный. Не полагаться ни на одну душу живую. Только на себя самого. Полагаться на роящиеся в голове звуки. Быть творцом своего мира, своей вселенной.

Той ночью с трудом, как школьник перед экзаменом, он записал четким, разборчивым почерком неуловимую мелодию, которая преследовала его весь день.

Нет, не выдающееся творение, не замечательный концерт — всего-навсего очередную безделицу, из тех, что недели две насвистывают рассыльные да напевают себе под нос прохожие на улицах. Но он записал ее без рояля, что само по себе было для него немалым достижением. Когда муки творчества утихли и работа завершилась, наступило желание увидеть Марию... Но Мария была далеко, за много миль от него, мучимая бесплодным осознанием своих грехов и просчетов. Мысль о ней заставила Найэла рассмеяться.

Однажды Мария поддалась на уговоры отправиться с ним в плаванье — всего на один день. В свое первое и последнее плаванье. Она разбиралась в парусах еще меньше Найэла, но все время обвиняла его в том, что он натягивает не те канаты. Наконец они успокоились, но тут его, а не ее стало тошнить. Если задувал ветер, то всегда не в том направлении. Вскоре они оказались в открытом море и уже не чаяли вернуться на землю, когда моторная лодка, рассекавшая бурные морские волны невдалеке от их суденышка, услужливо взяла его на буксир. Мария уронила за борт свой любимый свитер и к тому же потеряла туфли. Замерзший и мокрый до нитки Найэл схватил простуду. В полном молчании они вернулись в Фартингз, и, когда сообщили о своем фиаско Чарльзу, тот пожал плечами и спросил жену: «А чего еще ты ждала?»

Селия была менее обременительной компаньонкой. Умелая помощница, она усердно драила палубу шваброй, но всегда зорко следила, чтобы не произошло какого-нибудь несчастья. «Не нравится мне эта черная туча», «Как насчет того, чтобы вернуться, пока погода не испортилась?», «Что там вдали, скала или несчастная дохлая собака?». В бочку меда она неизменно добавляла свою ложку дегтя. Нет, куда лучше отправляться в плаванье одному.

Ночь, в которую Найэл записал свою песню, подходила к концу, едва забрезживший рассвет предвещал хороший, ясный день, с берега дул легкий бриз. Найэл поднялся на шлюпке вверх по протоке до причала и пошел по тропе к тому месту, где накануне вечером оставил машину. Она стояла на обочине дороги. Он сел за руль и поехал в деревню. Там он купил хлеба и немного другой провизии, после чего отправился на почту послать телеграмму. Заполнив телеграфный бланк, он обратился к сидевшей за барьером девушке. Она была молода, привлекательна, и Найэл улыбнулся ей.

— Могу я попросить вас об одном одолжении? — сказал он.

— О каком именно? — спросила девушка.

— Я собираюсь сходить под парусами, — сказал Найэл, — и не знаю, когда вернусь. Все зависит от ветра, от состояния моей лодки и, прежде всего, от моего настроения. Я хочу, чтобы вы не отправляли эту телеграмму,

скажем, до пяти часов. Если я вернусь к тому времени, то заберу ее и, возможно, пошлю другую. Это, как я уже сказал, будет зависеть от моего настроения. Если не вернусь, тогда отправьте телеграмму — ту, что я дал вам, — вот по этому адресу и на это имя.

Девушка с сомнением поджала губы.

— Это против правил, — сказала она. — Не думаю, что я смогу выполнить вашу просьбу.

— В жизни, — сказал Найэл, — многое против правил. Неужели вы еще не поняли?

Девушка покраснела.

— Будет против правил, — сказал Найэл, — если, вернувшись, я приглашу вас поужинать со мной на моей лодке. Но если ужин будет хорош, вы вполне могли бы принять мое приглашение.

— Я не из таких, — сказала девушка.

— Жаль, — заметил Найэл, — потому что с такими интересней всего.

Она снова перечитала телеграмму.

— Когда вы хотите, чтобы я ее отправила? — спросила она.

— Если я не вернусь, — сказал Найэл, — отправьте ее в пять часов.

— Хорошо, — сказала она и повернулась к нему спиной.

Найэл еще раз перечитал телеграмму и расплатился.

Она была адресована Марии Делейни, далее шло название театра, Лондон.

«Дорогая, я люблю тебя. Я отправляюсь в море. Я написал для тебя песню. Если ты получишь телеграмму, то одно из двух. Либо я добрался до берегов Франции, либо лодка затонула. Еще раз — я люблю тебя.

Найэл».

Затем, насвистывая свою последнюю мелодию, он сел в машину с буханкой хлеба, пучком морковки и небольшим пакетом картошки.

Чтобы отплыть от берега, Найэлу потребовалось два часа: пока он поднимал грот-парус, снасть заело, и он повис, как человек в цепях. Найэл вспомнил, что в одной книге по парусникам, прочитанной им в часы досуга, парус, который вытворяет такие фокусы, назывался «оскандалившимся». Самое подходящее название, лучше не придумаешь. Стыдливо, застенчиво парус полоскался на ветру, и Найэлу пришлось забраться на мачту опустить его, после чего процедура повторилась, но уже без скандала. Затем надо было привязать шлюпку к бую — маневр довольно сложный. Цепь оказалась слишком тяжелой для маленькой шлюпки, и ее нос погружался глубоко в воду.

Один, сам себе хозяин, плывущий по течению — слава Богу, начался прилив, — Найэл схватился за румпель и опустил кливер. Небольшой передний парус не поддавался и закрутился вокруг штага. Найэлу пришлось бросить румпель, пройти по палубе и освободить его. Когда он вернулся к румпелю, то увидел, что его суденышко несет на отмель. Найэл в мгновение ока выровнял его и направил вниз по течению.

Какой жалкой фигурой я, должно быть, выглядел с берега, подумал он, и в какую ярость пришла бы Мария.

Переход по реке к морю завершился без неприятностей. Судно шло вместе с ветром и отливом, и ничто не мешало его движению. Даже если бы Найэл захотел остановить его, он не знал, как это сделать.

На море дул свежий ветер, светило солнце, и на поверхности воды не было ни малейшего волнения. Один из тех холодных, ярких зимних дней, когда земля незаметно тает вдаль и резко очерченная линия горизонта напоминает четкий карандашный рисунок. Найэл выбрал для своего судна самый благоприятный, на его взгляд, курс — дым из трубы едва различимого вдаль парохода. Забыв о том, что пароход, равно как и его посудина, движется, он закрепил штурвал узлом, который сразу развязался, и спустился в кабину приготовить завтрак.

Из иллинойского языка, разогретого на сковороде с жареной картошкой и нарезанной кубиками морковью, вышло вполне сносное блюдо. Приготовив завтрак по своему вкусу, Найэл поднялся с ним на кокпит, сел и стал есть, держа одну руку на штурвале. Земля за кормой превратилась в сероватое пятно, но это его не беспокоило — море было спокойным и гладким. Сопровождавшая его чайка с некоторым сомнением парила в воздухе, и Найэл, дабы умерить ее жадность, бросал ей кусочки языка. Когда язык кончился, он бросил чайке хвостик моркови. Чайка проглотила его и подавилась, после чего улетела, с громкими криками взбивая воду крыльями.

Найэл спустился вниз за подушкой, положил ее под голову на комингс, растянулся на кокпите и, упершись одной ногой в штурвал, закрыл глаза. Вот она — вершина блаженства.

В Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке мужчины заполняют конторы, сидят за столами, вызывают секретарш, разговаривают по телефону; мужчины устремляются в метро, вваливаются в автобусы, стоят за прилавками

магазинов, крошат горную породу в шахтах. Мужчины воюют, ссорятся, пьют, занимаются любовью, спорят о деньгах, о политике, о религии.

Везде во всем мире люди пребывают в волнении, где-то, почему-то. Их одолевают тревоги. Мучат нерешенные вопросы. Даже те, кого он любит, переживают душевное смятение. Марии и Чарльзу надо принять решение относительно их будущего. Селии надо принять решение относительно ее будущего. Они вплотную столкнулись с трудноразрешимым вопросом: «А что дальше?»

Для Найэла он не имеет значения. Для него ничто не имеет значения. Он один в море. И он написал песню. Мир и покой почивают на нем. Стоит захотеть — и ему нет нужды возвращаться. Его лодка может плыть вечно. Попутный ветер, тихая вода, и где-то за серой гладью моря — берега Франции, ароматы Франции, звуки Франции. Пусть лениво, пусть медленно, но в его жилах течет-таки то, что Папа в минуты раздражения называл «дурной французской кровью Найэла». Англия его дом лишь по стечению обстоятельств, потому, что так вышло, из-за Марии.

Чего проще — доплыть до Франции. Послать из Франции телеграмму Марии: «Я здесь. Приезжай и ты».

Но вот беда — Мария любит комфорт. Ей нужны мягкая кровать, ароматическая эссенция для ванны. Крепдешин для тела. Вкусная еда. Она никогда не согласится жить с ним вот так — голова на комингсе, ноги на штурвале. К тому же она честолюбива.

Мария, размышлял он, доживет до самого почтенного возраста. Она станет легендой. Седая, безжалостная, в свои девяносто девять лет она будет потрясать костылем, грозя всем, кто ее знает, карой небесной. А когда умрет, то умрет с удивлением во взоре и гневом в душе. Смерть? Но почему? Ведь у меня еще столько дел.

Селия примет свой конец с всепрощающим смирением. Письма перевязаны в стопки, счета оплачены, белье из прачечной разложено по полкам. К чему доставлять лишние хлопоты тем, кто обнаружит ее труп. Но маленькая озабоченная морщинка между бровями так и останется. Что сказать Богу, если он действительно существует?

Найэл рассмеялся, потянулся и зевнул. Пожалуй, неплохо бы допить коньяк и имбирное пиво. Он бросил ленивый взгляд в глубь кабины. И тут он впервые заметил длинную струйку воды на полу. Найэл в недоумении уставился на нее. Все стоит на местах, ничто не опрокинуто, брызги просочиться не могли, иллюминаторы задраены. Дождь, но дождя не было дня два. Откуда же взялась на дне кабины вода? Найэл спустился вниз и присмотрелся к струйкам более внимательно.

Он потрогал жидкость рукой, попробовал на вкус. Вода была соленой. Огляделся в поисках отвертки, чтобы поднять ею половую доску. Наконец нашел отвертку на дне рундука. На поиски ушло довольно много времени, и, когда он опустился на колени, чтобы поднять доску, струйка превратилась в поток.

Найэл отодрал доску и увидел, что между днищем и полом кабины полно такой же соленой воды. В какой-то части лодки — он понятия не имел, в носовой или кормовой — образовалась течь. По скорости, с какой прибывала вода, он предположил, что течь довольно значительная.

Что делать? Он поднял еще несколько досок пола, рассчитывая обнаружить поврежденное место и чем-нибудь его заткнуть. Но стоило ему поднять последнюю доску, как вода хлынула с удвоенной силой и вскоре дошла до щиколоток.

Найэл поспешно положил доски на место в надежде уменьшить напор воды — тщетно, приток уменьшился, но не намного.

Ему смутно припомнилась фраза из мальчишеских книг «Все к насосам». Он знал, что в рундуке на кокпите есть насос, и разыскал его. Неумело собрал и вставил наконечник в паз на палубе. Насос издал шипящий звук, похожий на шипенье испорченного велосипедного насоса. Найэл вынул шланг из наконечника и внимательно осмотрел его. Резиновая прокладка прохудилась, и на месте винта зияла большая дыра. Пользоваться насосом было невозможно. Не было и запасного — он забыл его в шляпке. Оставалось пустить в ход старый кувшин. Найэл спустился за ним в кабину. Вода заливала уже весь пол. Он стал вычерпывать воду кувшином. Минут пять, стоя на коленях, он выливал воду в иллюминатор, после чего понял, что ее не становится меньше. Все его усилия пропали даром.

Найэл снова поднялся на палубу.

Ветер утих; море застыло в глянцево-серой неподвижности. Тонкая струйка корабельного дыма исчезла за горизонтом, вокруг, насколько хватало глаз, не было видно ни одного судна. Земля за кормой лежала милях в семи. Даже чайка скрылась. Найэл сел на кокпит и стал смотреть на прибывающую воду.

Его первой реакцией на случившееся было облегчение — он один. На нем не лежит ответственность за чью-то жизнь. Но эту мысль вскоре сменили грусть и уныние. В такую минуту неплохо с кем-нибудь поговорить. Такой собеседник, как Чарльз... что могло быть лучше. Чарльз, если бы ему не удалось отыскать течь, смастерил бы

плот. Не тратя времени даром, он сколотил бы доски от пола кабины. Найэл не мог ни того ни другого. Единственное, что он умел, так это сочинять песни. Подумав о своих песнях, он огляделся и увидел, что блокнот, в который он записал свою последнюю мелодию, упал со скамьи и листами вниз плавает в воде. Он уже весь промок и потемнел. Найэл поднял блокнот и положил рядом с собой. Было что-то зловещее и неотвратимое в шуме воды, заливающей кабину, и он закрыл люк, чтобы не видеть ее, не слышать. Он взял курс на берег, но ветер окончательно стих, и лодка почти не двигалась. Паруса обвисли, но не «оскандалившись», а словно чувствуя неловкость. Найэл так и не поставил на лодке мотор — он знал, что не сумеет с ним обращаться. Хорошо, что ветер не налетал шквалистыми порывами. Иначе наверняка унесло бы какие-нибудь канаты, ванты, какие-нибудь важные части такелажа.

Радовался он и тому, что море было спокойным и гладким. Он побоялся бы на несколько часов оказаться в бурной воде, у него перехватило бы дыхание, он стал бы задыхаться и окончательно потерял голову. Тогда как в воде, что раскинулась вокруг него, ему незачем плыть — просто лечь на спину и отдаться на волю течения.

Во всяком случае одно он знал наверное: Мария получит его телеграмму. Найэл сидел на палубе и, глядя, как солнце медленно склоняется к горизонту, неожиданно для себя самого понял, что думает не о Марии, не о песнях, которые сочинил, не о далеком, затуманенном дымкой времени образе Мамы, а о Труде. О доброй, заботливой старой Труде, о ее широких покойных коленях. О ее жестком сером платье, о том, как он, маленький мальчик, терся о него лицом. Он сидел на палубе, один в безбрежности раскинувшегося вокруг него моря, и ему казалось, что оно... море — такое же спокойное и ласковое, как Труда в те давние годы. Море — это та же Труда, и, когда придет пора, он доверится ему, без страха, без боли, без сожаления.

Примечания

1

Здесь и далее стихотворные переводы, отмеченные (*), выполнены Е. З. Фрадкиной.

2

«Альберт-Холл» — концертный зал в Лондоне на 8 тысяч мест. Назван в память принца Альберта, супруга королевы Виктории.

3

«Ковент-Гарден» — королевский оперный театр в Лондоне.

4

Всей семьей (фр.).

5

Гуркхский нож — нож особой формы, используемый жителями Непала.

6

«Мэри Роз» — пьеса английского драматурга и прозаика Джеймса Метью Барри (1860–1937), впервые поставленная в 1920 г.

7

Лютьенс, сэр Эдвард Лэндсир (1869–1944) — английский архитектор.

8

Билетерша (фр.).

9

Что случилось с этим малышом? (фр.).

10

Леденцы (фр.).

11

Да, маленькие Делейни (фр.).

12

Зоологический сад (фр.).

13

Здесь — Булонский лес (фр.).

14

Восхитительна (фр).

15

Нечто (фр.).

16

Погасла вдруг свечка,
Дружок мой Пьеро.
Черкну я словечко,
Готовь мне перо.

Стою в лунном свете
у самых дверей.
Ты мне, ради Бога,
Открой поскорей. (*)

17

Очко (карточная игра, фр.).

18

Кухарка (фр.).

19

Горничная (фр).

20

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова.
Я без усталости готова
Вдохновенные ваши слова (фр.).

21

«Эхо Парижа» (фр.).

22

«Адельфи» — эстрадный театр в Лондоне.

23

«Савой» — одна из самых дорогих лондонских гостиниц.

24

Рог (фр.).

25

В вечерний час люблю я рога звук в тиши лесной (фр.).

26

«Радость любви» (фр.).

27

«Хеймаркет» — театр в Лондоне на улице Хеймаркет.

28

«Гаррик» — лондонский клуб писателей, актеров и журналистов; основан в 1831 г. Назван в честь знаменитого актера Гаррика (1717–1779).

29

Кью — имеется в виду Кью-Гарденз, большой ботанический сад в западной части Лондона.

30

Площадь Согласия (фр.).

31

Королевская улица (фр.).

32

Бега (фр.).

33

Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт III, сц. 5). Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

34

Шекспир, «Король Лир» (акт I, сц. 3). Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

35

Быстрее, быстрее, Марсель, сколько можно звать? (фр.).

36

Да, мама, иду (фр.).

37

Говяжья печень (фр.).

38

Рассказчики (фр.).

39

Я вспоминаю... это наводит меня на мысль (фр.).

40

Найэл скучает (фр.).

41

Дитя (фр.).

42

Капризный ребенок (фр.).

43

Малыш Найэл (фр.).

44

Северный вокзал (фр.).

45

Элгар, Эдвард Уильям (1857–1934) — английский композитор и дирижер.

Имеются в виду «Вариации на темы Паганини» С. В. Рахманинова. Паганини, Никколо (1782–1840) — великий итальянский скрипач и композитор.

Кончено (итал.).

Шум (фр.).

Ночное кафе, кабачок (фр.).

Несуществующая аббревиатура.

«Харви энд Николз» — название двух больших лондонских магазинов, принадлежащих фирме «Дебнемз».

«Даниел Нилз» — большой лондонский магазин преимущественно детской одежды и школьной формы.

Доббин — персонаж романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Человек, отличавшийся удивительной мягкостью, добротой, застенчивостью и благородством.

Карликовая вишня (лат.).

55

«Бампус» — один из крупнейших книжных магазинов Лондона.

56

Адамсы, Джеймс (1730–1794) и его брат Роберт (1728–1792) — английские архитекторы.

57

Кент, Уильям (1685–1748) — знаменитый английский архитектор, прославившийся также в области садово-паркового искусства и интерьера.

58

Аскот — ипподром близ города Виндзора, где в июне проходят ежегодные скачки, являющиеся важным событием в жизни английской аристократии.

59

«Вулвортс» — однотипные универсальные магазины филиала американской компании «Ф. У. Вулворт»; также магазины, специализирующиеся на продаже дешевых товаров широкого потребления.

60

«Лордз» — известный крикетный стадион в Лондоне.

61

Здесь — водопровод (фр.).

62

Ванна (фр.).

63

Приготовить ванну? (фр.).

64

Портер, Кол (1893–1964) — американский композитор, автор многочисленных произведений так называемого легкого жанра. Одно из самых знаменитых его произведений мюзикл «Кан-кан». Многие мелодии Кола Портера популярны и поныне.

65

Вдовый дом — дом, в который по традиции переезжает вдова скончавшегося английского аристократа после введения в наследство (с соответствующей передачей титула) его преемника. Как правило, находится на территории главной усадьбы.

66

Переименованное название драмы американского драматурга Ю. О'Нила (1885–1953) «Любовь под вязами».

67

Аллюзия на патриотическую песню шотландцев на слова Р. Бернса (1759–1796).

68

Особнячок (фр.).

69

Олд-Бейли — Центральный уголовный суд (по названию улицы в Лондоне, где он находится).

70

«Дебнемз» — большой лондонский магазин преимущественно женской одежды и принадлежностей женского туалета.

«Риц» — лондонская фешенебельная гостиница и ресторан на улице Пиккадилли; название их стало символом праздной роскоши.